



НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

**ПРИЗРАКИ
ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ**

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО



НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

**Признаки (призраки)
ЖИЗНИ**

Приволжское издательство

Саратов

2007

УДК 882–1
ББК 84(2 Рос=Рус) 6-5

Кравченко Н.М.

К–78

Признаки (призраки) жизни – стихи, реквиемы, эссе, памфлеты, юмористические заметки – Саратов: Приволжское издательство, 2007. –

ISBN 978–5–91369–003–6

В эту книгу поэта, литературоведа и публициста Наталии Кравченко вошли произведения всех этих жанров, написанные в 2006–2007 годах, не публиковавшиеся прежде.

«Признаки (призраки) жизни» – это не только определение темы книги, но и обозначение характера всего её творчества, его двуплановости: реальность и метафизика, «всамделишная» жизнь и – то альтернативное ей существование, иное измерение, в котором пребывает поэт.

ISBN 978–5–91369–003–6

УДК 882–1
ББК 84(2 Рос=Рус) 6–5

© Н.М. Кравченко

СТИХИ

*В мире зла и бизнеса, что низмен,
где стихи – синоним слова «чушь»,
призраки – отнюдь не коммунизма –
бродят по ступеням наших душ.*

*С трепетностью первого причастья
бледной тенью ходят за людьми
призраки несбывшегося счастья,
неосуществившейся любви.*

*Словно Божья жалость или милость –
этот сон, приснившийся во мгле,
то, что обещалось и томилось,
но не приключилось на земле.*

*И порою думалось мне втайне,
что журавль воздушный вдалеке –
подлиннее, ближе и реальней,
чем синица в цепком кулаке.*

Порой мы пишем паче чаянья
и только зря конверты тратим.
Письмо в бутылке – жест отчаянья
и одиночества в квадрате.

О жанр самоубийц и смертников,
пронзавший холодом вокзала,
в котором я – одна из сверстников –
всегда стихи свои писала!

И Музы нищенское рубище
навек окажется нетленно...
Стихи – как письма в прорву чудища,
протест против разлуки любящих,
рассеянных во мгле вселенной!

Неутомимо, неотвязно,
как будто вправду человек, –
в окно стучатся ветви вяза,
стучится ветер, дождь и снег.

Уж сколько лет и днём, и ночью
стучится в жизнь незнамо кто,
как будто что сказать мне хочет.
Но что?!.

Лес в ноябре. Осыпавшийся, чёрный,
как лепрозорий рухнувших надежд.
Графический рисунок обречённых.
Скелет без тела. Кости без одежд.

Отбушевало лиственное пламя
и превратилось в пепел, прах и дым.
Прорехи света робко меж стволами
сквозят намёком бледно-голубым.

Лес в ноябре. Обугленные души.
Заброшенность. Пронзительность осин.
Но ты всмотришься и жадно слушай, слушай,
что этот лес тебе всё тише, глуше
бескровно шепчет из последних сил.

В природе неодоушевлённой –
все признаки твоей души:
печаль и радость, пыл влюблённый,
дремучий гнев неутолённый,
тревога тайная в тиши.

Мы видим в ней свой жалкий жребий
и в небеса крылатый путь,
зной страсти, нежности отрепья,
восторг и ужас, страх и трепет –
всю человеческую суть.

Ночь – многоточие... Тайн средоточие.
Сон, что сплетают незримые зодчие.
Ночь милосердна к любому из нас:
лечит, тушит, скрывает от глаз.

День – откровенен. Он как двоеточие:
всё, что грядёт, называет воочию.
Каждый в нём знает свой личный шесток.
День в чём-то жёсток и даже жесток.

Ночь нас морочит, колдунья, пророчица.
Каждый в ней видит себя, кем захочется.
День же наводит свой резкий лорнет.
Но день – это да. А ночь – это нет.

Этот день ещё мной ненадёван,
непомечен ничем и никак.
Словно агнец, младенческий овен
в белоснежных небес завитках.

День идёт. Я в него облачаюсь,
в золотистого цвета руно.
Будто заново жить обучаюсь
по его игровому кино.

Досмотрю ли я нынешний ролик,
полный ужасов или красот?
Даст блеснуть ли он мне в главной роли
или вновь, как всегда – эпизод?

Только главное всё же не это:
как дожить, чтоб в итоге всего
не запачкать бы чистого света
белоснежной одежды его?

У Бога в заначке есть тихие улочки детства.
От прошлых богатств они нам остаются в наследство.
Отрою в душе запорошенной тайную нишу,
заснеженных дней вереницу, как жемчуг, нанижу.

Вот улица первой песочницы, первых качелей.
Вот улица первых уроков, что мы получили.
Асфальт на квадратики снова поделенный мелом,
и целит в них камешком девочка в фартучке белом.

Ах, что там за той обозначенной мелом чертою?
Сменяются белые фартучки белой фатою.
Журавль улетает из рук, остаётся синица.
И долго ещё эти улицы будут нам сниться...

Арифметика

Сложение и умноженье
с годами всё трудней давалось,
и вычитанья пораженье
всё отняло, оставив малость.

Всё отнято, избыто, взято.
О, как теперь пуста, легка я!
Сижу над долями десятых
и горький корень извлекаю.

Пространство жизни, где рождён,
на сотни метров
теперь заполнено дождём,
холодным ветром.

Чего мы ждём? Чего мы ждём?
Не верь надежде.
Всё перечёркнуто дождём,
что было прежде.

Под воду океана времени
уходят наши города
с людьми, домами и деревьями —
всё погребает волн гряда.

Корабль в пучину погружается,
стирая след земных примет,
а память бьётся и сражается
за каждый крохотный предмет.

И я, ловец земного жемчуга,
высматриваю там, на дне –
вот чей-то голос, речь, вот жест, рука,
то, что всего дороже мне.

Всё холоднее волны памяти,
всё дальше и опасней дно...
Попробуйте – а вдруг достанете
то, что ушло от вас давно.

Ветер, мой побратим,
вместе мы полетим
в край, где нас не бывает.
Чей-то плач позади.
Сверху молча глядит
Тот, кто всё понимает.

Я читаю Акутагаву.
И одно мне ясней всего:
до чего ж на душе погано
было всё-таки у него.

Пустыри, харакири, морги,
заспиртованные мозги...
Не сказала б, что я в восторге
от страниц этих, где ни зги.

Но порою его витийство –
как оттуда благая весть...
«Платоническое самоубийство» –
в этом, право же, что-то есть.

Ружьё судьбы висит над головой,
чтоб выстрелить однажды наудачу.
И Аннушка с бутылкой роковой
спешит на остановку Первой Дачной.

Слепой фортуны мчится колесо.
Закат кровавый полыхает ало.
Неумолимо сыпется песок
и стрелки приближаются к финалу.

Сменит неба тревожную алость
восковой и безжизненный круг.
Боже мой, никого не осталось!
Никого не осталось вокруг.

Души спрятаны в серых одеждах.
Схвачен город решёткой дождей.
Перечёркнуты накрест надежды
на сердечную близость людей.

Но остались, остались при этом
островки среди бед и обид:
город света по имени Света,
Жени с Инной родная планета,
континент под названьем Давид.

На вокзале толчея,
где я ранняя, ничья,
всё гляжу в стекло вагонов –
где же там судьба моя?

Всё не в шутку, а всерьёз.
Майский дождь ослеп от слёз.
Я гляжу в чужие окна –
где ты, принц из детских грёз?

Жизнь проходит – сутки прочь.
Не сестра уже, не дочь,
я гляжу прохожим в лица –
кто же сможет мне помочь?

Нету лиц и нет окон.
Я гляжу в глаза икон –
где ты, где ты, моя радость?
Всё поставлено на кон.

Но молчат святые рты...
Я гляжу в твои черты.
Наконец-то, наконец-то
у меня теперь есть ты!

Я в тебя впадаю, словно речка.
Слышу, как шумит твоя душа.
И стучит сердечко о сердечко,
все преграды меж собой круша.

Мы плывём беспamięтно и слепо
в теплоту укрытий и берлог.
На двоих одно нам это небо.
И один над нами потолок.

Если мне чего-то не хватало —
вспоминала: у меня есть ты.
Это утешало и спасало
в нищете тщеты и суеты.

Жизнь мои залечивала шрамы,
раны от утраты и тоски,
и судьбы моей крошила мрамор,
отсекала лишние куски.

Словно скульптор в творческом запале,
оставляя нужные черты...
Всё второстепенное отпало.
У меня теперь есть только ты.

Как трудно оставаться тою,
к которой ты привык давно:
с летящей прядью золотою,
слепающей юной красотой,
дурманящей, как вино.

Года подсунули подмену...
Но в сутках есть волшебный час,
когда я снова, как из пены,
предстану юной и нетленной,
незаменимой, неразменной
в лучах твоих влюблённых глаз.

Грезим мы об алых парусах.
Белый парус ищет бури в море.
Жизнь и смерть мелькают на весах.
Как же выжить в этих волнах горя?

Пьян корабль. На дно уходит век.
Никому не выйти без урона.
Что это?.. Спасение?! Ковчег?
Пропустите, мной оплачен чек!
Глядь, а там, в волнах, – весло Харона.

На Новом кладбище

Наконец-то выбралась я к маме.
Мрамор плит укутали цветы.
А вокруг таблички с именами
утопали в зарослях густых.

Словно руки из земли простёрты
к тем, кого любили на земле.
Как же беззащитны тени мёртвых
в этом мире, тонущем во зле!

Памятник, ограда – как отрада,
память поколений родовых.
А табличка – словно телеграмма
мёртвым душам тел ещё живых:

«Вспомните! Придите! Оградите!
Как нам одиноко тут без вас!»
Но никто не внемлет той обиде,
заросли скрывают их от глаз.

И торчат таблички, как ладони,
тянутся с кладбищенских полей.
Это те, кого совсем хоронят.
Те, кого не помнят на земле.

Отец – каштан, а мама – акация,
над балконом простёрли кисти.
Это не бред, не галлюцинация,
но я слышу, что шепчет листик.

Слова не нужны. Важна интонация.
Как для сердца нужно немного!
Шумит навстречу мне мама-акация,
и я слышу заботу, любовь, тревогу.

Каштан – тот сдержанней. Но я всматриваюсь:
вот чуть дрогнула ветка справа.
И сердце впитывает всё, как матрица.
Каждый жест их – и радость, и рана.

Они – не вместе. Она – красавица.
Он – насуплен, как будто в гневе.
И только кронами соприкасаются –
там, высоко, в поднебесье. В небе.

Дерево заглядывает в окна
с чисто человеческой тоской.
Ветви мокнут и под солнцем сохнут,
что-то шелестят мне день-деньской.

Дерево бормочет и пророчит,
сладко убаюкивает в ночь.
То ли от меня чего-то хочет,
то ли просто хочет мне помочь.

Как ты меня просила –
поговори со мной!
Теперь полна бессильной
душа моя виной.

Спешила, торопилась,
попозже, как-нибудь...
Слабее сердце билось,
твой завершался путь.

Как я потом молила –
скажи хоть слово мне!
Лишь губы шевелились
беззвучно в тишине.

Но слов твоих последних
мне донесло тепло
с балкона ветром летним
акации крыло.

И что шептала мама
мне веточкой в окне –
до боли понимала
душа моя в огне.

Дом твой на Сакко-Ванцетти
я обхожу стороной.
Страшно при солнечном свете
видеть балкончик родной.

Здесь ты, прикрывшись от солнца,
долго смотрела мне вслед.
Сердце моё разорвётся,
взгляд твой не встреть в ответ.

Страшно окошко слепое –
словно бельмо на глазу.
Ты уплыла в голубое.
Я погибаю внизу.

Вот колокольчик. Ты в него звонила,
когда меня хотела позвать.
Теперь твоя кровать – твоя могила.
А мне могилой без тебя – кровать.

Вот колокольчик на лугу зелёном.
Мне кажется, я слышу звон стекла.
И воздух колокольным полон звоном –
то по тебе звонят колокола.

Тянешься ко мне стебельками трав,
звёздочкой мигаешь мне за окном.
Жизнь мою ночную к себе забрав,
ты ко мне приходишь небесным сном.

Я хожу по нашим былым местам,
говорю с пичужкой, с цветком во рву.
Пусть тебе ангелы расскажут там,
как я без тебя живу – не живу.

Твой пресветлый образ во всём вокруг.
Я тебя узнаю во всех дарах.
И надежда греет: а вдруг, а вдруг...
Пусть в иных столетях, в иных мирах...

Непрошедшее время не знает деленья
на минуты, года и на слово «давно».
Как пространство, огромное, во искупленье
преступлений души нам даётся оно.

Неподвижное время, тяжёлое бремя,
как Сизифова ноша средь ночи и дня,
как всевидящий Аргус, чьё око не дремлет,
свой бессонный зрачок не сводящий с меня.

Горит заря до радостного крика,
а шум дождя имеет серый цвет.
И музыка взывает: посмотри-ка!
А краски так звучат, что спасу нет.

Так плавно звуки облекали слово,
так много говорящим был клавиш...
Вокальный цикл Владимира Орлова
меня на эти строки вдохновил.

На лекции

Снова я лица ищу в толпе,
словом моим растревоженные.
Вот одна – словно вещь в себе,
руки молитвенно сложены.

Вот у другой промелькнёт слеза,
катятся, как горошины...
Дольше носите эти глаза,
люди мои хорошие!

Цель жизни – самовыражение
в картинах, музыке, стихах,
в лица необщем выражение,
во всём, что побеждает прах
и страх, что все мы в мире тленны
и одиноки во вселенной.

Шарманщики, акыны, трубадуры,
хуглары и бродячие певцы,
как далеки вы от литературы,
людских отар живые бубенцы.

Природный голос доброго и злого,
вы – воплощение всех её стихий.
Засушенными бабочками слова
казались вам печатные стихи.

Растили Музу вы не в кабинете,
не в пыльной тишине библиотек –
под звёздным небом, в поле на рассвете,
там, где свободно дышит человек.

В тени оливы, в зелени ранета
струился вашей музыки родник.
Вы были сердцем, улицей, планетой,
а не сухими строчками о них.

На задворках российской империи,
на окраине прежнего мира
без отличий пустой фанаберии
обходилась легко моя лира.

Без высокой писательской гвардии,
освящающей благословеньем,
без какой-либо студии, партии,
равнодушна к цепей этих звеньям.

Не нуждаюсь я в помочах, поручнях.
Но когда ж у нас будут в почёте
не печати в писательских корочках,
а в читательских душах печати?!

*Когда б вы знали, из какого сора...
А.Ахматова*

О Боже правый, из каких помоек
растут стихи на этих стеллажах!
Из школьных двоек, непотребных коек,
запутавшись в словах и падежах.

Такие вирши вы ещё найдёте
на стенах туалетов без труда.
Уж слишком много плесени и дёгтя.
Сплошные лопухи и лебеда.

Язык погряз в том соре, как в трясине.
Читатель, эту лажу – отложи.
Где тот мусоросборник в магазине,
который бы очистил стеллажи?

Грамматика вовсе не так уж суха,
ты зря относишься к ней с нелюбовью.
Она не мертвее иного стиха,
слова наделяя и плотью, и кровью.

Вот существительного существо
в своём величии перворазрядном,
вот прилагательное, что его
словно в глазурь облакает нарядно.

Глагол – это ангел движения, жизнь.
Мотор, сообщающий ускоренье...
О сколько в грамматике скрытых пружин,
нам облегчающих словотворенье!

Всем нам слезаться в грамматике слой,
уничтожению не подлежащий.
...А я за тобой – не как нить за иглой,
а как сказуемое за подлежащим.

Никто уже не смотрит вслед,
а было время – оборачивались.
Как сбросить нам заклятье лет,
в царевен снова оборачиваясь?

И, кажется, рецепт простой:
целуй меня, целуй сто раз, молю,
и стану, словно в сказке той,
я Василисою Прекрасною.

*На кой мне чёрт душа твоя.
М.Лермонтов*

Толстой страдал, что он не любит крыс.
Всё сокрушался, что так некрасивы.
Гадливости своей не в силах скрыть,
хотел любить, но был любить не в силах.

Никто не любит чёрненькими нас.
Не нужен Сирано и Квазимодо.
Лягушка лишь царевною нужна.
Нет дела никому, что так нежна,
так хороша душа-то у уroda!

Баратынский

*Счастье на проторённых дорогах.
А.Пушкин*

Что, если б Пушкин сумел-таки
Наталью уговорить
отбросить тщеславье мелкое,
желанье блистать, царить, –

уехал к себе в деревню бы,
лелеял родную речь,
скрипя гусиными перьями,
поленья бросая в печь...

Какое б счастье для Родины!
Но слушает кто Сивилл?
А вот Баратынский вроде бы
мечту ту осуществил.

Сбежал в благодать обители,
спасая болящий дух,
и только его и видели!..
А пламень стиха – потух.

Вне блеска балов и раутов,
в блаженстве трудов и нег,
казалось бы, жить да радовать
себя и железный век.

Но мира закон – волнение,
пусть горе, страданье, гнев!
Души водопад в забвении
застынет, оледенев.

И что же ему останется?
Скучать в окруженье чад
и скромно прохожим кланяться,
кляня себя по ночам.

Не счастье – а только тень его
среди проторённых троп...
Нигде нет спасенья гению.
Иль телу, иль духу – гроб.

Бродский

Оставил в Питере её подмену,
двойницу, стареющую средь мужчин,
а с собой увёз, что была неизменно
весела, глумлива и без морщин.

Был путь его прям, от победы к победе,
и только где-то внутри продрог.
От себя ну куда же, куда уедешь?
Нету, нету таких дорог.

А если и есть, то в седло, поверьте,
за всадником сядет его краса.
И так скакать им до самой смерти,
у которой будут ее глаза.

На могиле вдовы Некрасова

Цемент осыпался, ограда мхом покрыта.
Здесь похоронена в пятнадцатом году
вдова Некрасова и, всеми позабыта,
могилка прячется в кладбищенском ряду.

Прости саратовцев и не держи обиду,
что не нашлось им для тебя ни средств, ни рук.
Вдова Некрасова, Феклуша, Зинаида.
В табличке значится – его «жена и друг».

«Зина, усни!» – умолял он не раз,
но разжимала ты веки.
Двести ночей не смыкавшая глаз,
здесь их сомкнула навеки.

Все его мысли тогда – о другой,
ей были – звуки и рифмы,
ну а тебе – только муки его,
только предсмертные хрипы.

Светоч угас, замолчал соловей...
С ним лишь – душою и телом.
В чёрном ходила до смерти своей,
а похоронена – в белом.

Здесь отпевали в какой-то из дней,
город с тобой породняя.
Я перед памятью светлой твоей
голову низко склоняю.

Авдотья Панаева

Она одна лишь знала, кем он был,
каким он был – когда никто не видел.
Как ревновал, и мучил, и губил,
и как её любил он, ненавидя!

Хватался и за нож, и за обрез,
но ангелом-хранителем поэта
пятнадцать лет несла она тот крест,
и многое простится ей за это.

Когда увянет цвет её ланит –
подробные напишет мемуары,
где трогательно верность сохранит
своей былой привязанности старой.

Он смертью все страданья искупил.
Обиды, гнев сменила бабья жалость.
Осталось с ней лишь то, как он любил.
Единственное это и осталось.

Однажды, в нищете, марая лист
кому-то с вечной просьбою аванса,
услышала, как в форточку неслись
слова и звуки дивного романса.

*«Прости! Не помни дней паденья,
тоски, унынья, озлобленья,
не помни бурь, не помни слёз,
не помни ревности угроз...»*

И брызнули из глаз её ручьи,
и замерла рука на пол-дороге.
Чайковский, Римский-Корсаков, Кюи
озвучили божественные строки.

А та, кому романс был посвящен,
сидела у разбитого корыта,
не зная, как жива она ещё,
отвержена, покинута, забыта...

Старушка

Как утром выгляну наружу –
опять я вижу ту старушку,
как с палочкой бредёт она.
Труха, почти фантом, химера,
как будто из стиха Бодлера
иль с Брейгелева полотна.

Я подошла не без опаски.
Одна. Читает. Пишет сказки.
Похожа чуточку сама
на сказку древнюю иль притчу
своим сухим обличем птичьим,
старушка, милая весьма.

Её не ждёт ничья опека.
Приметой улицы и века,
укутана, как в холода,
и с зонтом при любой погоде
она упорно ходит, ходит,
как ходики, туда – сюда.

Фигурка маленького роста
искривлена, как знак вопроса,
но нет ответа с неба ей.
Судьба чужая манит тайной.
Старушка, гость земли случайный,
прими дань нежности моей.

О бедные чужие бабки
в платках, повязанных сверх шапки,
одной ногой на свете том!
Предчувствием теснит мне душу:
что, если выглянув наружу,
однажды там не обнаружу
старушки вечной под зонтом?

Я возвращаюсь в знакомый контекст
кухни, балкона, двора.
Сколько ещё здесь отчёркнутых мест,
что мне исправить пора.

Всё подчищаю ошибки, ворча,
и недоделки в быту.
С жабою розу Есенин венчал,
я же с куплетом – плитку.

О скверный мой скверик облезлый –
привет полновесному лесу!

Пустой сухостойный уродик –
приветик достойной природе!

Брожу среди кустиков редких –
привет вам, древесные предки!

О Муза, стишок этот тисни –
приветик всамделишной жизни!

Ироничная старая дура,
посмотри, как хорош этот миг,
естество самой жизни, натура,
а не книжный описанный фиг!

Ещё Блок говорил, что не строки
о цветах нам нужны, а цветы!
Только что ей чужие уроки
против этой высокой мороки
и сознанья своей правоты.

Не нужен повод для стиха.
Взошёл, как лопушок,
на поле боли и греха
всамделишный стишок.

Не нужен повод. На виду
растёт он, воли полн.
Я у него на поводу
отныне, а не он.

Подсолнушек расцвёл в тиши,
окреп в моей крови.
Не нужен повод для души,
для счастья и любви.

Акацию срубило ТСЖ.
Будь проклята Светлана Николавна,
которая, как ясно мне уже,
была в сиём деянье славном главной.

Я ей сказала, жаль, не все слова,
что надо бы, крича у аппарата.
Но что ей это дерево – дрова! –
достойной ученице Герострата.

Оно живое было. И цвело
его худое чахленькое тело
неброско и застенчиво, светло.
Оно летело, пело, шелестело.

Беспомощны отчаянье и гнев.
Не вызвать совесть в дворнике-дебиле.
Была моя акация в окне.
И вот её средь бела дня убили.

Дерево

Оно шумело только мне
и лишь ко мне тянуло ветки.
Как я ждала, что по весне
побеги вырвутся из клетки

и зацветут на радость всем,
благоухая с юным пылом.
Оно зелёное совсем,
оно застенчивое было.

Мне кажется, я слышу плач.
Мне словно душу обкорнали.
А дровосек – его палач –
поставил галочку в журнале.

О, что имеем – не храним
и плачем, ибо не обрящем.
Мне стыдно за людей пред ним,
таким живым и настоящим.

Веточка от срубленной акации –
лишь одну успела я спасти –
одарила щедрыми богатствами, –
за два дня сумела расцвести.

И стоит с набухнувшими почками
на окне в бутылке голубой,
нежными прозрачными листочками
тихо мне залечивая боль.

...Помню твоё худенькое тело я,
неподвижное на простыне.
«Для тебя я всё на свете сделаю», –
ты шептала еле слышно мне,

и рука твоя бессильно падала...
Но теперь, я знаю, из могил
это ты, родная, сердце радуя,
зацвела мне из последних сил.

Стихотропные средства
не помогут уже.
Век нести тебе крест свой,
этот груз на душе.

Лишь могильная яма,
где дороги конец –
вместо тёплого «мама»
и родного «отец».

Мне снились фотографии отца,
которых я ни разу не видала.
Держа альбом у моего лица,
он всё листал, листал его устало.

Вот он младенец. Вот он молодой.
А вот за две недели до больницы...
Шли фотоснимки плавной чередой,
и заполнялись чистые страницы.

Вот с мамою на лавочке весной.
Как на него тогда она глядела!
Вот лестница с такою крутизной,
что на неё взобраться было – дело.

Но ведь давно уж нет того крыльца...
И вдруг в душе догадка шевельнулась.
– Так смерти нет? – спросила я отца.
Он улыбнулся: «Нет». И я проснулась.

Безмолвные воды Стикса
однажды вспугнёт ладья,
в которой, навеки стихнув,
уже буду плыть и я.

И вдруг с тоскою острожной
взмолюсь: «Дорогой Харон!
Оставь мне память о прошлом,
хотя бы её не тронь.

Не дай ей с водою слиться,
– ну вот тебе горсть монет, –
оставь мне родные лица!»
Но он отвечает: «Нет».

Всё глуше тоска потери.
Плывёт по волнам ладья.
Всё дальше и дальше берег,
где душу оставлю я.

Их души за нами следят
там, за небесами.
Цветы на могилах глядят
любимых глазами.
Деревья щебечут слова
родных голосами.
О, как бы летела я к вам –
морями, лесами...

Молитва

Обречена на вечную надежду,
не на земле, не в облаках, а где-то между.
Надежду засветить погасшие огни,
надежду отстоять оставшиеся дни,
в «мы» обратить «они».
Верни и сохрани!
чтоб все как прежде.

Снова буду вилами писать по воде
и искать то, чего нету нигде –
ветра в поле.
И любить – в воздух, в никуда,
там, где одинокая ждёт звезда,
там, на воле.

У тоски моей взяв выходной, я шатаюсь по скверу,
что название носит проспекта «полста Октября».
Всё, что я ни увижу – легко принимаю на веру,
с каждым деревом встречным о вечном в пути говоря.

Могут мимо меня равнодушные двигаться лица,
могут струи дождя мне за шиворот литься пальто,
но не злиться я буду, а тихо любить и молиться,
чтоб однажды услышал и понял неведомо Кто.

Не гони меня, ветер, отсюда. Не каркай, ворона,
предрекая беду, над украденной крохой дрожа.
Ты – моя оборона, любовь. И не знает урона
отдающая всё до последней крупинки душа.

Четверостишия

Хотя весной на волю
я вышла в белый свет,
мне выпал снег на долю,
как на голову снег.

Кому-то – лампадка, иконка и чётки,
кому-то – луны ободочек нечёткий,
дворовый ли тополь, в лесу – соловьи...
У каждого поиски смысла свои.

Чуть тлеет сердца костерок,
но в нём – миллионы ватт.
И тайный маленький мирок
вселенною чреват.

Не каждое чрево чреватое,
и разочарует умы ж
вулкан, извергающий вату,
гора, породившая мышь.

Сокол окольцованный в ужа
превратится, извиваясь юзом.
И вольно ж Вам, певчая душа,
пресмыкаться в творческих союзах.

Печаль, которой правит метр,
просчитанная боль...
Неужто стих – игра химер,
и нарочит любой?

Бабочкой, пришпиленной к листу,
я живу на боевом посту.
Радует ваш взор узоров сеть,
но уж не взлететь мне, не взлететь.

Пусть у нас не случилось союза –
всё равно ей не отвертеться.
Возвращается блудная Муза,
потому что ей некуда деться.

«Проходит молодость, проходит», –
вздыхала Гурченко в гримёрке
на семьдесят четвёртом году,
а журналист глядел в восторге.

Что вы с нами сделали, года!
Кто в себе ту горечь не носил?
Говорят, что всё, мол, молода...
Да ведь это из последних сил!

Чем ближе к нам приход зимы,
что сушит и кукожит кожу,
тем больше делаемся мы
на снимки в паспорте похожи.

Мы все виновны в том, что меньше
самих себя, мужчин и женщин,
таких, как Бог задумал нас
в один прекрасный день и час.

Сильна ль моя слабость иль сила слаба?
Опять я в себе убиваю раба.
А раб не сдаётся, как гордый варяг.
И с этой проблемой вечный напряг.

Обернётся грязь воздушным замком,
терем ада – раем в шалаше.
Синька неба отстирает за ночь
то, что было чёрным на душе.

Мне в облаках лежит письмо.
От мамы? От отца? От Бога?
И, кажется, ещё немного –
оно прочтется мне само.

Стою одна среди могил,
разбросанных по белу свету.
Здесь каждый жив, любим и мил.
И лишь меня на свете нету.

Кладбище от слова «класть»? Нет, от слова «клад»!
Там зарытые мои столько лет лежат.
Золотые там сердца, ясные умы.
Не оценим до конца никогда их мы.

То, что прежде было – где ж ты?
Одиноким стал рассвет.
Утро красит в цвет надежды
то, чего на свете нет.

Чёрным ходом, подземным лазом
пробираюсь я раз за разом
снов извилистым коридором.
Я возьму эту смерть измором.

Жизнь к тебе, как покупатель,
всё приценивается.
Ну а смерть-завоеватель
всё прицеливается.

Дорожки морщин от яркого солнца
у жизни на свежем лице.
Тропинка бежит. Верёвочка вьётся,
не зная о скором конце.

Кармы путь извилист и обманчив,
как хитросплетенья душ и тел.
Прохудился у судьбы карманчик.
Одуванчик жизни облетел.

Встать на углу шумящей стрит,
смотреть, как мир бурлит, пестрит,
течёт, трамваями звеня,
и знать, что это – без меня.

Сниму губами капельки с листа я.
Рассвет окрепнет, темень превзойдя.
Сквозь боль утрат надежды прорастают,
политые слезинками дождя.

Пусть тебе одиноко в ночи –
будет утро мудрее, добрее.
Наша жизнь – как поленья в печи,
прогорят, но кого-то согреют.

Я буду с тобой, пока буду жива.
А пока я с тобой – не умру.
Так думает сердце, проснусь едва
на твоём плече поутру.

Нет посвящений над стихами,
но нужно ли тебе оно?
Ведь вся я вместе с потрохами
тебе посвящена давно.

Ни о чём не печалься на свете,
чёрной бездною вечно влеком.
Всё прекрасно при утреннем свете,
а до вечера так далеко.

Двустышья

Где мы окажемся в завтрашнем дне?
Жизни ли вне? На коне? Иль на дне?

Мужским или женским нас дарит природа –
мы все существа только детского рода.

С голодным сердцем, не холодным
живи, чтобы не быть бесплодным.

Нет ничего за душой, но запасливо –
фиги в кармане и камни за пазухой.

Был бы облик девушки прекрасный,
если бы не взгляд зверообразный.

Враг, бывает, покажется другом,
как петля – спасательным кругом.

Таких миазмов полный смог,
в котором дух дышать не смог.

РЕКВИЕМЫ

Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы её хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему в конце концов и сводится жизнь, осознаём мы это или нет.

И.Бродский (из речи, произнесённой на вечере памяти Карла Проффера)

Мы – это они.

И.Бродский (оттуда же)

МАМА

Боже мой, как трудно, мучительно больно всё это писать. Как бинты сдирать с незажившей раны. Несколько раз принималась – бросала, зачёркивала, рвала. Страшно каждого неточного слова, каждой неверной ноты, неправдивого воспоминания. Мне так хочется, чтобы она ожила здесь, на бумаге, не только для меня – для всех. Не могу собраться с мыслями, не получается по порядку. Я буду писать обрывочно, что вспомнится. Как Бог на душу положит.

...Приснился сон под утро, что пришла мама. Слышу, что она в прихожей. Бодрый такой шорох, как она обычно входила – шумно, внося оживление. Вроде бы слышу шаги, шорох, а потом всё как-то тише, тише... Я вспоминаю, что она ведь больна. Выбегаю в прихожую, обнимаю её в темноте за плечи, целую. «Мамочка! Как же ты дошла одна? Вот молодец! Теперь мы всегда будем вместе». Минута счастья. И вдруг чувствую, как она как-то съёживается, уменьшается под моими руками, слабеет. И говорит мне сквозь слёзы: «Я погибаю... погибаю!»

Просыпаюсь. Шесть утра. Больше спать уже не могла. Мучилась, давилась этим сном молча, как слезами. Давиду

не могла его рассказывать – очень больно. Отодвинула куда-то на задворки сознания. Писала фонограммы, варила суп, ходила на базар, гуляла с Линдой. А в памяти всё время этот сон. Жалко, если он уйдёт, забудется. Это всё, что у меня от неё осталось.

В последний год мама часто рассказывала мне о своей жизни, о том, что было до меня. Я жадно слушала, стараясь запомнить, но, конечно, многое уж ушло, улетучилось. Почему не записала тогда на диктофон? Простить себе не могу. Ведь даже голоса её у меня не осталось. Мысль о магнитофоне тогда приходила, но я инстинктивно отбрасывала её – ведь это значило признаться себе в её скорой смерти. Я не могла, не хотела об этом думать. Как страус, голову в песок прятала.

Она рассказывала, как познакомилась с отцом в юридическом институте, где они вместе учились. Время было послевоенное, 1946 год. Отец повёз её в Сталинград к своей родне – знакомиться. Ему уже присмотрели там невесту – какую-то дочку банкира. А он представил им маму: вот моя жена. Мама была очень бедно одетой, маленькой, худенькой, стеснялась своего вида. Но всем там понравилась. В том же году они и поженились. Везли с собой в Саратов единственный стул – всё их «приданое». Этот старый венский стул, который сейчас стал уже чем-то вроде символа времени, неизменный атрибут всех телеспектаклей на тему прошлой эпохи, сохранился на некоторых фотографиях в домашнем альбоме. С него начинался быт нашей семьи.

Мы жили тогда на Горького в крохотной комнатке в коммуналке на 20 семей. Мама работала судебным исполнителем. Она должна была осуществлять судебные решения по выселению, по описи имущества и т.д. Ей было жалко людей, и она старалась предупредить их заранее, как-то смягчить удар, помочь. Её все любили: подруги, соседи, сослуживцы. Все звали её «Ирочка». Она была очень живой, весёлой, хохотушкой, боевой, решительной, абсолютно бесстрашной. Боялась только грозы. Так пугалась раскатов грома, что пряталась в ванной. Там у неё была маленькая скамеечка, где она её пережидала. Пыталась и меня туда затащить. Я её высмеивала, стыдила – бесполезно. Этот страх был у неё с детства: цыганка нагадала, что она погибнет в грозу.

...На мамины похороны пришёл весь подъезд. Из её подруг уцелела только одна – Клавдия Фёдоровна. Она пришла с палочкой, сама ходила еле-еле, а это был март,

гололёд. «Не могла не прийти! – дрожащей рукой положила ей на гроб два цветочка. – Ирочка моя! – залилась слезами, увидев её иссушенное болезнью лицо. – Старушечка ты моя...» Она единственная помнила её юной, красивой. Они вместе с мамой работали тогда на заводе «Крекинг». В 41-м им было по семнадцать. Однажды началась бомбежка, и они вдвоем бежали домой через весь город под бомбами. Клавдия Фёдоровна много раз рассказывала мне об этом: как упали, хохотали, какая на маме была блузочка, которую она испачкала в грязи. Но им всё было нипочём – молодые, весёлые... Я как будто видела всё это – каким-то внутренним зрением, словно сама была там с ними. «Всё, что было не со мной – помню».

Мне не дают покоя слова, которые мама сказала тогда перед смертью, а я не расслышала. «Прости меня...» Или «Спаси меня»? Это последнее, что она мне сказала. Простить – за что?! Это я себя никогда не прощу. Спасти... Я пыталась. Вызвала скорую, купили с Давидом все лекарства, что они навывисывали, делали уколы. Сейчас думаю, может быть, зря мучили? Может быть, надо было не трогать тебя в последние минуты, оставить в покое.

Потом пошёл совсем иной отсчёт времени. Первая ночь без тебя. Первая весна без тебя. Первый Новый год... Твой день рождения был 31 декабря, он всегда был неразрывно связан с Новым годом, был двойным праздником. А теперь стал двойным горем.

Запись из моего дневника от 1 января 2006-го года: «Вчера был день рождения мамы. Первый год без неё этот день. Целый день она у меня в голове и в груди. То и дело подходила к окну, к моей акации. Она, едва завидев меня, начинает трепетать всеми своими кисточками. Ещё не было случая, чтобы она не шелестела мне навстречу – в любую безветренную погоду. Я ей шепчу через окно: «Мамочка, я тебя вижу, слышу, помню, люблю. Моя родная, солнышко моё, бедненькая моя...» И она мне в ответ тянется, трепещет, так радостно, утешающе. Со стороны, наверное, – сумасшествие, но для себя я уверена на все сто – изначально, генетически знаю, что это она, что она тут. Она не смогла бы там без меня, она нашла бы какой-нибудь способ быть со мной!

И ещё я заметила: на балкон, на карниз то и дело прилетает воробышек. Не знаю – тот же самый или разные. Он всё время шныряет по балкону, заглядывает в окно, вертит

туда-сюда головкой. А потом – шмыг, на акацию. И что-то чирикает ей в ветки. Словно она посылает его: узнай, как она там, и мне расскажи. «Воробышки игривые, как детки сиротливые...» Как я любила эти стихи в детстве. И вот теперь сама такая же, как эти детки. «Думать не надо, плакать нельзя» (С.Липкин).

Вечером не знала – пить ли шампанское, видеть его не могла. Как она его хотела! «Да ведь я не доживу...» – когда я сказала, что принесу к 8 марта. А потом, уже после праздника, спрашивала Давида: «Ты мне шампанское принёс?» Он опешил: «В честь чего шампанское?» Она растерянно: «Хочу...» «Вам сейчас нельзя». Когда он мне это рассказал, я тут же кинулась звонить сиделке: «Скажи маме, что я принесу завтра шампанское». Но она ей ответила: «Я уже ничего не хочу».

Я не знала – пить ли, словно это было кощунство – пить, когда она его не напилась, не дождалась. Или наоборот, выпить за неё, может быть, она это через меня почувствует? Выпила полфужера, но оно никак не шло в меня, вылила остальное. А ночью приснился сон. Долгий, не помню уже ничего, только конец. Будто мы – то ли с Давидом, то ли ещё с кем-то – их много – скачем на конях (это в какое-то старое время), торопимся скорей успеть в деревню, будто бы там осталась мама, и я тороплюсь её застать в живых. Подъезжая, слышим истошный крик, кого-то вроде бы убили. Я хватаю за руку какую-то крестьянку – почему-то во сне она называлась мною «чернавка» (как в сказке Пушкина), и говорю: «Узнай, кого убили, вернёшься, дам тебе конфету». Но не могу дождаться её, иду сама и боюсь идти, узнать страшное.

Вижу какую-то походную кухню, и там две женщины стряпают («очаг» – мысленно пропечаталось слово). Одна из них – моя бабушка. Я радуюсь, что она живая (даже почти молодая, ну, средних лет), обнимаю её, спрашиваю: «А где мама? Она жива?» – «Жива, жива, – отвечают мне женщины (вторая – вроде какая-то соседка) – она в шестой палате». Я обрадовано кричу: «Живая!» – и бегу искать эту палату. Но это не больничная палата, а вроде как палатка в палаточном городке, как в Чардыме. Ищу, но никак не могу найти её. И вдруг вижу стол, такой, походный, на котором разделявают пищу, и там разложены аккуратно кусочки мяса, как для отбивных. Ровные такие, одинаковые кусочки. И вдруг я

понимаю, что это буквы, которые означают слова. И не просто слова, а слова мамы, которые она написала для меня, и не просто слова, а стихи. Стихи мне, обо мне. И там такие строчки (запомнила только эти): «Ты утиночка моя, ты картиночка моя». Я сразу поняла, что это она мне написала, что это была переключка с моей детской поэмой об утке, написанной в шесть-семь лет, которой мама всегда восхищалась. Там было что-то про утку-мать и про непослушного утёнка, который в конце поэмы образумился и понял, что надо слушаться маму. И вот это неуклюжее «ты утиночка моя»... Это было похоже на слова первого объяснения Давида в любви: «золотиночка моя»... Мне ещё никто таких слов не говорил, я их всё время про себя повторяла. И вот это слилось: «золотиночка моя» и «утиночка моя». Только Давид меня держит на этой земле. Как я хочу туда, к маме, к отцу, к брату, сказать им всё, что не сказала при жизни, поддержать, обогреть. Если б знать, что я их там встречу. Какое бы счастье...»

Но чем больше проходило времени, тем сильнее я ощущала мамино присутствие. От неё всегда шло столько энергии, тепла, любви – нерассуждающей, всепоглощающей, всепрощающей, всеохватной... Этой любви было так много, что она не могла вместиться в тот ящик и скрыться под землю, она осталась в воздухе, в каждой вещи, в каждом листике, дыхании ветра. Я её чувствую, ощущаю физически. После отца осталась тоска недосказанности, недолюбленности, а после мамы – огромное тёплое биополе её души. Я чувствую, что она здесь, рядом, смотрит на меня, слышит меня, греет и хранит. «Бог сохраняет всё, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос».

Она была очень щедрой. Ни в чём не знала меры. Помню, мне было лет шесть. Мы жили бедно, подарками меня особенно не баловали. И вдруг однажды накануне моего дня рождения мама приходит с работы оживлённая, радостная и говорит мне: «А ну-ка отвернись!» Что-то достала из сумки. – «Теперь можно». Я поворачиваюсь и вижу у неё в руках – платье. Такое, о каком мечтала! Вернее, даже не мечтала. – «Примерь!»

Я облачаюсь в обновку, верчусь перед зеркалом, порхаю по комнатам. Радость распирает грудную клетку. Мне хочется во двор, похвастаться подружкам. Но мама не отпускает. – «Подожди. Отвернись снова!» И – о чудо! – Снова платье. Ещё лучше прежнего! Я пляшу что-то вроде

лезгинки, целую маму, не налюбуюсь на свои наряды. И вдруг опять: «Отвернись! Можно!» Ещё одно! Это уже какое-то невозможное счастье. Так не бывает... Такое бывает только во сне... И так было... семь раз! Она мне купила тогда семь платьев. Кажется, на всю зарплату. Я их до сих пор все помню: фасоны, расцветки, всё-всё. Мама умела дарить радость.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, она мне подарила Ленинград (тогда он ещё так назывался). Боже мой, какой это был незабываемый месяц. Мы ехали по данному кем-то из знакомых адресу и долго искали там указанный в бумажке «Фанерный переулок». Никто не знал про такой. Оказалось, мы неправильно прочли, переулок назывался «Фонарный». Нас встретила неприветливая старуха. Она была одинока, нездорова и не ждала никаких гостей. Но мама с ходу очаровала её, и уже через 10 минут они пили с ней чай на кухне как самые закадычные подруги.

Каждое утро мы смотрели в газету: куда сегодня пойдём? За месяц побывали с ней везде: во всех музеях, на всех экскурсиях. Бродили в белые ночи по Невскому, по старинным улицам, любовались Петергофскими дворцами, памятниками, роскошными парками Павловска, мрачными петербургскими домами. Мама наивно восторгалась на каждом шагу, то и дело останавливалась, ей каждый дом там хотелось потрогать. Счастливее лета у меня не было.

Когда мама уже болела, не вставала, она решила устроить мне праздник на день рождения. Отдала всю свою пенсию соседкам, сиделкам с наказом – что купить. Придя к ней в этот день, я остолбенела: весь стол был уставлен жутко дорогими деликатесами: ананасами, чёрной икрой, фруктами, чего я сама себе никогда бы не позволила. А она, лежа на кровати, сияла: смогла-таки поздравить меня по-царски! Ей хотелось, чтобы я в этот день ничего не готовила, а только отдыхала и наслаждалась вкусной едой. А как мы будем жить потом месяц, как сводить концы с концами – она не думала.

В следующем году я постаралась пресечь это расточительство: уверяла её, что мне не нужно никаких подарков, объясняла, что денег на необходимое не хватает, что мы не можем себе этого позволить. Говорила, как мне казалось, разумные вещи. А мама вдруг заплакала: «Что же это такое, я дожила до того, что даже подарок тебе сделать не могу...»

Я ей сделала больно, дала ощутить свою беспомощность. Может быть, не нужно было запрещать, пусть бы покупала эти не нужные мне ананасы, лишь бы это доставляло ей радость. Как многого я не понимала тогда, смотря лишь со своей колокольни.

Когда заказывали с Давидом памятник, заказали «овал». Я долго выбирала для него мамину фотографию и выбрала ту, где она была больше всего похожа на себя, которая, как мне казалось, выражала её суть. Она была там не молодой, не старой – средних лет. В цветастом халате, в котором я её хорошо помню, с завитком на лбу (такой делали тогда многие женщины, подражая Валентине Терешковой), с застенчивой улыбкой и какой-то робкой надеждой в глазах. Надеждой на радость. Ей так всегда хотелось радоваться, но жизнь редко давала к этому повод.

Фотомастер похоронных дел проявил творческое рвение, в результате которого мама на овале предстала отретушированной, намного моложе и красивей, чем на карточке, в обрамлении затейливых веночков. Но это была не она. Что-то неуловимо изменилось в пропорциях лица, в выражении глаз. Я отвергла эту работу, пытаюсь объяснить, что мне не нужна «улучшенная» копия мамы, мне нужна она, узнаваемая, родная. Меня не поняли, сочли это вздорным капризом, но деньги всё же вернули. Я заказала овал в другом месте, и там уже она была – она, без всякой дурацкой ретуши и глупых финтифлюшек.

Помню, как приехали с Давидом на Новое кладбище в первый раз после установки памятника. Пока добирались – пошёл дождь. Участок был самый дальний, туда идти надо было минут двадцать в открытом поле. У нас ни зонтов, ничего. И вдруг – чудо! – только мы подошли к маминому участку – дождь прекратился внезапно и стало так тихо, ясно, просветлённо. Словно это она для нас сделала, чтобы мы спокойно могли обратиться на могиле. Я посмотрела в небо: мамочка, это ты? На меня сверху капнуло две дождемки. Словно две слезинки. «Там, в небесной вышине кто-то плачет обо мне».

И ещё был один волшебный случай. Мы с Давидом, уже убравшись на могиле, собирались возвращаться. Но что-то как будто мешало мне уйти. Мне не хватало ощущения её присутствия, какого-то тайного знака, что она тут, рядом, со мной. Я окинула взглядом пустынное поле, хмурое небо –

никого и ничего. Одни лохматые вороны кружили над крестами. И вдруг... Это было, клянусь, Давид не даст соврать – откуда ни возмись – соловей! Здесь, в этом диком поле, где ни деревца, ни кустика! Он, вынырнувший откуда-то из-за туч, приземлился на соседний крест, прямо перед нами, и – запел.

Мы замерли, боясь пошевелиться. Соловей, казалось, видел нас, и не только не боялся – он пел для нас! Сколько это длилось – минуту, другую?.. Допев свою руладу, он исчез так же неожиданно, как возник. У меня по щекам текли слёзы. Ну какие ещё нужны доказательства?! Да будь я хоть трижды атеист, как я могу не чувствовать этого – что ты смотришь, видишь, слышишь меня. Не чужой холодный неведомый Бог, а ты – родная, тёплая, любимая. Я чувствую тебя всюду – в дождике, ветке дерева, солнечном лучике – всё это ты, всё пахнет тобой («Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты» (Фет), твоя любовь, твоя всевидящая и вездесущая забота и тревога.

Как ты плакала в трубку, если я поздно приходила, как упрекала: «я же волнуюсь!» Мне это казалось вздорной причудой, я снисходительно увещевала: «Ну что ты, ну что со мной может случиться!» То вдруг звонит чуть свет, плачет: «Видела тебя маленькой. Такой страшный сон... Как ты, доченька, здорова? У тебя всё в порядке?»

Потом ты уже не слышала и говорила мне в трубку, пытаясь угадать мой ответ. Я говорила сиделке, а она уже – в ухо тебе. Я уговаривала тебя переехать к нам каждый день: «Мне будет легче, ты будешь рядом, не надо будет таскать сумки, я не наготовлюсь на этих сиделок». – «Нет». Не хотела обременять. А потом уже нельзя было перевозить: каждое прикосновение причиняло боль. Врач прописала обезболивающее: трамал, но не предупредила, что оно замутняет сознание, что его даже используют наркоманы. Ты их выплёвывала, не хотела пить. Хотела, чтобы сознание было ясным – пусть даже ценой боли.

Но как ты была мужественна – не видя, не слыша, почти не двигаясь. Как хотела жить, любить. «Дай твою ручку». «Какое на тебе платье?» Развивала планы об обмене наших квартир на одну: «У тебя будет то-то и то-то... Я всё для тебя сделаю!» Я давила в себе слёзы.

Как радовалась, когда моё стихотворение победило на конкурсе в США. «Ну, прочитай ещё. Ну, ещё!» По несколько раз в день просила.

Умудрялась находить радость даже в своём положении. «Завтра принеси мне мой белый махровый халат. Я его надену, и мы будем пить шампанское!» (был какой-то праздник). Халат мы надеть ей не смогли – было больно. Накрыли этим халатом. Шампанское она пила лёжа, через соломинку, которую я держала в руках. «Ну, а теперь, – блаженно улыбалась, – вы идите, а я буду спать».

Как она радовалась, когда я приносила мороженое, что-нибудь вкусненькое. Каждому пустяку радовалась, как ребёнок.

Вдруг вспомнила про открытку от Аксёненко, попросила найти. (Он поздравлял всех ветеранов с Днём победы). Почему-то она была ей очень важна. (Наивно думала, что это он сам писал ей лично). Обыскала всё – как провалилась. Мама плакала. Нашла уже после смерти в буфете за чашкой.

В один из последних дней попросила зефира в шоколаде. Я отламывала его маленькими кусочками и осторожно вкладывала в рот. Заметила, что у неё неестественно красный язык. – «Мама, почему у тебя такой язык красный?» – «Живой потому что». – Она ещё шутила. Долго смаковала зефир беззубым ртом, и вдруг – с тоской: «Как же я всё это любила!» Эта денисьевская фраза (но мама не знала тех тютчевских стихов) резанула по сердцу.

Но это было единственный раз. Она не хотела думать о смерти, никогда не говорила о ней. «Живой о живом думает» – любимая её поговорка. Но для меня это – живое. Все, что с ней связано, – более живое, чем то, что окружает в реальности. «Ты притронься сюда рукою. Там живое. Оно болит».

Помню, пришла как-то, она спит. Такая маленькая, седенькая. Сердце сдавила жалость.

Мама, белая головушка,
утро новое горит.

Как я люблю эту окуджавскую песню.

Но сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

Иногда мне кажется, что она – это я. Пока наши близкие живы, мы думаем, что мы – другие, что мы – это что-то самостоятельное, а мы на самом деле – часть той же самой ткани, та же самая ниточка...

Тянешься ко мне стебельками трав,
звёздочкой мигаешь мне за окном.
Жизнь мою ночную к себе забрав,
ты ко мне приходишь небесным сном.

Я хожу по нашим былым местам,
говорю с пичужкой, с цветком во рву.
Пусть тебе ангелы расскажут там,
как я без тебя живу – не живу.

Твой пресветлый образ во всём вокруг.
Я тебя узнаю во всех дарах.
И надежда греет: а вдруг, а вдруг...
Пусть в иных столетьях, в иных мирах...

БАБУШКА

Незадолго до болезни мамы я увидела сон, который помню до сих пор. Вернее, мама уже болела, но ещё не очень тяжело, ещё вставала, кое-как ходила на ходунках, ещё была надежда на выздоровление. И вот мне снится бабушка. Подробности не помню, но понимаю, что она мертва и что пришла забрать маму. А я как закричу истошным голосом: «Не-е-ет! Нет, нет, нет!» И она заплакала, махнула рукой и, сказав что-то вроде: «Ну, пусть так» или «Бог с вами», ушла. Мама прожила ещё семь лет. Но какие это были годы! Полные нечеловеческих болей, физических страданий. Я часто вспоминаю тот сон и думаю: а может быть, бабушка знала о том, что ждёт маму, может быть, ей там было видно всё наперёд и она хотела избавить свою дочь от лишних мучений? Моё атеистическое воспитание не позволяет верить в загробную жизнь, но разум и здравый смысл часто бывают побеждены чувством и подсознанием. В конце концов, что мы знаем обо всём этом...

Бабушка умерла в 1988 году. Я всю жизнь жила с ней, с детства. До пяти лет – в её стареньком доме на Ульяновской (меня забирали только в выходные). Потом, когда родители развелись, я снова переселилась на несколько лет в её конурку. Спали вместе на одной кровати, и я морозила бабушку своими ледяными ступнями, а она отбивалась и охала. (Это была моя месть за её ежевечернее: «мой ноги!»).

В детстве она пела мне песню про серенького волчка (когда смотрю гениальный мультфильм Норштейна – всегда её вспоминаю): «Придёт серенький волчок, схватит Нату

за бочок и утащит во лесок...» – «Там головку оторвёт и посадит под малиновый кусток!» – неожиданно добавляла я. Бабушка застывала в изумлении: «Какая головка? Не отрывал он никакой головки!» Но я каждый раз, когда песня доходила до этого места, вставляла свою кровожадную строчку. Бабушка сердилась на мою отсебятину, защищала безобидного волчка. Это уже тогда, видимо, во мне просыпалось своевольное творческое начало.

Я пишу о бабушке по линии мамы, бабушку со стороны отца – Клару Борисовну – я знала очень мало. Она жила в Волгограде и несколько раз приезжала к нам в гости. Но я тогда была очень маленькой, я даже имя её выговорить не могла и называла: «баба Кая». Так это имя за ней и закрепилось, её с тех пор все так и звали: «баба Кая». Помню, что была она очень полной и очень юмористичной, всегда говорила что-то смешное и остроумное, от чего все смеялись. И она тоже забавно так коротко похохатывала. Помню её подарки: ярко-красные стеклянные бусы, японский веер, пижаму в горошек в оборочках. Когда мне было года три, мы всей семьёй приезжали к ней в Волгоград. Но от этого времени помню только песочницу во дворе и то, как мы спали все на полу, где было так вольготно кататься из угла в угол.

Дедушку моего (по линии папы) расстреляли в тридцать седьмом. Ни его, ни другого деда – со стороны мамы – я не знала.

Бабушку, которая меня воспитывала и с которой я жила до самой её смерти, звали Лидия Григорьевна Перевеева, по мужу (второму) – Захарова. Родом она была из города Шахты. Там осталось много моей родни, которую я никогда не видала. В тридцать четвёртом бабушка была репрессирована. Из тюрьмы бежала (как гласила семейная легенда) в Саратов. Но бежала – как я теперь понимаю – не из тюрьмы, а от первого мужа, который беспробудно пил, бежала тайно, забрав троих детей, не оставив адреса. Первый муж – мой родной дедушка Григорий Кравченко – спился и умер от белой горячки в 35 лет, я его никогда не видала. А неродной – Александр Кузьмич – был добрейшим человеком. Он взял бабушку с тремя детьми, очень её любил, заботился обо всех нас. Выучил меня читать по газете. Вернее, выучилась я сама: он читал газету, а я приставала: «Какая это буква? А это?» Он терпеливо показывал, объяснял. Первое слово, которое я самостоятельно прочитала по слогам, был заголовок

газеты «Правда». А первую свою книжку я прочитала в 5 лет. Это была «Золушка». Читала я её очень медленно и мучительно, с утра до вечера, но всё же одолела. А потом уже дело пошло быстрее, и вскоре я читала сказки вслух своим двоюродным сестрам.

На Ульяновской вместе с нами в соседней комнате жила семья бабушкиного сына – моего дяди. Кроме сестёр был ещё двоюродный брат Валерка – ровесник моего старшего брата Лёвы. Бабушка была малограмотной (четыре класса церковно-приходской школы – всё её образование) и просила меня писать под её диктовку открытки к праздникам всем родственникам, в том числе и живущим рядом. И я старательно выводила: «Дорогой мой внучонок Валерочка!..» Двоюродный брат и сестры покатывались со смеху, получив от меня такой странный текст. И только когда доходили до подписи, соображали, кто автор.

В начальных классах я страстно увлеклась Есениным, прочитала о нём всё, что было в нашей и в Пушкинской библиотеках. У меня возникла бредовая идея: а ведь я могла бы быть – теоретически – внучкой поэта, поскольку бабушка была его современницей. Долго приставала к ней с наводящими вопросами: а не была ли она случайно в Петербурге, не могли ли они как-нибудь ненароком встретиться... Поняв, что вряд ли что от неё узнаю, допридумала сама историю своего происхождения, и всем во дворе и в школе «под большим секретом» раскрывала «страшную тайну»: «Я – внучка Есенина!» Поскольку причёски у нас были похожи, и к тому же все его стихи я знала наизусть – мне многие верили.

Но я отвлеклась от рассказа о бабушке. Во время войны она получила похоронку на своего старшего сына Виктора. Сутки пролежала молча лицом к стене. Но нашла в себе силы жить дальше. Она была очень сильной, властной, гордой, мудрой. Её уважали соседи, родственники, бегали к ней за советом. Потом объявилась Женя – дочка погибшего Виктора, родившаяся от женщины, которую он встретил и полюбил на войне. Он дал им адрес бабушки, и они приезжали к ней в гости.

После смерти дедушки к бабушке несколько раз сватались, но она всем отказывала. Жила лишь для детей и внуков. В своём архиве я как-то наткнулась на телеграмму одного из её «воздыхателей» – композитора Петрушкова:

«Дорогая Лидия Григорьевна, поздравляю вас с успехом Наташи» (имелась в виду моя первая стихотворная публикация в «Заре молодёжи»). Я задумывалась: как же моя бабушка, наверное, была хороша в молодости, если даже в 70 были охотники взять её замуж? Один мой несостоявшийся, отвергнутый жених – филолог-заочник – плакал на бабушкином плече, жалуясь на моё «жестокосердие»: «Ну почему она – не Вы?!»

Хотя бабушка и не была образована, вид у неё был весьма интеллигентный, что многих вводило в заблуждение. Помню, управдом или кто-то из жэка, увидев её впервые, с уважением спросил: «Вы педагог?». Я долго по этому поводу хохотала и дразнила бабушку «педагогом». У неё было несколько твёрдо укоренившихся в сознании предрассудков, которые я не могла поколебать никакими научными доказательствами. Например, она не верила, что земля вертится. Все мои убедительные объяснения, цитаты из учебника и ссылки на авторитеты разбивались о бабушкин несокрушимый довод: «Да ведь мы же тогда все бы попадали!» При этом она смотрела на меня снисходительно, как на несмышлёныша, не понимающего очевидных истин. Бабушка была убеждена, что Маркс и Энгельс – это один человек, Маркс – имя, а Энгельс – фамилия, и разделить этот великий образ надвое не представлялось ей возможным. И ещё она жалела негров. Какая бы неприятность со мной ни приключалась, она с укором напоминала: «А как же негры в Америке?» И я пристыженно замолкала: действительно, что все мои беды по сравнению с несчастьями чернокожих. Сразу вспоминалась «Хижина дяди Тома»: Элиза, убежавшая по льдинам с грудным ребёнком на руках, которого собирались продать в рабство, смерть старого доброго Тома, свои слёзы, капавшие на страницы... Может быть, поэтому моей любимой куклой была не роскошная немецкая дива, которая восседала на комодке, как на троне, и, казалось, нимало во мне не нуждалась, а потрёпанная целлулоидная негритьянка, названная мной Томой в память о замученном герое книги.

Бабушка обожала смотреть праздничные демонстрации. В такие дни она с утра включала телевизор, впивалась подслеповатыми глазами в экран и не отрывалась от него до самого последнего кадра. Я удивлялась: как не надоеет – одно и то же? Наверное, ей это напоминало революцию, детство... Ведь в 17-м бабушке было уже четырнадцать. Почему я

ни разу не расспросила её о том времени? Столько раз жалела об этом. Помню, когда она болела, в бреду звала какого-то Ваню. Потом я спросила у бабушки – кто это? Оказывается, её брат. В 20-е годы белые сбросили его в колодец. Я была потрясена: она никогда об этом не рассказывала. Она вообще ничего не рассказывала о своей прошлой жизни. Да я не очень и интересовалась. А сейчас меня это страшно мучит. «Жизнь прошла как не было – не поговорили». Тайну своих предков, историю своей семьи бабушка унесла с собой.

Вспоминаются платья, сарафанчики, которые она мне шила. Шила очень медленно, неумело, скрупулёзно, но в результате получались отличные вещицы – всегда с какой-то выдумкой, вышивкой, необычной деталькой, делавших их неповторимыми, нестандартными. Вообще всё, что она делала – она делала очень добросовестно и старательно. Питались мы всегда довольно скромно: каша, картошка, котлеты, бабушка не знала никаких разносолов. Но у соседней постепенно всему выучилась – и соленьям, и пирогам, и салатам, и это получалось у неё даже вкуснее, чем у её учителей.

Вспоминаются её присказки, поговорки: «Я – бабка-угадка». «Мыслимо ли это?». «Я умру, но слово бабкино не умрёт!»

Была необыкновенно чистоплотна. Каждую чашечку начищала содой до блеска. К вещам у неё было особенно нежное отношение: каждая тёрочка, скляночка, тряпочка были для неё живыми. Однажды я услышала, как бабушка, протирая каждый листик фикуса, говорила им соболезнующе: «Как-то вы будете без меня, бедненькие, кто о вас будет так заботиться», понимая, что у меня вряд ли хватит на это терпения и времени.

Вспоминается и такое, о чём не хотелось бы помнить, что сейчас обжигает стыдом и раскаяньем. Когда мы жили с бабушкой уже в этой квартире, на проспекте 50 лет Октября, в нашем подъезде тремя этажами выше жил мой двоюродный брат Валера с женой и маленьким сыном Костиком. Бабушке захотелось подарить что-нибудь правнучку, а поскольку денег на подарки у неё не было, всё уходило «на жизнь», то она взяла у меня из шкафа потихоньку книжку – как ей казалось, детскую. А это была одна из самых моих любимых – рассказы А.Раскина «Как папа был маленьким». Я возмутилась, отняла у неё книжку, накричала. Бабушка

плакала от бессилия. Ей так хотелось порадовать Костика. Что мне стоило дать ей какую-нибудь другую. Или в конце концов эту, я и так её знала наизусть. Иногда думаешь: вернуть бы всё назад, ну хоть на мгновение, исправить то-то и то-то... глядишь, многое тогда пошло бы по-другому.

За три года до смерти у бабушки случился инсульт. Она всё понимала, ходила, но чем-то стала похожа на маленького ребёнка: забывала, путала слова, в её лице появилось что-то жалкое, заискивающее. Как раз в это время в мою жизнь вошёл Давид. Помню, как бабушка попыталась выразить своё отношение к моему выбору. Мучительно подбирая слова, она проговорила: «Если б я была женщиной...» И опять: «Если б я была женщиной...» Лукавая и смущённая улыбка досказала то, что она имела в виду.

Она была женщиной. И ещё какой женщиной! О многом я, конечно, могла только догадываться, интуитивно чувствовать в ней. Когда бабушка умерла и её лицо стала заливать мраморная бледность, в нём вдруг одновременно стали проступать черты, бывшие до болезни: достоинство, властность, какая-то величавость, Из маленькой слабой старушки, которую было жалко, она на глазах превращалась в величественную статую, независимую от всего бренного, не нуждающуюся уже ни в ком. И я вдруг каким-то спинным мозгом ощутила, какой она была **ЖЕНЩИНОЙ** когда-то. Настоящей донской казачкой – гордой, смелой, свободной.

Сейчас моей бабушке было бы 104 года. Не осталось в живых никого, кто бы помнил её и любил. Только я.

ЖЕНЩИНА, НЕ ЗНАЮЩАЯ СТАРОСТИ

Пять лет назад судьба подарила мне встречу с этой необыкновенной женщиной. Помню, как она подошла ко мне в конце лекции и что-то процитировала к слову из моих стихов. Я удивилась, что она их помнит наизусть. А Нина Сергеевна Войцеховская – позже я узнала её имя – сказала, что уже давно «живёт в обнимку» с моими стихами, настолько многое там ей близко. Что не только сама их читает, но и знакомит с ними «товарищей по компартии» и друзей из общества моржей «Нептун».

Жизненная активность этой пожилой женщины поражала. И чем больше я её узнавала, тем больше восхищалась

её неуёмной жаждой жизни, жаждой знаний, деятельного добра. Всё в себя вобрать, не пропустить ни капли, ни грамма земной радости, мировой культуры, людской беды – ничто не проходило мимо её сердца.

Что мне известно о Нине Сергеевне? Родилась она в 1926 году. Когда ей было восемь лет, умирает от родов мать. Отец остаётся с тремя детьми на руках. Через два года его репрессируют. Из лагеря он выйдет лишь через 20 лет. А 10-летняя Нина в 1936 году попадает в саратовский детдом. Он находился на улице Лермонтова (бывшая Покровская) на месте бывшего женского Крестовоздвиженского монастыря и назывался «Красный городок». Сейчас от этого здания уцелели лишь одни ворота, которые охраняются государством как памятник архитектуры.

Нина Сергеевна всю жизнь вела дневники, своеобразную летопись, где описывала жизнь «Красного городка», его малолетних обитателей. Я читала эти записи. В них сразу чувствуется, что автор писал о глубоко личном, выстраданном, кровно пережитом. Всё очень правдиво, достоверно и вдвойне ценно, что эта правда – порой беспощадная – изнутри.

Запомнились горькие эпизоды о том, как украли новые ботинки у мальчика, которые он прятал под подушку, как нелюдь разула ребёнка на морозе, как трудно приходилось девочкам в общежитии в самостоятельной жизни, жестокие условия существования тех лет. Но при этом – как ярко рисует она всё хорошее, что было в довоенном детдоме: дружбу, взаимовыручку, честность в отношении к своему долгу, любовь к маленьким детям со стороны старших ребят. Некоторые рассказанные там истории могли бы вполне войти в «Педагогическую поэму» Макаренко: о том, как воспитательница доверила бывшему воришке принести ей зарплату, о том, как девочки добровольно отказались есть арбузы, наказав самих себя. Очень сильна сцена о нашедшейся родной матери, которую мальчик уже не застал в живых. Замечательно, что Войцеховская сохранила столько писем бывших детдомовцев с фронта, память о них. Несмотря на тяжёлые, даже порой жестокие факты, которые она приводит в своём повествовании, всё это пронизано таким светом и теплом человечности, что сразу чувствуется резкий контраст того – трудного, но понятного времени с нашим – непонятным, диким, хищным и бездуховным. Сейчас эти записи переданы

родственниками Н.С.Войцеховской в музей краеведения. А фрагменты из них опубликованы в книге Владимира Разина «От Минска до Хвалынска».

И после того, как она вышла за ворота детдома в большую жизнь, связь с «городком» не прерывалась. В течение полувека стараниями Войцеховской воспитанники саратовского детдома (она вела с ними многолетнюю обширную переписку) ежегодно съезжались из разных уголков России на встречу выпускников. Встречались традиционно 9 мая в парке Победы у колокола. В этом году этот праздник впервые прошёл без Нины Сергеевны Войцеховской.

Какой это был для неё великий и счастливый день! Как она мне рассказывала – взхлёб, каким-то звенящим солнечным голосом – о торжественных мероприятиях в парке Победы, в которых всегда принимала живейшее участие. Как радовало её многолюдье этих праздников, присутствие на них детей, молодёжи, какой гордостью за свою страну лучились ее глаза – я не только чувствовала, но, казалось, видела это по телефону! – и в этом не было никакой казенщины, заорганизованности, формализма, позёрства, – нет, она была искренна и чиста в каждом слове, в каждой мысли, в каждом поступке. Как жаль, что я не записывала её рассказы, – слова, фразы стёрлись из памяти, но её звонкий молодой победный голос до сих пор звучит у меня в ушах.

Она очень ярко и сочно жила. Каждое утро Нина Сергеевна спешила на Набережную, где собирались её друзья по спорту, – бегала, плавала (её купальный сезон открывался с 1 мая и длился до 1 октября), делала гимнастику, – и это в 80 лет! С каким вдохновенным восторгом она мне описывала сияние лучей восходящего солнца, всю прелесть просыпающегося с рассветом города – в эти минуты она была более поэтом, нежели я. А я слушала, восхищалась, завидовала и давала себе клятву с завтрашнего же дня... ну, хотя бы начать делать утреннюю зарядку. Потом из этих благих порывов и минут белой зависти родились стихотворные строки:

Женщина, не знающая старости,
слабости и страха никогда.
Этот дар в себе и этот жар нести
что ей помогает сквозь года?

Как ей удаётся в этом возрасте
словно на коне лететь лихом,
и, не зная корысти и хворости,
жить в обнимку с песней и стихом?

Отдала бы всё на свете золото
я за этот свет и этот след,
и свою сомнительную молодость –
за такие восемьдесят лет!

Она не знала старости. Она не узнала и своей смерти. Умерла во сне, незаметно проскользнув за ту грань, где не будет ни восходов, ни утренних пробежек, ни радости встреч с прекрасным... Хорошо, что она всего этого не осознала, не успела понять. «О Евы бедные восьмидесяти лет, увидите ль зари вы завтрашней сиянье?» (Бодлер). Говорят, это смерть праведников.

В субботу 18 ноября 2006-го в библиотеке был первый вечер Некрасова. Для Нины Сергеевны, не пропускавшей ни одной моей лекции, он оказался последним. На другой день в воскресенье мы довольно долго говорили с ней по телефону. Она делилась впечатлениями, проводила живые параллели с современной жизнью, с нетерпением ожидала продолжения. А в пятницу вечером вдруг раздался звонок. Незнакомый глуховатый мужской голос спросил:

– Вы Наталья Максимовна?

– Да, я.

– Вы знали Нину Сергеевну Войцеховскую?

– Да, конечно. А что случилось?

– Я вчера её похоронил. Я её внук, Игорь. Нашёл вот в ее телефонной книжке Ваш номер. К сожалению, только сейчас обнаружил. На полке у неё стоят Ваши книги. Она так тепло всегда отзывалась о Вас...

Эту книгу, кстати, я пишу на бумаге, подаренной мне Войцеховской за три дня до смерти. Я очень многим обязана Нине Сергеевне. Это главным образом благодаря ей я ещё читаю свои лекции. Всё это могло кончиться ещё в 2003-м, когда решили сократить мою ставку в библиотеке. Хлопотали многие, но именно Войцеховская выступила тогда перед залом, зачитав намеченный ею решительный план действий: «Наша задача – во что бы то ни стало сохранить для города лекторий...» Собирала подписи. Несколько раз ходила на приём к министру культуры, упорно добивалась ответа. Ходила в редакции газет. Собиралась на приём к Аяцкову. Обо всём этом я узнала позже, из телефонных звонков: «Остановите ваших старушек! Никто ваш лекторий не закрывает. Работайте спокойно...»

Когда я смотрела на тонкую, стройную, почти девичью фигурку Нины Сергеевны Войцеховской, её гордую осанку,

кокетливо подкрашенные хной волосы, слышала её звонкий певучий голос с чёткими интонациями, читала в тетради отзывы её лаконичные деловые формулировки, сквозь которые, тем не менее, прорывались восторженные женские эмоции – я не могла поверить в её возраст. Несмотря на внешнюю хрупкость и изящество в этой женщине чувствовалась непреклонная воля, железный стержень характера. На память приходили строки Н.Тихонова: «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей». «Гвозди» – в лучшем понимании этого слова. Как бы это понятней объяснить? Да, Войцеховская – человек прошлой эпохи, в чём-то косной, жёсткой, чёрно-белой, что ли, где идея, идеология значила гораздо больше, чем человеческая жизнь. Я не разделяю коммунистические взгляды, к которым Нина Сергеевна была привержена. Но... романтика революции, энтузиазм первых пятилеток, героизм, самоотверженность, товарищество, служение долгу, – Нина Сергеевна из того поколения, тех лучших его представителей, для кого это были не просто слова – ныне устаревшие, осмеянные, канувшие в былое. Она не жонглировала этими словами, не прикрывалась ими, мостя дорогу к карьере и благополучию, – она искренне верила в них, претворяла их в собственные дела и поступки, оплачивала своей жизнью.

Передо мной – кипа листов, исписанных мелким аккуратным «школьным» почерком Нины Сергеевны Войцеховской. Это её письма-отзывы на мои вечера, стихи, книги – настоящие трактаты с многочисленными цитатами, своими замечаниями, пометками. И, перечитывая их, я поражаюсь: до чего же она выражала в них себя, свою сущность.

«Проглотила» Ваше новое творение («Острые углы» – Н.К.), где «острота угла» возрастает с каждым последующим стихом. Как всегда в Ваших книгах есть моменты, которые особенно задевают за живое, запоминающиеся:

«Улыбку натянуть на боль
и снова – в бой с самой собою».

«По каналу над бездной судьбе супротив
без страховки, гарантий и альтернатив».

«Мне всё доставалось с бою,
лишь это – подарок небес».

«Не бегом пробежала по первой части колоссального труда («Ангелы ада» – Н.К), а ступала с осторожностью со страницы на страницу, останавливалась, размышляла, и

не покидало чувство удивления, как глубоко, днее дна русской поэзии спускался автор, чтобы извлечь, призвать к жизни непозволительно преданных забвению наших современников». «У Александра Ханьжова в «Тюремном дневнике» выражена тоска по любимой яблоне в своём саду. Семь лет отбывал наказание, и никто ему не привёз в передачах яблочек. А он так ждал каждый год. Разделяю Ваше, Наталья Максимовна, искреннее чувство сожаления, что поздно узнали о желании заключённого поэта. И я подумала о своих однокашниках в «Красном городке». Знай об этом, мы бы ему оптом подкатали подводу с яблоками своего сада».

«Ни Набоков, ни Елагин, ни Г. Иванов, ни Б. Поплавский со «слишком русской душой» не нужны были западу, жили бесцельно, бездумно, по инерции, не приспособленно к деловому ритму капиталистической жизни. Мне подумалось, вот бы молодёжи нашей, стремящейся на запад, поближе познакомиться с болевой поэзией наших соотечественников, проживавших и проживающих там, где так и не обрели Дом – такое тёплое слово, такое ёмкое понятие! – может быть, поубавилось бы стремления покинуть родные края».

«Подруга пишет: «Нет прекрасней края.
Давайте к нам! Сжигайте корабли!»
Но не влечёт меня обитель рая
уютно ностальгировать вдали.
Там всё стерильно: ни врага, ни друга.
Там море мёртво и душа мертва.
А здесь дворы с родимую разрухой
и круговой порукою добра. –

Наша Наташа!»

«Спасибо Вам, уважаемая Наталия Максимовна, за знакомство с ранее неведомыми «пасынками русской поэзии». Им было одиноко и холодно в этом мире. Ваше кредо: «нельзя убивать поэта нечтением, казнить забвением» мне очень близко и дорого».

Даже по тем цитатам, которые приводит Нина Сергеевна из моих книг, по её комментариям к ним можно составить представление о её характере, личности:

«Небо давит, как на атлантов,
подпирающих своды зря –
на безумцев, певцов, талантов,
на которых стоит земля. –

попадание точно в цель!»

«Как все мыслящие инако,
я выламываюсь из рядов.
Одинока, но не одинака
среди заткнутых кляпами ртов. –

очень сильное впечатление оставляют эти строки!»

«Жизнь – свободное время от смерти.
Пронестись ли в едином броске,
повседневной отдать круговерти
иль скормить свою душу тоске? –

ни в коем случае!»

Я в прошлое, как в шахту, опускаюсь.
Я из него уже не возвращусь.
Невозвращенкой среди вас живу.
Но только это держит на плаву. –

какое же трудное Ваше, Наталья Максимовна, душевное «я» для себя! Вспоминаю Ваши строки: «Я поэт нетяжёлого веса, но мне так тяжело».

«Системы не имев иммунной,
как в пропасть, падала ничком,
и жилы превращались в струны
рыдавшей скрипки под смычком –

нутром чувствую голос этой скрипки!»

«Я лестницу воздушную сплету
из слов твоих, из снов моих и слёз,
и ты её поймаешь на лету...
Я это говорю почти всерьёз». –

стихи о маме очень трогательны. Всю жизнь мне не хватало этого светлого имени «мама». К старости, как это ни странно, тем паче».

«Спасибо за книгу. Спасибо за неустанный поэтический труд. С удовольствием пребываю в плену рождённых Вами строк».

«Прочтёшь, погрузишься в раздумья и не хочется в мыслях возвращаться в день сегодняшний, так обеднённый духовно. Наверстаем ли когда-нибудь? Хотелось бы, чтоб совершилось Чудо».

Мне давно хотелось написать о Нине Сергеевне, рассказать об этой удивительной женщине, представительнице уходящего племени, уходящей природы, задержать её в нашей памяти, отдать дань благодарности и любви. Говорила с её

сыном, внуком, расспрашивала о ней друзей, знакомых, бывших учеников. Последних было очень много. Окончив Саратовский педагогический институт, Нина Сергеевна более сорока лет проработала в школе, – преподавала немецкий язык, была завучем, директором. В 60-е годы была направлена на работу в Монголию. Она – обладательница многих почетных званий и наград: ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, у нее медаль Жукова, медаль «За доблестный труд». Сын в детстве обижался, что для мамы работа всегда была на первом месте, порой чувствовал себя брошенным, недополучившим материнского тепла. И только позже понял, как много она ему дала. По взволнованному голосу Володи, по тому, как по нескольку раз перезванивал, вспоминал то один, то другой эпизод из их жизни, чувствовалось, что он не только любит мать, он ею гордится.

Взахлёб мне рассказывала о Нине Сергеевне её ученица 1957 года Алевтина Капитоновна Зюзина: как интересно та вела клуб интернациональной дружбы («об этом клубе я могу рассказывать часами!»), как многому Войцеховская научила их («родители у меня были люди простые, и всё, что я знаю, умею – всем этим я обязана Нине Сергеевне. А когда мама умерла – она мне фактически заменила мать»). Рассказывала, как искали с ней могилы погибших на войне одноклассников, детдомовцев, как ежегодно их навещали, ухаживали за ними.

– Вот передо мной огромная пачка писем, которые Нина Сергеевна писала мне из Монголии, где она работала с 64-го по 67 год в школе при посольстве. Я их всё время перечитываю. И в каждом письме она спрашивает: как вы там, какие трудности, пишет такие обнадеживающие, ободряющие слова. Она мне была как мама родная, – голос женщины срывается на рыдание. Да, такие признания дорогого стоят.

И только один разговор оставил неприятный осадок. Мне дали телефон Я.Ю. Вигдорчика, который воспитывался в детдоме вместе с Войцеховской, и я позвонила ему в надежде узнать какие-нибудь подробности её детской и школьной жизни. Но вдруг услышала безапелляционное:

– Я не разделяю политических взглядов Нины Сергеевны. Она поддерживала компартию. Я не приемлю эту идеологию.

– Я тоже. Но в данном случае это не важно. Важно, какой она человек. Коммунисты ведь разные были. Ведь мы и

сейчас, несмотря ни на что, относимся с симпатией к коммунисту из Чухраевского фильма.

Вигдорчик что-то раздражённо мне возражал. Он казался крайне бескомпромиссным и нетерпимым человеком. Я удивилась: как же они дружили, находили общий язык?

– Интересно, а когда Вы высказывали Нине Сергеевне своё неприятие её взглядов, она спорила с Вами?

– Никогда не спорила. Молчала.

– Но оставим это... Может быть, Вы можете вспомнить какой-нибудь конкретный эпизод из её жизни, какой-нибудь её поступок?

Вигдорчик задумался.

– Ну вот, например, когда бы я к ней ни пришёл – она всегда накрывала на стол и кормила меня обедом. Это поступок?

– Нет, наверное... Это гостеприимство. Хотя – если это в голодные годы...

Он, помолчав, добавил:

– Ну, вот ещё: когда у меня умерла жена, она пришла и взяла на себя все похоронные хлопоты.

Я подумала: неужели же все эти проявления человечности, истинной дружбы, помощи в трудную минуту не могут перевесить политических разногласий, несходства воззрений, характеров? Вспомнилось чеховское: «Как ненужно и мелко было всё то, что мешало им любить друг друга...».

Вспомнилось, как в последнем нашем разговоре Нина Сергеевна говорила о том, что с нетерпением ждёт рождения правнучки. Родился правнук, Дима. Ему уже пятый месяц. И – слова внука Игоря: «Я в одном только обижен на неё. Почему не дождалась...».

ОЧАРОВАННАЯ ДУША

В январе 2005 года я потеряла ещё одного своего единомышленника и друга, духовно близкого мне человека – Нину Сергеевну Могуеву. Общение с ней началось ещё с 1999 года на почве лекций и читательских отзывов, но быстро переросло эти рамки и стало чем-то гораздо большим. Я бережно храню все её письма – за шесть лет их было около ста. Мне до сих пор больно их перечитывать, и я долго не могла решиться написать о ней, всё собиралась с душевными силами. Оказалось, что писать о человеке, которого хорошо знаешь и любишь, гораздо труднее, чем о том, кого

знаешь поверхностно. Ответственность слишком велика – перед своей памятью, совестью, правдой чувства, всё время надо соизмерять с ними каждое слово. Я рассортировала письма Нины Сергеевны по датам, по темам, намереваясь использовать их как содержательную основу своего обстоятельного рассказа о ней. И вдруг поняла, что не могу. Не могу их пересказывать, интерпретировать, композиционно выстраивать. Это был слишком живой материал, он не поддавался никакой «обработке». И тогда я решила: пусть об этой женщине расскажет она сама. Ведь только живые свидетельства – дневники, письма – способны передать другим поколениям настоящее содержание жизни, её дыхание.

Итак, письма Нины Сергеевны Могуевой. С некоторыми сокращениями, но в которых я не изменила ни слова.

Из письма от 30 марта 1999 года. «Уважаемая Наталья Максимовна! Недавно я слушала Вашу лекцию об Анне Ахматовой и Амедео Модильяни. Я получила огромное наслаждение – очень содержательно и высокохудожественно. Давно такого не слышала. Спасибо Вам.

А потом было знакомство с Вашей книгой «Публичная профессия». Сначала мне дали прочесть отрывки из этой книги, касающиеся объединений самодеятельных поэтов (глава «Впервые» – Н.К.) «...такой-то процент из них – шизики, остальные – графоманы, ничего не читающие, кроме своих стихов». Я была удручена прочитанным. Я пылала праведным гневом. Но как-то вдруг вспомнила своё знакомство с одной самодеятельной поэтессой. Мне нравились её стихи, сама она казалась интересным человеком, но очень скоро я заметила, что единственная интересующая её тема – это она сама.

Однажды я прочла ей стихотворение Б.Ахмадулиной «Свеча» и последние строки, от которых у меня замирало сердце: «И нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит». Я смотрела на неё с восторгом и ждала ответного чувства, но она уставилась на меня пустым взглядом и сказала: «Ну и что? Ничего не понятно, при чём тут вкус...». И я поняла, что ничего-то её не интересует. Да, я это вспомнила. Но всё равно – как много мне хотелось сказать Вам в защиту этих пишущих стихи людей. А вскоре я прочла Вашу книгу, и Вы всё там сами сказали, и сказали лучше меня».

«Читаю я, читаю Вашу книгу, и начинает появляться желание послать Вам свою книжку стихов. Стихи писались какими-то периодами в течение многих лет. Об издании их даже отдалённо не было мысли. И вот только на седьмом десятке лет я, подкопив денег, издала самым

примитивным способом – для самых близких – 60 экземпляров книжки стихов. Другим нравились мои стихи, но ведь это друзья. А хочется знать мнение профессионала. Пусть оно будет любимым, я не заполучу инфаркт (обещаю!). Имею ли я право отнимать Ваше время и внимание, ведь Вы так заняты? Но вспоминаю, что Вы покупаете сборники саратовских поэтов и читаете их. Значит, Вам интересно. (Не может быть и речи о том, что я причисляю себя к поэтам. Это звание слишком высоко. Просто «случаются» иногда стихи. Как-то само собой это происходит...) Пожалуйста, прочтите мою книжку и скажите своё слово. Я знаю, что стихи уж слишком простые – до примитивности, но по-другому не умею («румяная няня простота»!)).

Я уже не помню, что писала тогда, в 99-м, в своей ответной рецензии на книжку Н.С.Могуевой. Но... «когда человек умирает» – изменяются не только его портреты, но и стихи его приобретают несколько иной смысл. Вот передо мной этот почти самиздатовский сборник с дарственной надписью: «Уважаемой Наталье Максимовне на суд праведный мои стихи с тайным желанием и почти без надежды попасть в «ЖИВОЕ». Н.С.Могуева». И приписка: «Желаю нас почаще в зал вести, шагайте смело мимо зависти. Творческих Вам успехов. 1999 г. – год Пушкинского юбилея».

«Чекан души» – так назвала она свою книжку. Смысл названия проясняет эпиграф: «Древний персидский поэт Саади считал, что человек должен жить не менее 90 лет. Он делил жизнь человека на 3 периода. Первые 30 лет человек должен приобретать знания. Вторые 30 лет он должен странствовать по земле. Третьи 30 лет человек должен посвятить творчеству, чтобы оставить миру «ЧЕКАН СВОЕЙ ДУШИ». Открываю первую страницу:

Я вчера была травинкой,
я под тёплым солнцем млела,
надо мной на паутинке
капля светлая блестела.
И сидел на смолке липкой
серенький кузнечик-крошка,
и, настраивая скрипку,
грациозно двигал ножкой.
Медленно ползла букашка
по соломинке-дорожке,
и тянула вверх ромашка
к солнцу белые ладошки.
«Быть травой подольше мне бы» –

на поляне я мечтала,
где под светлым, синим небом
тёплым ветром нас качало.
На Кумыске было это.
Рядом ты со мной сидела.
А вокруг сияло лето,
всё цвело, смеялось, пело!

Листаю дальше:

...И шелест листьев слушая,
блаженно мы молчали,
припав к природе душами,
забыв про все печали.

«Очарованная душа» – подумалось мне. Какая светлая лирика, какая свежесть чувств, непосредственность. И это пишет человек, которому за 70! Кажется, что-то подобное я тогда и написала ей. Ответ не заставил себя ждать.

Из письма от 9 апреля 1999 года. «Наталья Максимовна, спасибо Вам за добрые слова обо мне. Когда-то давно-давно я написала стихотворение: «Моим самым первым и самым верным друзьям» – семье профессора А.П. Победоносцева. Он руководил моим чтением, был моим большим другом (с его дочкой я сидела на одной парте, их семья была второй моей семьёй, а мои дедушка и бабушка, которые меня воспитывали, были «врагами народа» и находились в известном месте по этой причине).

Мне мудрый друг судьбою дан
на зависть всем – Ромен Роллан.
Я много лет его люблю
и никому не уступлю.
Давно он прозвище дал мне:
какое-то «L'ame enflamme».
Ну – скажет кто-нибудь – загнул!
А может, в душу заглянул?

Александр Павлович звал меня «Очарованная душа», а я его – «Ромен Роллан». Он мне открыл этого писателя. А вот теперь и Вы меня так называли».

Из стихов Н.С.Могуевой:

«L'ame enflamme»*
Я придумаю чудо,
и верю, и верю ему...
Околдуют вдруг душу
яблони в белом дыму,
и мелодии отзвук,

*Очарованная душа

далекий, щемящий,
вдруг наполнит меня
ожиданием счастья.
Я придумаю чудо,
как хочется верить ему!
А обманет оно,
что ж, за это судьбу не клянусь.
Погрущу, но с мечтою своей не расстанусь.
И придумывать новое чудо я стану.

«Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Наталья Максимовна, за все тёплые искренние слова, что Вы мне сказали (а слово «спасибо» – это сокращённое от «Спаси Бог»). Спаси Вас Бог не только за это письмо, а за всё Ваше творчество, к которому я впервые (надо же такому быть!!) прикоснулась.

В тот же вечер после Вашего творческого вечера я написала стихотворение – в нём, конечно, полно недостатков, но то, что оно вырвалось из души – не сомневайтесь.

Встреча

Наталье Кравченко

Мы жили под одними небесами,
и Волга нам нашёптывала сказку,
и Муза, прилетая к нам ночами,
дарила вдохновение и ласку.

Пути Господни неисповедимы,
идём наощупь мы в кромешной мгле.
Подумать только, что вполне могли мы
не встретиться на суетной земле.

Но что это?.. Остановись, мгновенье!
О, как стихи свежи и хороши!
Печаль и страсть, и счастье озаренья –
я заглянула в «Логово души».

Спасибо Провидению за встречу.
(И как же долго я шагала к ней!)
На Ваш призыв всем сердцем я отвечу.
Я пью стихи и жизнь люблю сильнее!».

Аура этой удивительно юной, влюблённой в жизнь «очарованной души» просвечивала, светилась сквозь угловатость и несовершенство строк, и под её обезоруживающим душевным обаянием хотелось простить все стиховые огрехи. Да, многое в её стихах было банально. Но банально солнце, небо, лесная роща и ещё много других прекрасных вещей, которые, тем не менее, нас греют в жизни. Читая эти стихи, не сделаешь открытий, не испытаешь потрясений, но от них делается светлее и чище на душе. А это уже немало. Во всяком случае, душевная теплота этой простенькой музыки

мне симпатичней холодного эстетства умничающих, но внутренне пустых стихов. Как говорил Амвросий Оптинский: «Где просто – там ангелов со сто, а где мудрено – там нет ни одного». В стихах человек виден весь, он не спрячется за красивой надуманной строкой. Мне нравится, что Нина Сергеевна не рядится в платье с чужого плеча, не боится быть собой, говорить своим языком. Вот трогательное стихотворение «Пегас»:

Ах, как язык мой беден, скуп...
Я глажу шелковистый круп,
перед Пегасом в виде взятки
душистых трав кладу охапки,
надеясь, что, дары вкусив,
взлетит и облегчит мне муку...
Но конь крылатый, морду опустив,
лизнул мне виновато руку.

«Я внимательно и несколько раз прочла Ваши замечания к моим стихам. Много я и сама чувствую, мне кажется, что чутьё у меня есть, но мало умения. И уж с этим, наверное, теперь ничего не сделаешь. Моя беда в том, что я совершенно не умею работать над стихом. Я ничего не умею сочинять. Вот как стих вышел из души – так и есть, и ничего с этим я не могу поделать. Единственное, что меня прощает в какой-то степени – мои стихи (и мои книги) – только для близких, за них никто не заплатил ни копейки, а значит – им могут быть прощены недостатки».

Как-то руководитель литобъединения при Пушкинской библиотеке, куда ходила одно время Нина Сергеевна, попытался «подредактировать» её стих, дописав к нему своё четверостишие. Результатом этого «хирургического вмешательства» стало такое стихотворение Могуевой:

Стишок

*Стих мой несчастный,
стих мой калека,
видеть в тебе
не хотят человека.*

Н.Кравченко

Каким был солнечным апрель!
Звенела радостно капель.
Родился в ту весну стишок,
как будто в поле колосок.
Совсем в нём не было идей,
но всё ж он радовал людей.

Прошло уже немало лет.
Состарился его поэт.
А с ним состарился стишок,
весёлый маленький сынок.

Но тут пришёл профессионал
и строго так стишку сказал:
«А ну-ка подойди, дружок».
Послушно подошёл стишок.

«Дружок, ты должен быть культурным».
По правилам литературным
четыре строчки он добавил –
как будто бы костыль приставил.

И захромал тогда стишок...
К поэту своему пришёл, –
«Я твой сынок», – ему сказал.
Но тот сыночка не узнал.

Опять была весна, звенел ручей.
Рыдал стишок: «Ничей, ничей, ничей!»

«Я оставляла Ваш сборничек и занималась делами, но тут же хватала его и снова читала и перечитывала. («В логове души» – Н.К.). Наталья Максимовна, никогда не говорите, что Вы – безбожница. Все Ваши стихи проникнуты обращением к Богу – такие прекрасные, светлые слова! «Творец Высокий», «Тайна вещей божественных слов», «Божий глас», «Божьи дети», «В святейшем храме», «немота, переводимая на живой язык Христа», «невидимый Творец», «небесный хлеб души», «утоли моя печали» – разве всё это мог написать человек без Бога в душе?! И Вы же сами понимаете и чувствуете: «Жизнь беспросветна, безбожна, животна», – да, вот такая она, жизнь, если она безбожна!

Наталья Максимовна, я, к сожалению, не глубоко религиозный человек. Мало того, большую часть жизни я была воинствующим атеистом. Но, как сказано в Коране (чужая нам религия, но Бог един): «Невеждам не суждено познать Бога, они остановились на достигнутом и вяло плывут по течению». Вы же постигли Бога. Да, я целиком разделяю Ваш взгляд: Бог внутри нас. Единение с Богом должно быть не с крестом на декольте и не со свечкой в руке у всех на виду, а в очень личном, интимном, душевном общении, в чистоте души, в доброте, в любви к людям, природе, животным и т.д.

Набожность напоказ,
вера лицом наружу.
Бог не на небе – в нас!
Взор обратите в душу.

Да, это – в самую точку! Во второй половине жизни я очень много читала (библию, журналы «Наука и религия», «Свет», «Природа и человек», «Наше наследие» и др.), закончила заочную библейскую школу. Меня очень интересовали вопросы религии, особенно их пересечение с наукой – многое я поняла и прониклась сознанием того, что этот удивительный мир с его непреложными законами не мог появиться вдруг из ничего. Что есть (!) Высший Разум, Высшая сила. Я почувствовала себя частицей этой силы, её созданием. Мне стало легче и радостней жить. Ну, ладно, это очень большая тема, всего сразу не скажешь.

Я пишу Вам письмо, а Вивальди водит мою душу по райским кущам «Времени года». Сыночек подарил мне японскую магнитоу. Это такая радость!»

Из письма от 30 марта 1999 года. «...Вот знаете, Наталья Максимовна, как бы это объяснить?.. Я больше всего на свете люблю музыку. И слушаю её много и разной. (Чего стоят одни концерты оркестра Ленинградской филармонии под управлением Мравинского!) А недавно услышала мелодию, которая затронула такие струны души, о существовании которых у себя я даже не подозревала. Это было совсем новое, неизведанное никогда ощущение. Вот так и с этим стихотворением. Я закончила читать книгу в 12 часов ночи. Уснуть долго не могла. И около часа поднялась с постели и перечитала это стихотворение. Да, Вы правы, это истинная поэзия. Конечно, я имею в виду «Песню песней» Е.Крюковой (эссе «Живое и мёртвое» в книге «Публичная профессия» – Н.К.). Слово «потрясение» как-то избито. Но как ещё рассказать о том состоянии, в которое ввергло меня это стихотворение?! («Сквозь меня просвистело копьё ослепительной молнии, жгучей и дикой»). И хотя там другой смысл, но стих этот тоже – просвистевшее сквозь меня копьё. Как это здорово – дожить до седых волос и сподобиться испытать такие неизведанные чувства, а уж, казалось бы, – море, океан прочитанного, откуда тут такие новые впечатления и потрясения?..

И, наконец, – «Собачья страна». Дорогая Вы моя Наталья Максимовна, так мы, оказывается, с Вами из одной страны, мы с Вами земляки. Сколько историй могла бы я рассказать Вам! Много, много лет я кормлю всех прибранных собак и болею за них. Дорогая Наталья Максимовна, Ваш рассказ о Тэди трогает до комка в горле. Дай Вам Бог

силы и здоровья. Ф.Г.Раневская определяла людей по их отношению к животным. И это очень верно. Когда-нибудь мы с Вами объединимся и напишем книжку «Собачьи истории». Это очень нужно людям. А моё стихотворение «Жалко» – о том же».

Жалко!

Зелёная ветка лежит на дороге,
топчут её равнодушные ноги.
Была зелёная ветка, станет сухая палка.
Зачем сорвали ветку? Жалко!

Облезлая шерсть и хриплое «мяу!»,
а ей всего-то нужно так мало.
Смотрит робко в чужое окошко.
Добрые люди, покормите кошку.

Хвост поджат, ссохлись бока,
а в умных глазах такая тоска!
Как ужасно бездомным быть,
Боже, как больно, хочется выть!

Засыпало город снегом,
землю смешало с небом.
Сидит на сугробе голодная галка.
Как жалко их всех, как жалко!

А книжку о непридуманных собачьих историях я потом написала. И включила в неё несколько рассказов Нины Сергеевны Могуевой. Желаящих прочитать их отсылаю к своей книжке «Собачья жизнь» (Саратов, «Надежда» 1999 г. с.87–94).

А наше знакомство с Ниной Сергеевной продолжалось.

Из письма от 9 апреля 1999 года. «Немного о себе напишу: профессия – метеоролог (окончила метеорологическое отделение географического факультета СГУ). Работала в гидрометобсерватории инженером, старшим инженером, начальником отдела. В 60-х и 70-х годах систематически выступала по телевидению с обзорами и прогнозами погоды. Много путешествовала. На байдарках пошла в поход в 51 год. Много лет веду дневник и когда его перечитываю, оказывается, что там совсем мало о моей жизни, а в основном – Пушкин, музыка, впечатления от концертов, от прочитанных книг. Когда исполнилось 70, я составила альбом и назвала его «Вехи жизни», а в начале написала свой девиз:

...для власти, для ливреи
не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.
По прихоти своей скитаться здесь и там,
дивясь божественным природы красотам,

и пред созданными искусствами и вдохновенья
трепеща радостно в восторгах умиленья, –
вот счастье, вот права...

(А.Пушкин «Из Пиндемонти»)

Я прожила с мужем 40 лет, у меня два сына и трое внуков. Муж умер 9 лет назад. И был в моей жизни «эпизод-знакомство», которому уже 54 года, – с моей первой (и последней) любовью я переписываюсь 52 года. Неделю назад получила письмо от него – такое дорогое и милое! Мне жизнь (судьба, Бог!) сделала этот дорогой подарок. Это совсем необычный человек, – достигнув почти всех возможных высот (он профессор, народный артист, бывший солист балета Мариинского театра, лауреат Сталинской премии, сейчас преподаватель академии танца и зав. кафедрой хореографии академии культуры Петербурга), он остался простым, милым, добрым, обаятельным человеком. Наша дружба продолжается 54 года. Это чистый и прекрасный, и любимый мной человек, благодаря ему и их семье жизнь моя была пронизана искусством, балетом, Ленинградом. Ну, об этом тоже можно очень много рассказывать. И когда спустя 54 года после нашего знакомства я читаю в его письме: «ну, пиши почаще, дорогой дружочек», сердце моё замирает, как в молодости. «Ты звезда заветная на моём пути, слов, тебя достойных, не могу найти». О нём написана книга, а на книге он написал мне такие слова, которые я даже не смею повторить».

Из стихов Н. Могуевой:

52 года переписки

И опять пришла весна – не до сна,
в небе полная луна – так грустна.
Напиши мне письмецо, напиши,
пару строчек от души напиши.
Я не буду горевать, буду ждать.
Как года-то я опять буду ждать.
Всё текут, текут года, как вода,
и уходят, как всегда, в никуда.

Сколько было встреч и сколько есть –
не измерить их ничем и не счесть.
Вот загадка, просто чудо, просто смех,
почему ты до сих пор лучше всех?..

Улыбнулось вдруг луны лицо,
получила я твоё письмецо!

Нина Сергеевна пишет не только стихи, но и маленькие рассказы, похожие на стихотворения в прозе. Она называет их «Незабудками», потому что это память о неза-

бываемых мгновениях жизни. Одну из таких «незабудок» мне даже захотелось переписать. Вот она.

Сквозь сказку

«Троллейбус несся сквозь метель. За стеклом, разрисованным снежным узором, мелькали расплывчатые цветные пятна – оранжевые и голубые от фонарей, красные, жёлтые и зелёные от светофоров и рассыпчатые цветные искры от праздничной иллюминации. На остановке впорхнули две девушки, покрасневшие и весёлые. Они встали около меня, и я оказалась в облаке французских духов. Девушки щебетали о чём-то своём. Я смотрела на их молодые лица и вспоминала пушкинское: «девичьи лица ярче роз». И все мы вместе летели сквозь цветную оранжево-голубую сказку, мелькавшую за окном.

Вдруг послышался сердитый ворчливый голос: «Вот сапожник, а не водитель, как дёргает. А под ногами такая грязь – не убирают, что ли, троллейбус?» Я смотрела на эту пожилую женщину, и мне было её жаль. Ведь она тоже была окружена душистым облаком и тоже летела сквозь оранжево-голубую сказку. Но не видела этого. Бог обделил».

Кто-то, возможно, скажет: наивно, экзальтированно, прекраснодушно. А ведь это прекрасное слово – «прекраснодушие». Дон-Кихот был прекраснодушным. Иисус Христос. Мне многое стало понятно про Нину Сергеевну, когда она дала мне почитать свой «Дневник пенсионерки», который ведёт уже не одно десятилетие, вопреки уверениям Слуцкого, писавшего: «В 20 веке дневники не пишутся и ни строки потомкам не оставят». Штук десять толстых общих тетрадей, от которых, едва открыв, я уже не могла оторваться. Если бы их издать – это была бы интереснейшая книга, летопись уходящей эпохи и той редкой породы людей, которую, к сожалению, уже почти не встретишь. Это настоящий учебник жизни, который на примере одной отдельно взятой судьбы учит, как быть счастливой, несмотря на старость, болезни, усталость, неурядицы, как научиться их преодолевать, как растить радость в своей душе.

А радость эта складывается из мелочей. Вот выпала свободная минутка – концерт Обуховой по радио – какое чудо! Достала книгу, которую давно искала – о, блаженство! Внучка пришла – она ставит ей любимую пластинку, разучивает с ней испанский танец, сочиняет ей сказку

про «бывшую девочку», и внучка догадывается: «Бывшая девочка – это ты?» А она действительно бывшая девочка, то есть бывшая ею ещё совсем недавно, ещё не забывшая этого. Ведь что такое молодость?

«Это, – пишет Могуева, – не 18 и не 20 лет. Это состояние души. Если замечаешь, как пахнут цветы, как удивительно сверкает река, а на дорожках сада лежат кружевные трепещущие тени, если хочется остаться одной и прочесть любимые стихи или заветное письмо, и строки ложатся прямо в сердце, заставляя его то замирать, то биться часто-часто, и в душе возникает ожидание чего-то большого и радостного – это молодость».

У Нины Сергеевны два девиза в жизни, две заповеди, которым она неуклонно следует. Это слова И. Пущина: «Главное – не надо утрачивать поэзию жизни». И слова Андре Моруа: «На свете всегда будет существовать романтика для того, кто её достоин».

И ещё что привлекает меня в этой женщине – это её «биологический оптимизм», как она сама его называет. Вот, казалось бы, печальная дата – уход на пенсию. Для кого-то – повод для хандры, а для неё – повод для такого экспромта:

Жизнь моя, браво, брависсимо!
Наконец-то я независима
от бюрократических оков
и от начальников-дураков!

Или вот такое чудное стихотворение, которое называется

Весенняя прогулка вчетвером

Ожил мир, весенней песней
переполнена земля.
Мы с утра сегодня вместе –
Солнце, Небо, Внук и Я.
Всё вокруг звенит, сверкает,
будоражит взор и слух.
Мы кораблики пускаем –
Небо, Солнце, Я и Внук.
Кто видал весну такую?
Не поймёшь, где быль, где небыль...
Взявшись за руки, танцуем –
Внук и Солнце, Я и Небо!

Из письма от 11 апреля 1999 года. «Дорогая Наталья Максимовна, наш диалог продолжается. Конечно, Вы правы, – я – оптимист. Но очень весёлой меня не назовёшь. Жизнь

наслоила такой бутерброд на душе! – бутерброд Андерсена. (Его любимый бутерброд состоял из 12 слоев). Был у меня в жизни ужасный период – такой ужасный, что страшно вспомнить. Мой старший сын начал пить. Кто этого не пережил, не может этого представить. Слава Богу, слава той силе, что он вложил в меня, и слава моему сыну, что он захотел покончить с этим. Ну а сейчас меня часто лишают радости два обстоятельства: 1) болею за детей, за внуков. Такой порой страх за них! 2) Второе обстоятельство, от которого ноет сердце – несчастные животные. Мне кажется, мне отпущено этого сверх меры, это просто отравляет мне жизнь. Не могу видеть кучу шевелящихся раков на базаре, не могу проходить по птичьему рынку, все зверюшки там причиняют мне боль – к кому они попадут, как будут складываться их судьбы? А уж бездомные – ужас! Вот вам и весёлая Нина Сергеевна. Была бы богатой – обязательно сделала что-то лучшее, чем наш приют. Делаю, что могу.

Всю зиму за окном в кухне висит сало (но сало стало таким дорогим! – не по карману) и кормушка для синичек и воробьев. А на сало ко мне прилетал дятел. Такой красивый!

Наверное, я могла бы Вам написать ещё несколько листов, но это уже просто неприлично. Завершая свою писанину, расскажу одну маленькую историю. Я слушала по радио чтение Ширвиндтом его книги «Былое без дум». Я хохотала до слёз (как над главой «Читая поэтов Саратова» из Вашей книги). («Публичная профессия» – Н.К.) Послушав несколько дней эту передачу, я не выдержала и написала ему письмо. Я обожаю этого актёра – Ал. Ширвиндта! И вдруг он присылает мне свою книгу (письмо понравилось). А когда вышла моя, я послала ему, – «Сэру Самюэлю Хармсу-эксквайру – с преданностью, достойной Монморанси» (помните фильм «Трое в лодке, не считая собаки» и чудного пса – Монморанси?). Сомневалась, дойдёт ли книжка. Он мне прислал рецензию в стихах:

Ваша книжка дошла.
Она мила, не пошла.
В ней нет графоманства и скуки,
в ней нет придуманной муки.
Благодарю за уверенья
в глубочайшем почтенье.
Живите по возможности весело.
Ах, если б от нас что-то зависело!

Вот такие добрые слова, почти Ваш отзыв. Но я знаю,

что от нас многое зависит. Всё-таки несмотря ни на что мы сами строим свою жизнь.

Дорогая Наталья Максимовна, всего Вам доброго! Благодарю Вас от всей души за Вашу сердечность. Я позвоню. Будьте счастливы. Н.С.».

Из письма от 2 мая 1999 года. «Милая моя «любящая Любница»! Таким титулом наградила меня моя маленькая внучка, и теперь я с удовольствием делюсь им с Вами, дорогая Наталья Максимовна. Я давно знаю эту истину: есть сердца, созданные для любви. Читала, читала Вашу книгу («Будьте Вы благословенны» – Н.К.) и убеждалась, что Вы, Ваше сердце – из их числа. Когда-то давно я прочла у Р.Роллана, что все увлечения женщин – это только поиск той единственной – на всю жизнь.

Наталья Максимовна, дорогая, как знакомо мне это не вмещающееся в душе яркое и всепоглощающее чувство, когда хочется так много сказать любимому, но приходится включать реостат (так, кажется, называется прибор, который уменьшает постепенно свет люстр в театре?) и приглушать краски, подыскивать менее восторженные слова, в общем, «наступать на горло песне», рвущейся из души. Вот такое письмо я последний раз написала вчера, потому что было восемь часов на этой неделе возврата в юность, когда я смотрела плёнки, присланные из Ленинграда – города моей любви. Господи! Как я понимаю Вас!! Ваша «переписка» (ставлю в кавычки – не знаю, как это называется, когда письма только с одной стороны) с Дольским напомнила мне письма Пушкина к обожаемой жене: «Смотрелась ли ты в зеркало?.. А душу твою я люблю ещё больше...» А в ответ – молчание. Так воспринимают это потомки – ведь неизвестно ни одного письма Н.Н.

Многое, многое в Вашей книге я воспринимала как своё, близкое, прочувствованное мной. И Ваши «дольские» письма, кажется мне, – слово в слово, чувство в чувство – мои многолетние письма в Ленинград. Нашей переписке (но обоюдной) 52 года. Но и встреч за эти годы было много. А когда я смотрела плёнки... Господи... Ничего во мне не изменилось! Он там (на плёнках) и молодой, и 72-летний. «И то же в Вас очарованье, и та ж в душе моей любовь».

Из стихов Н.Могуевой:

О преимуществах неразделённой любви

Они друг друга страстно полюбили
и радостно пути соединили.
Но, как шипы в листе скрывает роза,
так скрыта в нашей жизни проза.

Нечутким оказался он, она – сварливой,
и стала жизнь не очень-то счастливой.
Дни потянулись в нудной канители,
и так они друг другу надоели!

А ты – моя далёкая звезда,
и свет твой не тускнеет никогда.
Пусть разные у нас с тобой пути,
звезда моя заветная, свети!

«Книгу Вашу проглотила. Нет, не напрасно Вы написали мне на «Логове души» – «родственной душе». Каждая Ваша строчка находила отклик в моём сердце, я так рада, что мы с Вами по одну сторону баррикад, хоть, правда, я из менее воинствующих, но и у меня были стихи антикоммунистические, и дневник мой пронизан политическими страстями на ту же тему, я тоже не могу быть равнодушной. Но Ваша энергия, Ваше деятельное кипение поражают. Ваша внешность – нежная и хрупкая, явно не соответствует мотору – (мощному!), заключённому в Вас. И какая открытость, смелость. Вот тут я вижу, что мне до Вас далеко. И всё-таки хорошо, что Вы не закрыли свой архив до... Сколько пробудится в сердцах людей, когда они прочтут Ваш эпистолярный роман!..

В моей жизни были периоды Гончарова, Диккенса, Лондона, Лермонтова, Паустовского, Мопассана, Р. Роллана, Дж.Голсуорси, Астафьева и многих других, когда я запоем читала только этих авторов. И всегда – Пушкин. А сейчас у меня период Кравченко. Ваши стихи – чудо. «Бегущие по одним волнам» – не напоминаем ли мы Фрези Грант чем-то? А??

Хочу ещё раз Вас попросить: не говорите и не пишите: «Я не верю в Бога». Это не так. Вы будете читать мой дневник и увидите, как я из безбожницы превратилась в верующую, но не до фанатизма (этого и не нужно). Я хочу облегчить Ваш путь к Богу. Вчера хорошо об этом сказали по радио: «Посмотрите на ночное небо. Как это может быть, чтобы само собой появились эти бесчисленные светила, подчиняющиеся строжайшим законам движения?..» И Флоренский советовал: «Чаще смотрите на звёзды».

Дорогая моя любящая Любика! «Роскошное излишество любви как хлеб насущный, нам необходимо». – И откуда Вы всё про меня знаете?.. «В душе моей покой и тишина. Простите, что Вам нежность причинила». О Господи!! Я за последнюю строчку целую Вас 100 раз. Так иногда говорят: «Если бы она написала всего одну эту строчку – она была бы

уже прекрасным поэтом». – Это о Вашей строчке, этой самой.

Дай Вам Бог любви и нежности. Смотрите чаще на звёзды. Спасибо Вам за всё, дорогая. Ваша Н.С.».

Из письма от 3 ноября 1999 года. «Милая Наталия Максимовна! Забросила всё и пишу Вам письмо. Телефонный разговор не вместит всего, что рвётся из моего сердца. (Господи, помоги обойтись без высокопарных слов!)

Каждый раз, когда будешь открывать Ваши сборники, будет происходить открытие. Такая насыщенность яркими образами, столько ума и остроумия в них, глубоких чувств, самых разных – от солнечных восторгов Любви до тоски и отчаяния, но никогда, ни одно стихотворение не повергает душу читателя в чёрную бездну, всё время чувствуется, что душа автора сильна, глубока, что она не поддастся чёрным дырам отчаяния и это состояние передаётся тому, кто их читает. Господи, как это здорово!

Даже о такой нечисти – о тараканах, которых я совершенно не переношу, Вы написали как-то удивительно симпатично. А о другой нечисти – о большевиках... ну, тут нет слов. Я ещё не встречала таких бьющих прямо в глаз стихов. Наталия Максимовна, из всех наших отечественных современных поэтов для меня Ваши стихи – самые МОИ, самые прекрасные, так много говорящие душе и вдохновляющие. Я уверена, что Вы ни на минуту не заподозрите меня в неискренности, в преднамеренном преувеличении, наоборот, всеми этими словами я не вполне могла выразить свой восторг (да, именно так!), своё преклонение перед Вашим талантом. Дай Вам Бог счастья, мира душе, здоровья телу, премьер Любви, но только не таких вулканических и цунамических, как та, которой пронизаны стихи сборника «Сокровенное». Из-под такого катка дважды не выйдешь живой. И это очень нелегко, хотя и даёт пищу душе поэта. Нет, пусть будет что-нибудь полегче.

Я кое-что ещё написала, но не посылаю Вам. Сейчас я полна Вашими стихами и не хочу говорить о своих. Скажу только, милая Наталия Максимовна, что Бог наградил меня таким чувством, которое не подвластно ни времени, ни расстоянию, ни тому, что это чувство не разделено. Я давно уже (очень давно!) «переплавил его в дружбу» по Вашему рецепту. Но это для наружного употребления, а внутри – там, глубоко внутри – это самая высокая, самая преданная,

самая, самая... Любовь. Это мой стержень, моя поддержка в трудную минуту. Его дорогие письма – это искры радости. И продолжается это 54 года.

Можно, наверное, подумать, что я выдумала, сфантазировала это всё, чтобы как-то украсить жизнь. Но кто бы знал, как горячо вспыхивает сердце (70-летнее!), как оно радостно, счастливо замирает от воспоминаний, от добрых, нежных слов его писем, от его голоса по телефону, – тот, кто это знал бы – никогда бы не подумал, что это плод моих фантазий. И, конечно, это необычайный дар судьбы: за 54 года нашего знакомства – ни одного самого малого случая, давшего повод к разочарованию. Вот такое счастье подарила мне судьба. Сколько бы я ни пробовала написать об этом в стихах – получается что-то несоразмерное, глубина чувства никак не уместается в рифмованные строки. «Слов, тебя достойных, не могу найти». Но вчера всё-таки написала, конечно, тот же результат. (Со стороны, наверное, это уже смешно?).

Я Вам позвоню. По-моему, с «Собачьей жизнью» всё хорошо получилось. Всё, что Вы говорили – очень убедительно и здорово! И людей, по-моему, проняло.

Спасибо Вам за всё. Спасибо жизни, что подарила мне Вас. Спасибо, что я могу Вам открыться «настежь, как душа без тела и стыда».

Сегодня я хотела пойти на четыре выставки в Радищевском музее (есть картины из Петербурга и Москвы), но приболела, и целый день душа питается стихами и мечтами. Всего Вам доброго. Н.С.».

Из письма от 22 ноября 1999 года. «Милая Наталия Максимовна! Вот я опять пишу Вам письмо. С телефоном не очень получается, да и писать мне легче, чем говорить. Когда я подошла к Вам после лекции и изливала свои восторги, я была совершенно искренней. Читайте, что мои высказывания – это частичка гласа народа. И этот народ Вас любит (я видела лица людей после лекции), и частичка тоже Вас любит, и ждёт Ваших будущих лекций.

Мне Поэзия представляется неким многословным, многорусным сооружением, на вершине которого Пушкин, Шекспир и другие гении, а в самых нижних слоях – самодеятельная поэзия, всякая и разная, но она тоже рождена минутами вдохновения и радости соучастия с неким великим и непостижимым, другое дело, что одни могут выразить это более талантливо, а другие – менее, и порой даже совсем

нельзя отнести это к поэзии, но они, мне кажется, тоже достойны уважения хотя бы за чуткость своих душ. (Конечно, исключая тех, кто по заказу пишет о Гавриле...).

Когда я слушаю «стихи» пожилого человека, одного из участников кружков, меня берёт тоска, но я знаю, как это важно для него и как он искренен в своём заблуждении, и готова его слушать до конца.

Наталия Максимовна, дорогая, очень жду Ваших лекций. У Вас столько дел, не пишите мне, я позвоню и поговорим. Всего Вам доброго. Любящая Вас Н.С.

P.S. Я купила Паваротти – 90 минут звучания! «Посвящение Карузо» в его исполнении – чудо из чудес!! И всё остальное – тоже».

Ей нелегко жилось. Она тоже была вынуждена выживать, как и все мы в пост-перестроечное время: в её годы – работала в ЖЭКе, нянчила чужих детей, и в то же время ей была доступна такая роскошь как жить, не существовать, не прозябать, а жить – в полный рост души!

В 2000-2001 годах мы не писали друг другу: и в моей жизни, и в жизни Н.С.Могуевой случилось горе, у меня умер отец, у неё скончался от саркомы 10-летний внук Сашенька. Нина Сергеевна боролась до последнего: собирала деньги на операцию, ходила по большим кабинетам, чего никогда прежде не делала, и собрала довольно большую сумму, поддерживала, как могла, убитых горем родителей. Она очень стойко держалась – внешне. Но могу представить, что творилось в её нежном сердце, так горячо отзывающимся на любую чужую боль. Такое не проходит бесследно. Одна операция, другая... Она и их перенесла молодцом. С 2002 года наша переписка возобновилась.

Из письма от 11 апреля 2002 года. «Дорогая Наталия Максимовна! Сегодня я случайно освободилась от работы и наконец-то смогу с Вами поговорить на бумаге (мысленно часто с Вами разговариваю).

Вот и кончился ещё один цикл «Серебряных струн поэзии». Спасибо Вам! Спасибо огромное от всех тех, кто не напишет Вам, но слушает с такими просветлёнными лицами. Это одна из доступных нам духовных радостей – Ваши лекции.

Сколько я себя помню, я всегда читала стихи. И далеко не всегда они ложатся в душу. А много и такого, от чего порой физически начинает подташнивать: такие выверты, такие выкрутасы. Никогда не пойму этого.

У нас не положено сравнивать стихи современных поэтов со стихами великих классиков. Но я могу сказать совершенно искренне: я могу читать, читать своего богоносного (не знаю уж, какими словами изобразить мою беспредельную к нему любовь) Пушкина, а потом беру Вашу книжку и с таким же упоением читаю, а порой даже Ваши стихи ближе моей душе. Это и понятно: женские души общаются на особой волне.

Все книжечки с Вашими стихами взяла моя внучка для прочтения (ей 14лет). Держала долго. Наконец я взяла их и с радостью увидела, сколько карандашных пометок в этих книжках. Вот и эта пробуждающаяся душа почувствовала Ваши стихи и откликнулась. И, наверное, они послужили (конечно же!) в какой-то степени образованию её души – самому высшему образованию.

Дорогая Наталия Максимовна, жду Ваших новых книг. Ваши стихи о поэтах – чудо! Будьте здоровы, вдохновенны и менее уязвимы... Вас любят, ценят многие, многие. Вы знаете это. Любящая Вас Н.С.».

Из, письма от 28 августа 2002 года. «Дорогая, милая Наталия Максимовна! Это письмо должно было быть написано давно, сразу же после Вашего посещения моих пенатов, но именно в это время со мной начало такое твориться!

Но по порядку. Когда Вы ушли от меня, я впилась в Ваши книжки и не отрывалась до того момента, когда почувствовала, что мне становится плохо – от невероятной жары (Вы помните, какое пекло было) и от напряжения. Посмотрела на часы – был пятый час. Перед сном я снова читала, на следующий день утром – тоже. И пошли стихи...» Привожу это стихотворение, написанное на обороте листа:

Читая стихи Наталии Кравченко

*Н.М.Кравченко –
любимому поэту*

Читаю, читаю, читаю...
Покрываюсь мурашками, таю...
О Родины горькая участь!
Люблю, и страдаю, и мучусь...
Истерзанная и нагая,
я здесь, я с тобой, дорогая!
И не моё это время,
и мне не по силам бремя
каторжной этой жизни
моей дорогой Отчизны.

Но луч блеснул из-за тучи,
и строки, нежны и летучи,
влекут и зовут за собой
в далёкий тот край голубой,
в тот край, где, любовью дыша,
чужая томится душа.
В тот край, где, воспрянув из Леты,
встают, оживают поэты,
где магией дивного слова
в наш мир возвращаются снова
из царства небытия и снов
Бальмонт, Мандельштам, Соколов,
и многие, многие другие,
забытые и дорогие.

Читаю, читаю, читаю...
В восторг прихожу и страдаю.
Вновь дивной строкою упьюсь,
люблю, ненавижу, молюсь...
Читаю, читаю, читаю...
Историю мятущейся души листаю.
О как озарена и хороша
поэта окрылённая душа!

Н.Могуева

Эти стихи родились у Нины Сергеевны в ответ на мою книгу «Чужая жизнь», которая только что вышла у меня тогда. Я пришла к ней её подарить. Это был чудесный день, вернее, утро. Нина Сергеевна встретила меня букетом цветов, угощала тортом своего приготовления. Я уже не первый раз была у неё дома, но каждый раз меня поражал какой-то удивительно духовный уют её крошечной однокомнатной квартирki. Каждый уголок был любовно обжит и обставлен: пейзаж на стене, иконка, икебана, полка с любимыми книгами и пластинками, фотографии родных и друзей – всё было тут не случайно, всё выражало какую-то важную и дорогую часть её душевного мира. А потом Нина Сергеевна показала главную свою гордость – цветник на балконе, который она выращивала по журналу «Домашнее садоводство». Сначала она сама прошла на балкон, что-то там подправила, какой-то последний штрих, а потом театральным жестом отдернула передо мной шторы, как занавес: «А теперь – входите!» И моим глазам предстало такое яркое, восхитительно продуманное (я бы даже сказала – прочувствованное) цветочное многообразие, что я даже зажмурилась в первую минуту. Чего тут только не произрастало! Память не могла вместить всех названий тех чудных произведений природы, которыми

был украшен балкон стараниями Нины Сергеевны. Над балконом развевалось некое подобие российского флага: три цветных ленты, что довершало цветочную панораму.

– Я здесь сплю, – сообщила мне эта кудесница. – Представляете, лежу вся в цветах и звёздах... А ещё у меня есть вот что, – с этими словами она нажала клавишу магнитофона. Квартиру наполнил птичий гомон, стрекот кузнечика, трели соловья. – Когда мне хочется почувствовать себя в лесу, я включаю эту кассету и слушаю...

По дороге домой у меня под впечатлением этой встречи сложились такие строки:

Женщина, влюблённая в природу,
в музыку, поэзию, собак.

На балконе рвутся на свободу
ленты, заменяющие флаг,

трёх цветов. И полыхает, жарок,
поражая посторонний взор,
резеды, петуний и фиалок
тщательно продуманный узор.

Слушает она в магнитофоне
голоса весёлых птичьих птах,
засыпает ночью на балконе,
утопая в звёздах и цветах.

В дневнике записывает мысли,
уходя в себя от суеты,
пишет замечательные письма
и печёт чудесные торты.

Женщина, живущая во власти
тайного свеченья своего, –
как она заслуживает счастья,
сотворив его из ничего.

Это очарованное сердце
не коснулась зависть или злость.
У его огня и мне согреться,
как, должно быть, многим, довелось.

Ответом на них было восторженное письмо от **31 августа 2002 года**:

«Милая Наталия Максимовна! Ваши стихи, посвященные Н.Могуевой, меня потрясли. И хоть в них много фактов моего бытия, как-то трудно отнести все эти прекрасные строки к себе. Спасибо, спасибо Вам огромное за чудесные стихи! Мне так нравится женщина, изображённая в них! Но наша русская низкая самооценка не позволяет мне в полной мере отнести к себе все эти прекрасные слова.

Поговорила с Вами по телефону и пошла кормить собак. Кормлю одну собачку, а рядом огромный лохматый ризеншнауцер скулит и подвывает – тоже так хочется кушать! У меня сердце рвётся пополам. Стала и этому приносить. Но этим дело не кончилось. По дороге попался такой ужасно худой пёс! Сегодня я основное внимание уделила ему, он совсем ничей. В общем, Наталья Максимовна, это такая мука, видеть этих несчастных и иметь ограниченные возможности помочь. Мне это очень осложняет жизнь. И ничего с этим не сделаешь.

Я что-то стала плохо спать по ночам. Читаю письма Тургенева. У меня их несколько томов. После того, как Иван Сергеевич назвал Достоевского «духовным садистом», он стал мне ближе. Я тоже так называла нашего прославленного «душеведа» (мой термин. А может, не мой?), не зная ещё мнения Тургенева.

По радио России в будние дни, где-то от 13 до 14 часов идёт передача «Виват, маэстро!» Недавно – о Пуччини. Чудо! Чудо!!! Какая музыка, какие судьбы, какие голоса! А вчера – концерт Раймонда Паулса. С удовольствием слушала и смотрела. Какое горе для нашего искусства – уход Таривердиева и Свиридова. Какие мелодисты!!»

Из письма от 22 октября 2002 года. «Милая (любимое слово Пушкина при обращении к друзьям) Наталия Максимовна! Сегодня уже вторник, а я ещё не в больнице. Вчера не положили – нет мест.

От всех болячек, от всех проблем есть только одно эффективнейшее средство... Но оптимистам не положено о таком думать – так что будем продолжать барахтаться в нашем постсоветском болоте и сучить лапками, авось вылезем. Когда-то давным-давно я вывела формулу отключения мыслей от возникшей неприятности: самый эффективный способ отключиться от переживаний, связанных с данной неприятностью – это приобрести новую. Вот такой чёрный юмор. Но действует безотказно. Проверено многожды.

У меня уже возникла традиция – читать перед больницей (и в больнице) Леонида Филатова. Я могу сто раз прочесть его «Федота-стрельца», а на сто первый буду так же от души хохотать. Царь пытается выдать замуж свою дочь, а нянька чинит препятствия. Их пререкания – это чудо какое-то! Я читаю, наслаждаюсь, хохочу, перечитываю, запоминаю, восторгаюсь и не могу начитаться.

Ты опять в свою дуду?
Сдам в тюрьму, имей в виду!
Я ж не просто балабоню,
я ж политику веду!
Девка эвон подросла,
а тоща, как полвесла!
Вот и мыслю, как бы выдать
нашу кралю за посла!
Только надо пользы для
завлекать его, не зля, —
делать тонкие намёки
невсурьёз и издаля.

И это написал тяжело больной человек!! Вот у кого учиться мужеству! Вся его сказка – чудо!!

А теперь мои вирши. Я в тысячный раз убедилась, что кто-то их диктует, потому что после глухого молчания – вдруг – за полчаса – стих. (Божественно диктующий достался Пушкину. Ну а мне... что досталось, то и досталось).

Контрасты

Деревья, птицы, облака,
шум леса, горная река,
рассвет, сияние звезды...
Мир Божий, как прекрасен ты!

Разбой, грабёж, убийства, пьянство,
война, террор и хулиганство,
стрельба, предательство, обман
и наркотический дурман.

Цветут и полыхают страсти:
«Богатства! Денег! Власти! Власти!»
Охвачен мир вознёй безумной,
и это – «человек разумный»?!

Но... музыка, архитектура,
наука, живопись, скульптура,
поэзии прекрасный век,
всё это – тоже человек...

Для счастья твоего же дома
остановись, опомнись, хомо!

7 октября исполнилось 50 лет нашему глубоко уважаемому президенту. Я ему послала телеграмму: «Культура, мудрость, ум и сила – как долго Вас ждала Россия!» Как говорит моя внучка: «Ну, бабуля, ты даёшь!» Вот такая ей досталась бабушка, сующая во всё свой нос. Обнимаю Вас, дорогая Н.М.! Больше всего жалею, что 26-го не смогу Вас

послушать. Как освобожусь из «заклЮчения» – позвоню. Н.С.».

Из письма от 25 ноября 2002 года. «Дорогая Наталия Максимовна! Наверное, Вам надоели мои послания. И самое главное – знайте, что отвечать письменно мне не нужно, это отнимает у Вас время, а я слишком часто Вам пишу. Просто я потом позвоню Вам и мы поговорим.

Я всё время думаю о Вашей лекции. О Марине Цветаевой ничего этого я не знала. И причина есть. Как-то так устроена моя душа, что она открывается, распахивается навстречу душевно здоровым людям. Поэтому я совсем не переношу Достоевского со всеми его глубочайшими мыслями и эмоциями и его великостью, признанной всем миром. И мне жаль, что он, как правило (судя по многим высказываниям), наравне с Толстым представляет русскую литературу, русскую душу – перед всем миром. Да нет же, нет! Не такая изломанная и вывихнутая душа у нашего народа, она простая и светлая, и здоровая. Вот Пушкин – это и есть русская душа.

Ну, я отвлеклась. Слушала я Вас... да, Марина – Поэт, она не может жить без любви... Да! Один, второй... пятый, десятый... и всё – вулкан, раскалённая лава, выворачивание наизнанку души и опять – вулкан и какая-то неуёмная жажда страсти, жажда раствориться в возлюбленном и растворить его в себе, и всё это такое гротескное, бьющее через край, не знающее границ... Пстой, голубушка, (это я к Марине), это уже страшно, это здорово смахивает на шизофрению... Ну и её попытка в 17 лет покончить с собой и сам конец её. И способ выражения своих чувств тоже часто об этом напоминает. В общем, как-то я так устроена, что моё восприятие поэтов, писателей, людей искусства идёт не по общепринятому фарватеру, а режет его вкось и вкривь. И никакие доводы на меня не действуют. Не переношу шизофреников и их вывихнутые стихи и прозу, и картины, и музыку с пискom, треском и завыванием, выдаваемые за модерн, авангард и проч.

Милая Наталия Максимовна, а как это Вы с такой чистой, светлой душой, с такими дивными, светлыми стихами... Как это Вас хватает на искреннее восхищение и любовь ко всем, всем им – со всеми их вывертами, к бродягам и пропойцам... ой, останавливаюсь. Я понимаю, Вы цените талант в любом облиции, Вы это можете. Иначе как бы Ваши

лекции могли обогащать наши головы и насыщать наши души. Ну а мы выбираем из этого огромного моря то, что созвучно нам. Так и должно быть. И спасибо Вам огромное. Мы любим Вас. Ваш надоедливый корреспондент, эпистолярный террорист Н.С.».

Из письма от 26 апреля 2003 года. «Милая Наталия Максимовна! Перебирала сборники стихов, открыла «Письмо в пустоту» и всё на свете забыла. Читала, читала, читала. Не устаю удивляться тому, что Вы всё знаете про мою жизнь и душу. Сборник этот весь испещрён карандашными пометками. Их с моего разрешения делала внучка Аня. Так интересно (и смешно) видеть эти пометки. Вот, например, сердце 14-летней внучки откликнулось на слова:

Почему не спускается занавес?
Пьеса жизни проиграна впрах.
И на бис не сыграть её заново,
разве только в грядущих мирах.

Ну конечно! Мальчик какой-нибудь не так посмотрел на неё – и «пьеса жизни проиграна впрах». Господи! Сколько ещё предстоит моей деточке пережить в пьесе жизни!

Милая Наталия Максимовна! Вы ждёте, что я напишу о себе. Все мои «новости» могли бы уложиться в Ваши две строчки: «– Как живёшь? – Мучительно живу я. – Эй, как жизнь? – Не кончилась ещё». Сейчас я часто думаю, что мы не знаем и не ценим своего простого счастья – когда ничего не болит. Понимаешь это только тогда, когда заболит, да ещё так упорно, да ещё врачи пожимают плечами, и нет никакой помощи. Вот это ощущение беспомощности и беззащитности перед, казалось бы, простой болячкой – пренеприятное состояние. Исчерпаны все методы. Профессор-хирург говорит – резать. Но уже резали три раза и хирург, которая резала, говорит, что операция не принесёт улучшения. 19 апреля я поехала с паломниками в Храм в Пензенскую область на церковную службу, т.н. отчетку от болезней. Нужно ездить три раза. 400 рублей одна поездка. Мне только это осталось.

Самое тяжёлое – ночные боли. Постоянно пью обезболивающие лекарства, а это грозит изменением крови. Ну, в общем – замкнутый круг. Ладно, хватит о болячках. Не переживайте за меня. Я держусь. По ночам (и днём, конечно) читаю очень интересные журналы. И ещё – толстенную книгу: «Западно-европейский эпос». (Кира Алексеевна принесла

из библиотеки). Очень хотелось прочесть о Нибелунгах (пробел!).

Я всё пытаюсь пополнять «копилку радостей». Ну, например, стараюсь не пропускать «Путешествий натуралиста». Милый, добрый, интеллигентный, толстенький, улыбочивый, сладкоголосый, очень эрудированный Павел Любимцев лечит и ласкает мне душу, да еще животные – такие лапушки, даже самые пресмыкающиеся. Люблю всех их! (Кончается листок). В качестве пожелания Вам, дорогая Наталия Максимовна, я процитирую слова неизвестного (но Вам известного) стихоплёта:

Пусть впереди неровная дорога,
завистников, хулителей так много, –
мы им простим пристрастья их и вкусы
и жалкие блошинные укусы.

Не тратьте свою душу на пререкания с хулителями. Это несамодостаточные люди. Они и так наказаны.

Я всегда Вас люблю и восхищаюсь Вашими стихами, никогда они мне не надоедают, читаю часто и открываю всё новые мысли и чувства в них и ассоциации с моей жизнью. Всех Вам благ и творческого удовлетворения.

P.S. Эдвард Радзинский – один из лучших рассказчиков. Не пропускаю его передач.

Из письма от 6 ноября 2003 года. «Дорогая Наталия Максимовна! Вашу книгу проглотила за 2 дня и начала заново. («По горячим следам» – Н.К.). Стихи прочла все три раза, а выборочно – не знаю сколько. Миллион мыслей в голове, а чувств в душе – ещё больше. Спасибо Вам за то, что даёте душе напиться из живительного источника. Я не знаю, где взять «неизречённые слова», чтобы выразить то, что я чувствовала, читая.

«Поэзия не знает дня рожденья.
Ещё не воплощённая в словах,
она была озвучена гуденьем,
журчанием, шептаньем в деревьях,
небесным громом, рыком динозавров...
Заполнив чёрный космоса провал,
зародыш поэтического завтра
в утробе мира тайно созревала».

Го-о-спо-о-ди!!! Как это Вы сумели? Как это?? Где это рождаются такие мысли и образы, такие строки??.. А... я знаю! Это – соединение Вашей светлой головы, Вашего

лучезарного умного сердца и луча, проникшего из космоса... Стихотворение это – гениальное. Я отвечаю за свои слова! Читаю, читаю, читаю и мысленно говорю с Вами.

«Вся открыта перед Вами
сердцем и судьбой,
может голыми руками
взять меня любой...»

Ну уж нет, Наталья Максимовна! Не так-то просто любому взять Вас голыми руками!

«Заколотят доской гробовую,
наметут над могилой снега...
Но опять я воскресну для боя,
если рядом почую врага».

Вот это точно – Вы!!! Такими острыми строчечками Вы прожигаете своих врагов! Жаль мне Ваш огонь, растрчиваемый на завистников и хулителей. Лучше бы: «А он идёт себе, и лая твоего совсем не замечает». Но памфлет о стихах Кековой – чудо! Я кипела всеми этими мыслями, а Вы их выразили так точно и с таким перцем!! (Я, как Ю.Дружков, грешу большим количеством восклицательных знаков). Но неужели можно так, как он, обращаться с известными именами? Неужели это так и останется?.. А стихи Дружкова – жуткая галиматья.

А «круги, близкие к писательским», Вам не простят многого. Я знаю, Вы не боитесь, храбрый рыцарь. И это здорово! Но я боюсь за Вашу распахнутую душу. Дорогая Наталия Максимовна! От всей моей тоже сейчас распахнутой души я благодарю Вас за Вашу книгу, за добрые слова, обращенные ко мне, за Вашу дружбу – за этот светлый дар, что послал мне Бог. О себе ничего не пишу – скучная тема. Коротко можно сказать словами песенки военных лет:

«Хвост горит, нос пробит,
но машина летит
на честном слове и на одном крыле».

«Я прошу одну только руку,
что меня обмоет и обрядит...»

Ну, не расстраивайтесь, нет, нет, машина ещё летит. Читая и перечитывая Ваши сборники, я думала: и это всё атеист пишет? Я посчитала: в новом сборнике божественные слова и понятия Вы употребили... 52 раза! Никакой Вы не атеист. Я трудно приходила, пришла к Богу. Но теперь я не могу думать иначе как: Бог нас покинул, наши молитвы –

это самоутешение. Видимо, Господь решил посмотреть до конца нашу трагикомедию до второго своего пришествия. Всё время думаю: как прекрасна земля! И только эксперимент с «венцом творения» не удался. Скоро ли, Господь? Уж мы такое вытворяем, что дальше некуда.

Дорогой мой бесстрашный Рыцарь поэзии! Низкий Вам поклон! Живите, любите, пишите, одухотворяйте наш заблудший мир. И берегите свою душу. Вам и Давиду Иосифовичу здоровья и полноты бытия. Любящая Вас Н.С.М.».

Этим письмом было навеяно вот это стихотворение, которое Нина Сергеевна прочесть уже не успела:

«Берегите же душу!..» О, я берегу,
для себя – не загробного рая.
Я её не позволю запачкать врагу
и предательством не замараю.

И хотя я не ангел и не эталон
и порой нарушаю зароки,
я себе запретила поклон и уклон
вправо-влево от главной дороги;
быть в согласии с тем, кто, собой упоён,
от любви к сверхдержаве зверея,
вожделеет о благодати старых времён
и о сильной руке брадобрея.

У души я на службе и на поводе,
на подхвате и на побегушках.
Я пляшу под волшебную эту дуду,
что играет мне тихо на ушко.

Чтоб была в стороне от наживы и зла,
я её проверяю на деле.
Чтоб всегда пребывала чиста и бела,
белоручку держу в чёрном теле.

Я её не одену в броню и гранит,
не упрячу от боли и гнева.
Ну а если она кровоточит, саднит –
это значит, не закаменела.

Из письма от 2 декабря 2003 года:

Молитва

Ночь... опять, опять эта боль...
И таблеткам уже с ней не справиться.
Скоро ль, Боже, шепнёшь пароль,
чтобы в вечный полёт отправиться?

«Настроение бодрое, иду ко дну».
«Полной грудью дышу... на ладан».
Только, Боже – меня одну...
Только близких моих – не надо...

«Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась»,
то в восторг приходит, то печалиться.
Только где-то распалась связь,
видно, время моё кончается.

Не грущу, не ною, не злюсь.
Знаю точно, что после Пришествия
вновь на Землю эту вернусь
я для нового путешествия.

Снова ливням весенним шуметь,
снова мучиться: «Быть иль не быть?»
Снова сердцу в огне гореть, –
замирать, ненавидеть, любить.

Не заметит уход мой Земля,
она озабоченно вертится, вертится.
Сделай, Боже, так, чтобы я
могла с любимыми снова встретиться.

Н.С.Могуева

ноябрь 2003

Милая, дорогая Наталия Максимовна! Не расстраивайтесь. Я жива и ещё буду жива. Стихотворение написано в одну из тяжёлых ночей. Думаю, что при моём теперешнем состоянии на плаву меня держит непробиваемый оптимизм. Совершенно необъяснимые приливы жизнелюбия и хорошего настроения посещают меня частенько. Спасибо за это Создателю. А уныния и мрачных мыслей Кто-то не допускает до моей души. И на этом спасибо!

Что рассказать о себе? Живу по возможности полной жизнью. Часто посещает меня моё самое любимое и самое дорогое существо на свете – моя внученька. Недавно она мне сказала, что хочет, чтобы я прочла книгу Пауло Коэльо «Алхимик». И вдруг она увидела её в продаже, купила и подарила мне с такой дорогой для меня надписью: «Самой любимой бабулечке, которая научила меня понимать и ценить прекрасное. Я люблю тебя. Твоя Анюта». И я подумала: это самый главный итог моей жизни. Я так боялась, чтобы интеллект моей внучки не остался на уровне «юбочки из плюша» (эту песенку она напевала в детстве. Тогда её все пели). И я делала всё, что могла. А делать это нужно было ненавязчиво, так как внучка моя – конечно же – продукт своего времени. И всё, что её окружало, вся наша и иностранная эстрада, все эти моды-джинсы (как собирательный образ) и прочее – всё это пронизывало её жизнь. Иначе и быть не могло и не должно было быть. Но вместе с тем так хотелось, чтобы она ощутила вкус хорошей литературы, классической

музыки, настоящей поэзии, любила живопись и проч. Вот и взяла я на себя роль: потихоньку, невзначай, ненавязчиво знакомить её со всем этим, в тех пределах, конечно, в каких знала и бесконечно любила сама. И сейчас она меня часто радуется результатами этих моих стараний.

А книги, как Анна Андреевна Ахматова, я уже не читаю, а перечитываю. В десятый раз (!!!) перечитала «Сагу о Форсайтах». Каждый раз, перечитывая её, я стараюсь понять, что так влечёт меня в этот мир. На этот раз я наслаждалась, дегустировала каждую строку. Этот необычайный тонкий английский юмор... И ещё я поняла, что при ограниченности моих сегодняшних возможностей быть на природе, я растворялась в чудных, ярких описаниях её в «Саге». Парки и сады Лондона и Парижа, меловые холмы Уонсдона, река, камыши, водяные лилии, лебеди Мейплдерхема, солнечные дни и лунные ночи – всё это пронизывает жизнь Форсайтов и так трепетно изображено Дж.Голсуорси.

После «Саги о Форсайтах» я углубилась в русскую старину. Прочла (перечитала) «Обрыв» Гончарова. И так захотела в имение Татьяны Марковны Малиновку – к цветущим деревьям, сенокосам, пчёлам, бабочкам, тишине, облакам, теплоте и задушевности людей. Хочу тишины и спокойствия. Но нет их на земле.

...Сейчас я позвонила Вам и очень расстроилась. Господи! Если бы можно было не обращать внимания на это тьявканье! Но наши «корифеи» умеют травить. Это они неоднократно доказывали во все времена. И кого травить! Как правило, тех, кто во сто крат выше и талантливее их. Только бы хватило Вашего стержня на всю эту возню. Только бы Вы не допустили всё это глубоко в душу, только бы она устояла и осталась по-прежнему светлой и вдохновенной. Может быть, Вам немного поможет мысль о том, что Вы-то тоже здорово их царапнули. И, конечно, следовало ожидать, что они ощерятся. Очень, очень хочу, чтобы Вы, Наталия Максимовна, реагировали на всё это, как бы это выразиться – поверхностно, не допуская урона для души. (Слишком много чести!)

Послезавтра – Ваша лекция. Дай Вам Бог силы сохранить достоинство во всей этой кутерьме. Думайте о себе, а не о них. Мой большой привет Давиду Иосифовичу. Обнимаю Вас. Любящая Вас Н.С.Могуева.

Из письма от 27 мая 2004 года. «Дорогая моя Наталия Максимовна! Наконец-то ручка коснулась бумаги, и я могу поговорить с Вами. А до сих пор – сколько уже дней – всё, что я хочу сказать вам, прокручивается в голове, а сесть и начать писать – нет сил. Перешагнула через это и пишу.

Ну, «во первых строках моего письма» сообщаю Вам, что я всё ещё жива. Уже 8 месяцев я не обращаюсь ни к одному врачу, кручусь со своими болячками в собственном соку. Отбиваюсь от своих сыновей, которые всё норовят меня то в Израиле консультировать (документы туда выслать), то в Москву меня везти – и всякие прочие «авантюры». Но никто так, как я, не знает истинного положения вещей и бесполезности всех этих попыток. Вовремя врачи не сумели ничего предпринять, теперь настолько всё уже запущено, что... и т.д.

Самое плохое – постоянные боли. Пью анальгетики регулярно 4-5 раз в сутки (в аннотации сказано: пить не больше 7 дней, я пью 1 год и три месяца). Уже вижу негативные результаты этого, но раздирающая боль заставляет на всё закрыть глаза. Совершенно осознанно и очень спокойно и с надеждой мечтаю об одном – скорее бы!.. Но если моя продолжительная жизнь снабдила меня открытием: жить – очень нелегко, то в конце этой истории я поняла ещё одну истину: и умереть-то совсем непросто. Потеряв 24 кг веса, мучась от боли и понимая совершенно ясно, что с тем, что у меня сейчас есть – жить нельзя, я тем не менее живу.

О Господи! Простите, Н.М.! Простите! Разве так я хотела начать письмо... А вот ведь положила голову на Ваше милое плечо и расхныкалась, пожаловалась. Простите. Но зато! – я дожила до ландышей, до тюльпанов, до сирени, и дом мой постоянно украшен цветами. На балконе всё приведено в порядок и уже рвутся к солнцу бархотки и петунии. Дома я хоть и через силу – делаю всё: готовлю, убираю, понемногу стираю, хожу до аптеки, иногда на «Пешку», в магазин. Выхожу на улицу – голова, как воздушный шар – того и гляди оторвётся и полетит (такая слабость в теле и пустота в голове!). Но с каждым шагом мне всё лучше, особенно если я не забуду расправить плечи и поднять выше голову (поза: наплевать на болезнь!!).

Позавчера вечером захлёб прочла «Евгения Онегина». Вот даже исследование провела. Меня давно очень интересовало, о какой молитве написал Пушкин в своём стихотво-

рении «Отцы-пустынники и жёны непорочны». И, представьте, я нашла эту молитву!

Молитва святого Ефрема Сирина
(читается во время Великого поста)

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалаия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Стоит сравнить эту молитву со стихотворением Пушкина, и никаких сомнений не останется. Все основные смысловые слова – общие». (И – пронзающая болью приписка: «Я отослала все свои книги пушкиноведческие в Пушкинскую библиотеку, а все свои пластинки – в библиотеку консерватории». Она знала, что больше они ей уже не понадобятся...).

«А вот стихотворение Лермонтова «Молитва» не даёт никаких намёков на содержание той молитвы, которая давала такое облегчение мятежной душе поэта. Жаль. В общем, чтение, книга – самый верный друг, который всегда с тобой и, главным образом, тогда, когда уже не можешь выезжать на природу, ходить на концерты, ходить к друзьям. Даже общение для меня теперь очень тяжело. Говорить не могу, даже несколько слов вызывают боль, которая потом никак не стихает.

А среди радостей жизни ещё – Музыка! Слушаю её с жадностью и благодарностью. Недавно испытала потрясение: необыкновенный голос Рене Флеминг, голос – океан. Когда-то я с таким же замиранием сердца и восторгом открыла для себя Марио Ланца. Тоже Океан!!!

Но самая главная моя Радость – моя внученька. Она наполняет мою душу живой, молодой, кипучей жизнью. Все свои события (а их – море! И первая любовь – главнейшее!) она так живописует мне, что мне начинает казаться, будто я – участник всего этого. Кстати, она и участником меня делает. В общем, бабушка – лучшая подружка, вот так мне повезло. И подружки у неё есть близкие, чему я очень рада.

Дорогая, милая Н.М.! Вы – со мной, в той тёплой и светлой части души, куда помещается всё самое лучшее, что даровано жизнью. Я шлю свой искренний привет Давиду

Иосифовичу. Здоровья вам, успехов в замечательном деле приобщения людей к миру культуры и искусства. Без этого мы бы давно одичали. И дай Вам Бог силы преодолевать рытвины и пороги на этом пути. Читаю Ваши стихи и не могу начитаться. Н.С.».

Нина Сергеевна, милая!
Трудно писать эти строчки.
С нечеловеческой силою
жизнь Вас пытается на прочность.

Как ни толкала бы в ров она,
как ни терзала бы тело –
с этой душой очарованной
ей ничего не поделатъ.

«Вот дожила и до ландышей!» –
слышу Ваш радостный голос.
Думаю, так вот и надо жить,
не отступать ни на волос.

Верю, что сможете выстоять,
хворь одолеете злую.
Сердце открытое, чистое
Ваше люблю и целую.

Я писала ей в письме: «Нина Сергеевна, дорогая, не сдавайтесь. Вы так нужны и Вашим детям, и внукам, и друзьям, близким и дальним, Вы – воплощение света и тепла в жизни многих и многих. Редко кому удаётся так красиво и цельно прожить свою жизнь, так талантливо её «организовать», так мудро взрастить и воспитать свою душу. Когда Чехов мечтал о прекрасных людях будущего, когда «каждый будет как звезда перед другим», когда люди смогут любоваться друг другом, он имел в виду именно таких, как Вы.

Я преклоняюсь перед Вашим мужеством и стойкостью, перед неиссякающим Вашим жизнелюбием, вечной очарованностью жизнью! Вот с кого Р.Роллану надо было писать свой роман! И книги, и музыка, и стихи, и цветы – это не только радость, но и мощное Ваше оружие против жестокого недуга. Но к этому надо подключить и кардинальные лечебные меры (не знахарские, не «целительские», не саратовские!) и тогда «лёд тронется», я уверена. «В Москву! В Москву!» – этот рефрен «Трёх сестёр» должен стать сейчас Вашим девизом. Если бы я верила в Бога, я бы молилась за Вас, но я верю в Вашу стойкую душу, железную волю, твёрдый характер и в то, что мысль – материальна, и если настойчиво хотеть чего-то и упорно к этому стремиться,

болезнь отступит. Ведь у Вас нет «самого страшного» – мне говорила Кира Алексеевна, а всё остальное может быть излечимо. Милая Нина Сергеевна, держитесь, не сдавайтесь, не миритесь с болезнью!»

Из письма от 5 июля 2004 года. Милая Наталия Максимовна! Прочла вечером Ваше чудное, доброе, сочувственное письмо и положила его на стол, в головах постели. И всю ночь видела Вас во сне. Бывают такие сны, которые не перескажешь. Они не на уровне действия, а на уровне чувств. Где-то мы с Вами бродили всю ночь. Хорошо было! Дай Вам Бог успехов в главном деле Вашей жизни. Значит, новая книга? Я знала, что она будет. И следующая, и следующая... Будет!

Ну, в последний раз о моих болячках. Вы совершенно правы, дорогая Н.М., если бы кто-то из дорогих мне людей был в таком же положении, я бы тоже нашла все доводы, все самые убедительные слова, чтобы подвигнуть человека на решительные действия. И спасибо Вам за такое действенное сочувствие. Что же касается моего случая, мне может помочь единственное: донор, готовый без ущерба для себя отдать мне нижнюю половину головы. (Речь уже не идёт о челюсти. Это пройденный этап). Ну как?.. Нет у вас на примете такого донора? У меня тоже нет. А ещё лучше пришить бы мне голову, ну, хоть профессора Доуэля. Надеюсь, с челюстями у него всё было в порядке. Больше ничего не поможет. И оставим эту болезную тему.

Если бы я могла! Если бы только я могла рассказать, объяснить Вам моё нынешнее состояние так, чтобы Вы душой поняли меня! Сказано: человек должен вырастить детей, посадить дерево, построить дом. Я всё это перевыполнила. Вот: дожила до правнучки! Деревьев вырастила множество, квартиру кооперативную построила. И ещё много чего сделано на этом свете. Пока человек относительно здоров, у него – планы, мечты – жизнь! Но когда двумя лапами схватила болезнь за горло и не отпускает, и – боль, боль... А за спиной – большая, интересная, насыщенная жизнь, а впереди – ничего, кроме боли, – вдруг возникает такое спокойное, осознанное, радостное ожидание конца. Моё предназначение на земле выполнено. Меня уже ничто не держит на этом свете. Интенсивная жизнь моих любимых детей и внуков мне уже не по силам. Вечно переживать и бояться за них (а это участь наша) – у меня нет уже на это резервов. И вот

придёт этот желанный миг. Больная плоть спадёт, как обветшавшее платье, а душа (уж в это я верю бесповоротно!) улетит в иные края, где СВЕТ и РАДОСТЬ. Помните просветлённое лицо скончавшегося Пушкина? И друзья его вопрошали: «Что ты видишь там, друг?» Мой муж умер с улыбкой на лице. И множество рассказов об этом тоннеле, ведущим в СВЕТ.

Но поймите, Н.М.! Я вовсе не предаюсь предсмертным мыслям и не закливаюсь на них. Я живу. Живу, когда утихает боль. Я вся в делах – по возможности. Дома – чистота, порядок. Постанывая и поохивая, я готовлю, стираю, глажу, мою полы, читаю, пишу и проч... Но мне никто не докажет, что в моём положении нужно цепляться руками и зубами (которых почти нет) за эту жизнь. Всё!!

Чем бы закусить эту невкусную тему?.. Завтра родится Пушкин. Я очень много думаю о нём. И додумалась... додумалась до того, что не нужно!! Не нужно было ему жениться вообще. Ведь знал же он, что материально не в состоянии содержать семью. 12-комнатная квартира, прислуга, выезд, балы, наряды. Загрязская, конечно, помогала, но это капля в море. А бесподобная Натали ещё двух своих сестёр взгромодила ему на шею! А Александр Сергеевич, конечно, оставался самим собой, к бытовым долгам добавлялись карточные, петля затягивалась, так что Дантес был просто последней каплей в этой переполненной чаше. У Пушкина были хорошие дети. Но мир вполне обошёлся бы без них. А вот без очищающих нашу душевную экологию стихов и прозы А.С. мы не обходимся. Может быть, именно их, не написанных рано ушедшим Пушкиным, нам и не хватает сейчас, и мы задыхаемся в чернухе и порнухе. Конечно, была некая компенсация в виде Болдинской осени, компенсация того, что уже никогда не будет написано нашим Солнечным Поэтом. Вот такой сгусток, взрыв, протуберанец – Болдинская осень. Слава Богу за это!!

Нет, предназначение Свыше было – творчество и очищение душ человечества. А Александр Сергеевич решил «образумиться», стать, как все, жениться, обзавестись семьёй. Свернул он со своего Богом избранного пути, и вот результат... С 205-летием, дорогой А.С.!»

Из стихов Н.Могуевой:

Она могла

Она невинна – часто слышу я.
Так Он сказал и вторили друзья.
А мне так часто страшный выстрел снится,
в её невинности заставив усомниться.

Как рвался он от мрачных берегов,
от сплетен, неудач и от долгов,
от царских «милостей» и от цепей
под сени рощ и на простор полей.
Как он тогда о Болдине мечтал!
Её, любимую, как он с собою звал,
непонимания преодолеть не мог
и в страшный час так был он одинок!

Она невинна – часто слышу я.
Ты так хотел и вторили друзья.
Но я скажу, и ты, Поэт, прости:
она могла тот выстрел отвести.

«Теперь о Боге, который «смотрит поверх голов». Да, на замечательно сформулированный В.Солоухиным вопрос ответа до сих пор нет. А, пожалуй, уже есть и неблагоприятный. Он написал: «В том, что существует Высшая Сила, теперь уже ни у кого сомнений нет. Но вот есть ли этой Высшей Силе до нас дело?». Я читаю множество интереснейших журналов. Пересечение науки и религии – самая интересная для меня тема. Приводится много теорий и гипотез – как проявляет себя Высший Разум, как его можно представить и проч.

Как Вам такая информация???: 1. До недавнего времени считалось, что вся информация, необходимая для формирования и развития человека, закодирована в молекуле ДНК. Но сухая и точная математика показала, что объёма памяти ДНК катастрофически мало для жизнедеятельности организма. Один из создателей так называемой волновой генетики, действительный член российской Академии медико-технических наук, доктор биологических наук П.Гаряев сказал кратко и определённо: «Эксперименты показали, что генетический аппарат – не самодостаточная система, что существует внешняя генетическая информация, которая идёт от Высшего Разума» (журнал «Наука и религия» № 8 – 2003 г.).

А вот это???: 2. Американский философ Самуэль Крам пишет: «Вселенная – столь величественна, что трудно допустить, что она совокупно не есть единый мировой разум, ощущающий копошение миллиардов живых существ на всех планетах, пригодных для жизни, подобно тому, как человек ощущает слабую головную боль. Звёзды или даже галактики – лишь нейроны такого «мозга».

И ещё: 3. Согласно современным гипотезам, в ядрах галактики живут Логосы – высшая форма разума, нуклон-

ные структуры, имеющие возраст десятки миллиардов лет и управляющие процессами во Вселенной (Журнал «Свет» № 5 2004 г.).

Вот и приехали!! И где же в этих головоломных системах место нашего православного Бога с его 10 заповедями и проч... И кто, и как должен и может реагировать на наши горячие молитвы?? Логосы?.. Нуклонные структуры?.. И не нужно совсем забираться в эти дебри, а просто посмотреть вокруг – сколько нелепых, необъяснимых смертей детей, молодых матерей, молодых людей. А полупарализованная старуха годами сидит у подъезда, и тяжело больные, призывающие смерть, не могут её дождаться. И вообще – что творится вокруг...Объясняют всё Апокалипсисом. Ну и сколько это будет продолжаться? Так, как молился мой сын, стоя ногами на коленях, и как они возили Сашу по святым местам... Не слышит нас Бог. Не слышит. И наказывает в основном не тех. Господи, прости меня...

Наталия Максимовна, дорогая, «КАК ДУША? О ЧЁМ БОЛИТ?»

«Я стучу в себя, как в стену:
«Как ты? Всё ещё жива?»
То рукой себя задену –
ноги, плечи, голова...
Сердце тукает слепое.
Я вникаю в свой недуг.
Словно в камере – с собою
осторожный перестук».

Как здорово Вы изобразили меня нынешнюю. Лучше не скажешь.

Одна беда не приходит. Моя подружка, с которой прошло вместе полжизни, получила инсульт. Умница, кандидат наук, не может произнести ни одного слова и написать ни одной буквы. Но всё слышит и понимает. Обнимемся мы с ней и молчим. Но чтобы не было так трагично, сочинила частушку:

Жили-были две подружки,
две известные болтушки.
Всё они болтали, пели
и так Богу надоели!
Чтоб замолкли две болтушки,
Бог заткнул им в рот подушки.

Это наш гимн. Пока ещё можем смеяться над собой.

Дорогие Наталия Максимовна и Давид Иосифович! Берегите друг друга и лечитесь вовремя. Очень хочу и желаю вам этого – будьте здоровы, и пусть «телеграммы радости» не будут очень скудными (вопреки известной песне). Обо мне не беспокойтесь. Я держусь.

Н.М., Ваш телефончик есть в заветном списке. Так что Вас известят в случае чего. Единственное, что помогает настоящему – юмористический взгляд на события. Когда очень плохо – сочини частушку, станет легче. Обнимаю Вас. Любящая Вас и Ваш талант Н.С.».

Что сказать ей, чтоб её утешить?
Все слова тут сказанные – зря.
В доме тех, кого собрались вешать,
о верёвке вслух не говорят.

И какие – голову ломала –
взять цветы, которыми согреть,
чтоб ничто ей не напоминало
смерть?

Непосильным было это бремя.
Неуместны книги и пирог.
Малодушно я тянула время,
прежде чем шагнуть через порог.

Нет, не откупиться этой данью.
Не сумеешь сыграть мне эту роль.
Будет страшен лик её страданья,
боль.

Солнца луч, блеснувший, словно скальпель,
озарил сосулек хоровод.
Жизнь застыла той последней каплей,
что сорвётся, кажется, вот-вот.

Я в лицо опавшее глядела,
пряча слёзы, подавляя вздох,
и понять мучительно хотела,
где же Тот, кому до нас нет дела –
Бог?!

Это стихотворение было написано после посещения Нины Сергеевны в госпитале. Она очень исхудала, стала совсем прозрачной. Говорить ей было трудно, есть почти не могла, только жидкую пищу. Я сварила ей бульон, который был оценен ею так же высоко, как и мои стихи.

Из письма от 28 июня 2004 года. «Милая Наталия Максимовна! Сообщаю Вам о победе Вашей ещё в одном конкурсе: конкурсе бульонов. Такое чудо Вы принесли мне! Да ещё так много. На следующий день я уезжала домой на три дня. Взяла Ваш бульон и дома сварила щи – упивалась

ими целые три дня. Наталия Максимовна! Я была просто потрясена, когда увидела Вас в госпитале. Спасибо Вам душевное за дружбу и заботу.

Во сне сам собой сочинился «опусик»:

Я стала не просто худой
а какой-то «чёрной дырой»:
глотаю, глотаю, глотаю
и таю, и таю, и таю.
Скажите, Небесные Братцы,
сколько будет процесс продолжаться?

Мой дорогой доктор твердит: ешьте, ешьте... И я ем. И аппетит есть, и ем всё калорийное. И... худею. Уже 47 кг (вместо 75).

Хочу сказать только, что моё последнее помещение меня в госпиталь вдруг продемонстрировало любовь ко мне многих, многих людей. Был поток посетителей. Мои сыновья, сноха (разведённая), её новый муж, моя внученька и друзья – шли, шли, шли. Забили холодильник всякими вкусностями. Сын два раза приезжал из Москвы и он же оплатил операцию и лечение. Врач мой – это последний мне подарок на этой Земле, но, к сожалению, слишком поздний. Он так старается, а я не отвечаю его стараниям».

Сейчас, наверное, уже можно об этом сказать... Когда я последний раз уходила от Нины Сергеевны, она, выйдя за мной в коридор, подняла на меня сияющие глаза и зашептала в ухо, что влюблена в своего лечащего врача, что, когда он берёт её за руку – пощупать пульс, у неё замирает сердце.

– Он говорит, что в понедельник меня уже выпишет, а я не знаю, как я буду без него жить...

У меня отлегло от сердца. Значит, всё не так страшно, – подумала я. – Значит, будет жить...

Увы, я ошибалась.

Из письма от 28 июля 2004 года. «Как живу? (Опять хочется ответить Вашими строчками: «Мучительно живу я»). Стараюсь делать вид, что живу. Болит – глотаю лекарства. По приказу доктора ем мясо (всё в провернутом виде). Выхожу мало – с внученькой. Продукты покупает сын, внучка, Кира Алексеевна. Мой доктор собирается по приезде опять меня положить в госпиталь на «маленькую операцию». Ну сколько можно??. Опять меня должны возить в госпиталь, опять ездить ко мне. НЕ Х-О-Ч-У!! А чего ХОЧУ – никак не получается. (Смилостивись надо мной, Господи!).

Всё! Меняем пластинку. Я так устроена, что внутри меня постоянно есть «дежурная мелодия». Я могу страдать

от боли, а мелодия – со мной. Вот уже несколько дней мурлычит у меня внутри: «Меж нами памяти туман, ты как во сне. Я верю, только дельтоплан поможет мне». – Обожаю эту мелодию!! А недавно звучали такие чудные звуки «Вальпургиевой ночи»! И унесли меня в детство.

1944-45 годы. У нас в оперном театре замечательный репертуар, и приезжает из Риги тенор Заходник. Поёт герцога на итальянском, европейская внешность, голос средний, но мы – в восторге! – Экзотика. И вот мы – пять подружек – слушаем «Фауста» – 5 раз почти подряд. (Благодарю Господа, Судьбу или ещё что там, что повернул в то время наши души к музыке, к настоящему искусству, а не в какую-то другую сторону). Опера была прекрасно поставлена. Маргариту пела Е.В. Шумская. Приехал Козловский, был потрясён её голосом и увёз в Москву. Приезжала на гастроли Н.Д.Шпиллер. Её мы несколько раз слышали. Это – высота! А как были поставлены танцы в «Вальпургиевой ночи»! Вот я сейчас вижу, как под дивную мелодию выбегает стройный Адашевский, у него на плече в красивой позе – Урусова в белом хитоне, на них направлены прожектора – чудо!!! А сколько походов в консерваторию, сколько прекрасных концертов! Мы всё это вспоминаем с большой радостью.

Милая Наталия Максимовна! Мне хочется, чтобы в Вашей следующей книжке было больше светлого, меньше стычек с «этими». Да ну их в болото! А... вот, кстати, как можно кратко описать мою сегодняшнюю жизнь:

Эх, жизнь моя, – жестянка!
Да ну её в болото!
Живу я, как поганка,
а мне летать... а мне летать охота!

(Незабвенный Папанов!)

Обнимаю Вас, дорогая! И благодарю. Давиду Иосифовичу привет от меня. Пусть вам будет хорошо. Ваша Н. С.»
Из стихов Н.Могуевой:

Бред

В больнице

Каким огонь неумолимым был,
как тело жёг и голову палил.
Я потянулась к небу, поднялась слегка,
где плыли, лба касаясь, облака,
и ткань их шелковистая была
прохладна, и туманна, и бела...

По стенам душной, узенькой палаты,
свиваясь, пенились багровые закаты...

«Как угораздило тебя попасть сюда? –
спросила, заглянув в окно, звезда. –
Ты вся горишь и голова в огне...
Закрой глаза и повернись ко мне.
Тихонечко со мной поговори,
я посижу до утренней зари».

И, лоб лучом накрыв, мне тихо рассказала,
как заглянула в глубину Байкала,
спустившись к лесу в золотых накрапах,
там покачалась на еловых лапах.

И как плыла на мачте корабля,
и пошептала с звёздами Кремля,

а там – у милых Невских берегов
посеребрила статуи богов,
влюблённо устремив лучистый взгляд
на Летний (а теперь осенний) сад.
«Скажи, а как же ты меня узнала?»

«Не удивляйся. Помню, как бывало,
ты, отойдя от жаркого костра,
могла смотреть на небо до утра.
У всей вселенной стоя на виду,
искала ты свою звезду.

И вот теперь, когда пришла беда,
я здесь с тобою, я – твоя звезда.
Ты вспомни, сколько красоты на свете:
как горный воздух свеж, как ароматен ветер,
как шелестит зелёная листва...
Ну вот, твоя прохладней голова».

Так мы шептались с нею до утра.
Алел восток. Она вздохнула: «Мне пора.
Не забывай меня, свою звезду.
А будет тяжело – я опять приду».

Из письма от 11 сентября 2004 года. «Я очень плохо сплю, в результате чего время от времени появляются стихи. Как будто начинаю писать серьёзно, но потом юмор пересиливает:

Мечты и действительность

Я смотрела на лето из окон больницы.
На ветвях щебетали весёлые птицы,
светлый лучик в палату спустился с небес.
Как хотела я в поле! Как хотела я в лес!
Как хотела лежать на траве под берёзой,
любоваться, как ветер полощет ей косы,

чтоб прохладу травы ощущала щека,
чтобы рядом тихонько журчала река,
чтобы ветер принёс аромат сенокоса,
над цветами вились золотистые осы.
Вдруг... взъерошила воды тихоня-река,
понеслись надо мной в вышине облака,
и, предчувствуя скорый разгул непогоды,
встрепенулась, вздохнула родная природа.
Я хочу, я хочу в этот вихрь непогоды!
Чтоб меня обнимали небесные воды,
чтобы ветер трепал и слепила глаза
ярким пламенем молний шальная гроза!
Оглянулась... Палата, сестрица со шприцем.
(Да, свиданье с природою не состоится).
Вздыхаю, зеваю, смотрю на часы
и покорно спускаю труссы...

Милая Наталия Максимовна! Удаётся ли вам с Давидом Иосифовичем бывать на природе? Это всё-таки единственная и неповторимая целительная сила для души и тела. А лето-то прошло! Но деньки бабьего лета бывают чудесными. Не упустите такую возможность! И отчитайтесь мне, где Вы были, сколько деревьев обняли, чтобы зарядиться положительной энергией, сколько облаков проплыло над Вами, какие ароматы окружали Вас – донник? Полынь? Ромашка? Мята? На сколько градусов поднялось Ваше настроение?».

Я отвечала ей: «Нина Сергеевна, дорогая, душа всё время болит за Вас. Хорошо, что Вы не одна, что с Вами Ваши родные, близкие, друзья, и все Вас любят, это так редко бывает. Я верю и надеюсь на Вас, на Бога, на чудо, на Вашу очарованную душу, которая при всех испытаниях так и не смогла стать разочарованной. И пусть всегда звучит в Вас Ваша «дежурная мелодия», пусть уносит Вас подальше от земных терний дельтоплан мечты, пусть рождаются под Вашим пером светлые, хоть и горькие, строчки стихов. Я храню все Ваши бесценные письма, часто перечитываю и «заряжаюсь» от них больше, чем от берёз, доброй энергией и теплом. Писем мне пишут много, но таких, как Ваши – не было и, наверное, никогда не будет. Столько в них проникновенности, ума, глубины, чувства! Неудивительно, что Ваша внученька и сыновья так Вас любят. Я тоже очень Вас люблю и благодарна судьбе за нашу встречу».

Из стихов Н.Могуевой:

Я встану

Когда на склоне серенького дня
подкосит вдруг болезнь нежданная меня
и прикуёт непрошено к постели,
когда дышать я буду еле-еле,
тогда придут на помощь мне они,
мои лесные ласковые дни.
Я из глубин заветных извлеку
таинственное, нежное «ку-ку».
Под шелест трав и аромат сосны
мне будут сниться золотые сны:
как пели радостно, самозабвенно птицы!
(Вот посвист зяблика, вот теньканье синицы).
Как солнышко светило горячо!
Мне бабочка садилась на плечо
и ящерица у большого пня
доверчиво смотрела на меня.
Как заливался в роще соловей!
Я вновь услышу голоса друзей.
Они зовут меня, они кричат: «Ау-у!»
Я здесь, недалеко! Я к вам иду!

Нина Сергеевна Могуева умерла 20 января 2005 года.
Не дожила до ландышей... В снежные метельные дни я
вспоминаю не только день её смерти, но и день рождения,
который тоже зимой, и её строчки:

Как звёзды на небе яркие!
А на земле – снежинки!
То, Боже, твои подарки
на день рождения Нинки.

Она похоронена на Елшанском кладбище (участок 136,
третий ряд от дороги). В год её смерти я оставила на её мо-
гиле под камушком вот эти стихи:

Дорогая Нина Сергеевна!
Я пишу Вам теперь туда,
где душа Ваша, в ночь развеена,
тихо светится, как звезда.
На могиле трава колышется.
Дни бегут своей чередой.
Мне из писем Ваш голос слышится,
удивительно молодой.
Как мечтой в небесах парили Вы,
сердцу верили, не словам.
Вы когда-то цветы дарили мне,
а теперь я несую их Вам.

Где же тот, кого так любили Вы,
получил ли он злую весть?
Как мне горько сказать, что были Вы.
Но я счастлива, что Вы есть.

Я навсегда сохраню память об этой бывшей – и вечной! – девочке, мудрой и сильной женщине, «очарованной, околдованной» душе. Хочется верить, что когда-нибудь её дневники и письма станут учебниками жизни будущих поколений.

P.S. Две женщины, которых уже нет, но которые навсегда поселились в моём сердце. Обе пожилые, ровесницы, обе – Нины Сергеевны. И хотя они были совершенно разными и даже не были знакомы друг с другом, их многое объединяло, и, главным образом, то, что можно обозначить двумя словами: талант жить. Это постоянная потребность быть в гармонии с собой, со своей душой, совестью. Глубочайшая порядочность. Страстный интерес к мировой культуре, к русской литературе, поэзии. Полнота ощущения жизни, радости бытия. Абсолютное бескорыстие, сердечность, стремление помочь, отдать, сотворить добро. Неистощимая жизненная энергия, сила воли и духа. Великие русские женщины! Нет нового Некрасова, который воспел бы их. Уходят последние могикане, героическое поколение, без которых народ – неполный. Но я счастлива, что они были. Что они есмь.

ЭССЕ

СМЕРТЬ, ГДЕ ЖАЛО ТВОЕ?

Есть темы, которые всегда остаются в поле неотступных мыслей человека. Одна из них – смерть. Мы всё время «помним о смерти» и в глубине души не верим в неё. Лучшие умы человечества оставили нам спасительную иллюзию на этот счёт.

Шопенгауэр: «Человек ограничивает свою реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней... Смерть открывает ему глаза... Впредь сущность человека, которую представляет его воля, будет преобладать в других индивидуумах... Нетленность нашего подлинного существа остаётся вне всяких сомнений».

Чехов: «Умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо высоко и находится вне наших чувств, остаётся жить» (Записные книжки).

Бродский: «Бог сохраняет всё, особенно слова прощенья и любви, как собственный свой голос».

Что такое потусторонний мир? Существует ли он в действительности? Философы объясняют это на таком доступном примере. Представьте себе аквариум, в котором живут рыбки. Мы их кормим, зажигаем свет, меняем воду. А они познают там свой мир. Но чего они никогда не смогут – это перейти на уровень нашего сознания. Между ними и нами – непроходимая пропасть. Так и мы живём в своей повседневной жизни, не понимая и не задумываясь о том, что, кроме нашего сознания, в мире существует более высокое, которое в мировой культуре чаще всего называют божественным.

Человек всё-таки способен, в отличие от рыбок, преодолеть границу между своими чувствами и переживаниями и божественным началом. Но эта пропасть преодолевается лишь в редкие минуты порывов самозабвенной любви, минуты творческих озарений. В такие катарсионные мгновения нам открывается высшая тайна бытия, другой мир приоткрывает свою завесу. Как писал В.Соловьёв:

Милый друг, иль ты не знаешь,
что всё видимое нами –
только отблеск, только тени
от незримого очами?

«Все мы – гарнир к основному блюду, которое жарится где-то Там» (Р.Рождественский). Этой теме посвящена книга «Тао Те Кинг» китайского философа Лао Цзы (5 век до Р.Х.). В переводе это означает: Книга (Кинг) Совести (Те) и Космоса (Тао). Кант не читал этой книги, но он сказал: «Две вещи меня поражали: звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас» (совесть). Лао Цзы сливает эти две вещи в одно, для него есть два образа единого Тао: с одной стороны, несовершенное, изменяющееся «я», с другой – совершенное вечное начало. Наше «я» – это капля, оторвавшаяся от космического океана, которая после смерти возвращается к своим истокам, на свою прародину. Порой это случается и при жизни: в глубоком счастливом сне, в стихах и особенно в музыке удаётся иногда намекнуть, каким образом наше «я» воссоединяется с высшим Тао. Увидеть, ощутить, осознать Тао мы не можем. На все старания понять и выразить словами свою сущность душа отвечает: «Нет, нет, не то». Не есть ли Тао природа, как думали Руссо и Толстой? Или нирвана бытия, как подсказывает буддист? Не так, не то.

Как всадник на горбах верблюда,
назад в истоме откачнись.
Замри – или умри отсюда,
в давно забытое родись.

(В.Ходасевич)

Подобной медитацией в творчестве занимался и Борис Поплавский – один из первых русских поэтов-сюрреалистов, эмигрировавший во Францию в 1918 году. Все стихи Поплавского, а особенно последние, духовно связаны с книгами Лао Цзы. Наиболее характерен в этом плане его четвёртый сборник «Дирижабль неизвестного направления», изданный в Париже в 1965 году, через 30 лет после его смерти. В последние годы Поплавский всё больше отходил от поэзии в сторону религиозной философии, истории религии. В стихах «Дирижабля» он сумел запечатлеть проблески иной жизни. Под впечатлением этих стихов и мыслей у меня родилось тогда стихотворение «Прародина»:

Сквозь волны туманностей, Млечных путей,
Галактик бесчисленных мимо
летит голубая планета людей,
космическим вихрем гонима.

А мы – лишь песчинки, что оторвались
от тьмы мировой океана,
чтоб после вернуться в родимую высь,
в свою праисторию канув.

Как в зной раскалённый прохлады питьё,
как хлеб или воздух, насущен
возврат в изначальное, в прабытиё,
в дремучие дебри и кущи.

Вернуться, сияньем нездешним светясь,
в стихию, откуда мы родом,
и встретить иную свою ипостась,
себя побеждая уходом.

Пыталась к земле прилепиться душа,
но было ей чуждо и серо.
Как будто наполненный воздухом шар,
тянуло её в ноосферу.

Сдержи из глубин твоих рвущийся крик.
И смерть ещё тоже – не вечер!
Нас ждёт несказанный родной материк,
божественных родин предтеча.

Там смысл сокровенный покажется прост,
бессмысленным – опыт, что нажит.
И ангел в венке из серебряных звёзд
нам что-нибудь нежное скажет.

Попытку отразить существование человека после смерти и даже до его рождения, его инобытие, сделал А.Белый в одной из своих литературных симфоний. В этих ранних его произведениях ощутимо влияние Канта, Шопенгауэра, Ницше, работами которых он увлекался. Особенно яркое воздействие оказал на Белого Ницше, в частности, его идея о неизбежном воскрешении человека в будущей жизни, повторение индивидуума.

В 1905 году выходит третья симфония Белого (литературное произведение, которое строилось как бы по законам музыки), где он разрабатывает специальную тему теургии – «вечного возвращения», возврата человека к своим истокам. Она так и называлась: «Возврат».

Первая часть её представляет собой своеобразный вариант библейского предания о потере рая согрешившим человеком. Некий доисторический невинный ребёнок играет на берегу моря. Это прекрасная счастливая жизнь, «вселенная заключила его в свои мировые объятия». У ребёнка есть могущественный благодетель и защитник – «особенный старик», который воплощает Вечность и обладает божественной властью. Однако ребёнка совращают злые силы, подстрекая его любопытство к иной жизни.

Во второй части «Возврата» ребёнок просыпается на земле, в новой своей ипостаси. Теперь он – Евгений Хандриков, сотрудник химической лаборатории. Он влачит

жалкое существование в убогих условиях с некрасивой больной женой, дефективным ребёнком, злыми сослуживцами. Всё это чуждо ему. Зачем-то люди спешат в «притоны работы», в чад лабораторий, в неволю. Окружающие напоминают ему зверей, фавнов, кентавров...

Существование Хандрикова делится по времени суток: днём он – погрязший в быту, в мелочных заботах «маленький человек», существо жалкое и несчастное, а ночью, в сновидениях, когда вскрывается резервуар подсознания, он снова живёт полнокровной природной жизнью «ребёнка», резвящегося на берегу океана, где много солнца, ветра, чистого песка, тепла, где он охраняем стариком – временем, Богом.

Происходит как бы проникновение двух миров: прошлое, миллионлетнее давнее вторгается в настоящее, в современную жизнь молодого человека и отравляет её. Он хочет сорвать путы быта, выйти за сферу эмпирического существования. Но для этого ему надо слиться с океаном вечности, вернуться в стихию, в которой он пребывал в своих грёзах. Затравленный рутинной, изнуренный тоской по своему прошлому, Хандриков в третьей части симфонии попадает в санаторий для душевнобольных и там, в безумии, находит освобождение, вырываясь из тесных пределов этой беспросветной жизни.

Сойдя с ума, он бросается с лодки в озеро и погибает, сливаясь уже навечно с водной стихией, из которой он некогда вышел, с океаном бытия. И обретает себя прежнего, подлинного, настоящего. Там его вновь ожидает добрый Старик – символ вечности.

Истинная родина человека, – утверждает Белый, – космические миры. Это наш духовный материк. Совершая путь жизненной судьбы, человек неизбежно возвращается к своим праистокам. Эта мысль о двуплановости, двубытийности всего сущего станет отныне центральной мыслью А.Белого, которая ляжет в основу не только его поэтических взглядов, но и философских, антропософских, исторических, социальных. Пограничное положение человека – не между добром и злом, как думал Достоевский, – а между бытом и бытием – вот что ещё до Цветаевой увидел Белый и сделал предметом своего изображения. Он стремился разбудить в человеке человека, то есть вывести его за пределы быта, дать ему возможность ощутить связь с бытием, с Вечностью, выявить в нём природные, духовные, естественные качества натуры.

Райнер Мария Рильке в своих «Дуинских элегиях» стремился развернуть новую картину мироздания –

целостного космоса без разделения на прошлое и будущее, видимое и невидимое. Прошедшее и будущее выступают в этом новом космосе на равных правах с настоящим. Вестниками же космоса предстают ангелы – «вестники, посланцы», ангелы – как некий поэтический символ, не связанный – он подчёркивал это – с представлениями христианской религии.

Ангелы (слышал я) бродят, сами не зная,
где они – у живых или мёртвых.

Рильке посвятил Марине Цветаевой элегию, в которой размышляет о незыблемости равновесия космического целого.

О, эти потери вселенной, Марина! Как падают звёзды!
Нам их не спасти, не восполнить, как бы порыв ни вздымал нас
ввысь. Всё смирено, всё постоянно в космическом целом.
И наша внезапная гибель
святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник
и в нём, исцелясь, встаём.
Так что же всё это?..

Так что же тогда такое наша жизнь? Наша мука, наша гибель? Неужели это просто игра равнодушных сил, в которой нет никакого смысла? «Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений?» На этот риторический вопрос Рильке отвечает не прямо, а как бы пересекая его внезапно вторгающимся новым измерением:

Волны, Марина, мы – море! Глуби, Марина, мы – небо!
Мы – тысячи вёсен, Марина! Мы – жаворонки над полями!
Мы – песня, догнавшая ветер!
О, всё началось с ликования, но, переполняясь восторгом,
мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.
Ну что же, ведь жалоба – это предтеча невидимой радости новой,
сокрытой до срока во тьме...

То есть мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнились жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул, но есть нечто иное – весь смысл жизни бутона – цветок, разливающий благоухание далеко за свои пределы. В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.

Любящие – вне смерти.
Только могилы ветшают там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,
припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,
как молодые побеги старого дерева.

Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.
Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,
нет преходящих мгновений.

Что мы знаем о вечности – мы, слабые, ограниченные
смертным сроком, трёхмерностью видимого пространства и
невозможностью представить, как выглядит бесконечность?
Только то, что рассказывали нам о ней поэты. Они кажутся
нам носителями сознания более высокого, чем человеческое.
И, кажется, они знают о смерти больше обычного человека.
Именно с таким чувством читаешь «Посмертный дневник»
Георгия Иванова, поэта, воспринимавшего мир в каких-то
очень больших координатах, жившего на тех вершинах духа,
где сильно разрежен воздух, где всё видно, а дышать больно.
Как будто он глядит на эту реальность, зная о какой-то дру-
гой, откуда и собственная смерть выглядит совершенно ина-
че.

Без числа сияют свечи.
Слаще мгла. Колокола.
Чёрным бархатом на плечи
полночь звёздная легла.

Тише... Это жизнь уходит,
всё любя и всё губя.
Слышишь? Это ночь уводит
в вечность звёздную тебя.

Душа человека. Такою
она не была никогда.
На небо глядела с тоскою,
взволнованна, зла и горда.

И вот умирает. Так ясно,
так просто сгорая дотла –
легка, совершенна, прекрасна,
нетленна, блаженна, светла.

Над бурями тёмного рока
в сиянье. Всего не успеть.
И полною грудью поётся,
когда уже не о чем петь.

Прозрачная ущербная луна
сияет неизбежностью разлуки.
Взлетает к небу музыки волна,
тоской звенящей рассыпая звуки.

Прощай... И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг! И музыка смолкает.
Жизнь размыкает на мгновенье круг
и наново, навеки замыкает.

И снова музыка летит, звеня.
Но нет! Не так, как прежде – без меня.

И ему, как и Пушкину, не помогла эта «чудная, смутная музыка, слышная только ему». Они все обречены. Обречены с рождения. «Проклятые поэты».

Последние годы жизни Бориса Поплавского, по свидетельству его отца, были «глубоко загадочными», как будто он постепенно уходил из мира сего, испытывая всё нарастающую смертельную тоску. У этого «гениального неудачника», как называла его Нина Берберова, не было в жизни ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

Птицы улетели. Молодость, смиришь.
Ты ещё не знаешь, как прекрасна жизнь.
Рано закрывают голые сады.
Тонкий лёд скрывает глубину воды.
Птицы улетели. Холод недвижим.
Мы недолго пели и уже молчим.

«Много знаю. А сердце жаждет смерти», – запись на обложке тетради.

Что же ты на улице, не дома,
не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой,
смотришь без конца на белый снег.
Всё вокруг тебе давно знакомо.
Ты простил, но ты не в силах жить.
Скоро ли уже ты будешь дома?
Скоро ли ты перестанешь жить?

Это голос человека, заглянувшего в бездну. То же ощущение того света как своего дома, знакомое нам по стихам Цветаевой, Рыжего. Поплавского, казалось, не покидало чувство близости своей судьбы, близости Конца, ожидания, «пока на грудь и холодно, и душно не ляжет смерть, как женщина в пальто». словно в далёком предчувствии были написаны эти строки. Его последние стихи звучат как завещание:

Розовый ветер зари запоздалой
ласково гладит меня по руке.
Мир мой последний, вечер мой алый,
чувствую твой поцелуй на щеке.

Тихо иду, одетый цветами,
с самого детства готов умереть.
Не занимайтесь моими следами,
ветру я их поручаю стереть.

В дневнике он часто возвращался к мысли о смерти: «Что толку, если сама жизнь есть мука? Мы умираем, в гибели видя высшую удачу, высшее спасение». Это главный мотив дневника. Соблазн гибели. Притяжение и соблазн смерти. «Наш лозунг – погибание». Он ушёл из жизни обиженным и непонятым.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
ярким, жадным, грубым, остальным.

Смерть пришла к этому гениальному неудачнику как избавительница.

Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.
Скоро, скоро над твоим ночлегом
новый ангел сине-бело-красный
с радостью взлетит к лазурям неба.

Читаешь эти строки – и происходит чудо. На коротком отрезке пути от сердца поэта к сердцу читателя все мрачные слова преобразуются и начинают светиться, помогая нам свободней и легче дышать. Таково свойство всякой истинной поэзии, какой бы мрачной и грустной она ни была. Не нужно бояться этого мрака. «И в трагических концах есть своё величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых», – говорит устами волшебника из знаменитой сказки «Обыкновенное чудо» мудрец Григорий Горин.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется, и пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляя нас
порою вдаль смотреть.

(И. Бродский).

Боялись ли они смерти? «И не страшно мне ложе смертное», – заявляет Цветаева, и ей веришь: этой ничего не страшно, её ад – в её душе. Фет тоже не боялся смерти – только физических мучений. И его предсмертная записка, в которой он писал, что «сознательно идёт навстречу неизбежному», то есть решается на самоубийство, чтобы

избежать телесных страданий, – тому безусловное подтверждение. Стихов о смерти у него почти и не было, а в стихотворении «Смерть», написанном в 1878 году, в старости, он утверждал: «Но если жизнь – базар крикливый Бога, то только смерть – его бессмертный храм».

Георгий Иванов умер на больничной койке, до последнего дня ведя свой «Посмертный дневник».

Ночь, как Сахара, как ад, горяча.
Дымный рассвет. Пыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
я Размахайчика в чёрном венке,
лапки и хвостика тонкая нить...
«В смерти моей никого не винить».

Таким же трезвым и беспристрастным был взгляд на смерть В.Ходасевича, который скончался 14 июня 1939 года после тяжёлой операции:

Ухожу. На сердце – холод млеющий,
высохла последняя слеза.
Дверь закрылась. Злобен ветер веющий,
смотрит ночь беззвёздная в глаза.
Ухожу. Пойду немymi странами.
Знаю: на пути – не обернусь,
Жизнь зовёт последними обманами...
Больше нет соблазнов. Не вернусь.

«Мы все умираем, – писал Франческо Петрарка. – Я – пока пишу, ты – пока читаешь, другие – пока слушают или пока не слушают...». Буднично и с какой-то горькой беспечностью писал о своей будущей смерти Н.Рубцов:

Да! Умру я! И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана – в лоб!
Может быть, гробовщик толковый
смастерит мне толковый гроб...
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть так!
Жалкий след мой будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется всё, как было
на земле, не для всех родной.
Будет так же светить Светило
на заплёванный шар земной.

Не обольщается по поводу посмертной всенародной любви к себе и Г.Иванов:

Сухо шелестит омела,
тянет вечностью с планет...
И кому какое дело,
что меня на свете нет?

У Софии Парнок есть потрясающий сонет о смерти, где она высмеивает романтические штампы, с которыми принято было описывать приход смерти. Она-то знала, как грубо, беспощадно, а главное, некрасиво разделяется с нами жизнь, и была убеждена, что смерть придёт за ней не такой, какой обычно изображают её в стихах поэты:

Вот так она придёт за мной
не музыкой, не ароматом,
не демоном темнокрылатым,
не вдохновенной тишиной, —
а просто — пёс завоет, или
взовьётся взвизг автомобиля,
и крыса прошмыгнёт в нору.
Вот так! Не добрая, не злая,
под эту музыку жила я,
под эту музыку умру.

У Гоголя в «Страшной мести» сказано: «Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа её». Душа наша знает больше нас. Она больше нас настолько же, насколько небо и море больше нас. Когда мы видим небо и море — не когда скользим по ним взглядом, полные собственных мыслей, а когда видим их, останавливаемся и замираем перед этой бесконечностью — нас вдруг охватывает чувство вечной жизни. Мы ощущаем тогда, что Бесконечность эта не чужая нам, что она, может быть, роднее всех вещей, всех привязанностей. Она не только перед нами и над нами. Она — в нас. У нас внутри — Тайна. Человек, знающий тайну своей глубины — знает Бога. Ибо Бог и есть тайна нашей глубины.

В стихах Ларисы Миллер я нашла то, чего мне так не хватало в других современных поэтах — разговор о том, как человек справляется с жизнью, как он чувствует себя перед лицом вечности. Я была потрясена невероятной простотой этой поэзии. Она голенькая: ни оборочек, ни рюшечек — стихи из ничего. И при этом так цепляют! Её стихи стали для меня больше, чем стихи.

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
научили бы, как принимать
эту горькую жизнь и как в случае боли
эту боль побыстрее снимать.

Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
с этой жизнью, как справиться с ней —
беспощадной и нежной — и как с ней прощаться
на исходе отпущенных дней.

Стихи Миллер и стали для меня такой «инструкцией». Их хотелось выписать, выучить и жить по их «рецептам». В них и молитва:

Ночь метельная была.
Ангел мой, раскрыв крыла,
обойми меня, закутай,
не пускай на холод лютый.

Всё зачинает, чтоб вновь погубить,
Ангел мой ласковый, дай долюбить.

И заклинание:

Всё переплавится. Всё переплавится.
В облике новом когда-нибудь явится.
Нету кончины. Не верь в одиночество.
Верь только в сладкое это пророчество.

Тот, кто был другом единственным, преданным,
явится снова в обличье неведомом –
веткой ли, строчкой. И с новою силою
будет шептать тебе: «Милая, милая».

И утешение:

Ну успокойся, успокойся.
Живи и ничего не бойся.

Всё поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
над чем сегодня слёзы льём,
окажется прошедшим днём,
полузабытым и туманным
и даже, может быть, желанным.

И надежда:

Поверь, возможны варианты.
Изменчивые дни – гаранты
того, что варианты есть.

Осенний ветер гонит лист и ствол качает.
Не полегчало коль ещё, то полегчает.
Вот только птица пролетит и ствол качнётся,
и полегчает наконец, душа очнётся.
Душа очнётся наконец и боль отпустит.
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте
и в шелестении листвы. Под этой сенью
не на погибель всё дано, а во спасенье.

Поэзия Миллер – это трепет радости и боли одновременно.

Небо к земле прилегает неплотно.
В этом просвете живём мимолётно.
И, попирая земную тщету,
учимся жизнь постигать на лету.
Чтоб надо всем, что ветрами гасимо,
стёрто, повержено, прочь уносимо,
духу хватало летать и летать,
и окрыляться, и слёзы глотать.

Это – жизнь с ощущением вечной иглы в сердце.

Дни текли. Душа алкала.
Кошка с блюдечка лакала.
В небе плыли облака
далеко, издалека.

Ни в четверг, ни в воскресенье
не нашла душа спасенья.
Кошка с блюдечка пила,
тучка по небу плыла,
проплывала в небе синем...
Нынче здесь, а завтра сгинем,
кошке сливочек налив
и души не утолив.

Поэтическая речь Ларисы Миллер непривычно для нас сдержанна. Она словно стесняется пафосности, открытой эмоциональности. «На тьму лирических словес наложим вето», – пишет она.

Ждали света, ждали лета,
ждали бурного расцвета
и благих метаморфоз,
ждали ясного ответа
на мучительный вопрос.

Ждали сутки, ждали годы
то погоды, то свободы,
ждали, веря в чудеса,
что расступятся все воды
и дремучие леса...

А пока мы ждали рая,
нас ждала земля сырая.

Мы у вечности в гостях
ставим избу на костях,
ставим избу на погосте
и зовём друг друга в гости:
«Приходи же, милый гость,
вешай кепочку на гвоздь».
И висит в прихожей кепка,
и стоит избушка крепко,

в доме радость и уют,
в доме пляшут и поют,
топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.

Существует огромное пространство, в которое мы все заброшены, и несущее нас время. Всё, что в стихах Миллер – продиктовано этим. У неё страстное желание во что-то спрятаться: «Под небесами так страшно слоняться. Надо хоть как-то от них заслоняться». «Как страшно жить», – вдруг вспомнилась присказка Ренаты Литвиновой. Но, в самом деле, если вдуматься – охватывает чувство экзистенциального отчаяния. Никаких гарантий, никакой внешней защиты!

Погляди-ка, мой болезный,
колыбель висит над бездной,
и качают все ветра
люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
со своей судьбой играем,
и добротный строим дом,
и рожаем в доме том.
И цветёт над лёгкой зыбкой
материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
край пелёнки кружевной.

Это отголоски прозы её любимого Набокова: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шёпот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально чёрными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну прижизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырёх тысяч пятисот ударов сердца в час («Дар»).

Основное чувство от поэзии Ларисы Миллер – это ощущение хрупкости и непрочности бытия. Всё так невечно, зыбко, разрушительно в этом мире... Но и одновременно очень весомо и значимо. Каждая частица бытия связана невидимыми нитями с чем-то, чего не увидишь глазами, но что является смыслом и сутью всего видимого, явного, что «знает из опыта» наша генетическая память.

И замысел тайный ещё не разгадан
тех линий, которые дышат на ладан,
тех линий, какими рисована былль.
И линии никнут, как в поле ковыль.
Мелок, ворожа и танцуя, крошится,
и легче легчайшего жизни лишиться.

Когда и не думаешь о роковом,
тебя рисовальщик сотрёт рукавом
с туманной картинке, начертанной всуе,
случайно сотрёт, чей-то профиль рисуя.

Наш рай земной невыносим.
На волоске с тобой висим...

Пронзительное понимание того, что «жизнь и любовь не прочней волоска», почти физиологическое ощущение бездны, которая буквально в двух шагах. Точно идёшь по очень тонкому льду и можешь рухнуть. Иные творческие натуры сами ищут этой потерянности в бездне, упоения на её краю. Миллер не ищет. Но она сама находит её.

Ты сброшен в пропасть – ты рождён.
Ты ни к чему не пригвождён.
Ты сброшен в пропасть – так лети.
Лети, цепляясь по пути
за край небесной синевы,
за горсть желтеющей травы,
за луч, что меркнет, помелькав,
за чей-то локоть и рукав.

Она предпринимает отчаянную попытку ухватиться за что-то в этой неустойчивости, непрочности бытия:

Но в хаосе надо за что-то держаться,
а пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
которых не смыли дожди проливные,
за ежесекундный простой распорядок
с настольною лампой за кипой тетрадок,
с часами на стенке, поющими звонко,
за старое фото и руку ребёнка.

Первейшая задача поэта, как её понимает Л.Миллер, – гармонизировать хаос и мужественно, достойно пройти земной путь между колыбелью и бездной. И она протягивает нам эту соломинку спасения всем тонущим, руку помощи, фонарик, лучик света, которым освещает мрак и холод бытия.

Тьма никак не одолеет,
вечно что-нибудь белеет,
теплится, живёт,
мельтешит, тихонько тлеет,
манит и зовёт.
Вечно что-нибудь маячит...
И душа, что горько плачет
в горестные дни,
в глубине улыбку прячет,
как туман огни.

В благодатных стихах Миллер нет благостности, сусального елеса. Она – не церковный человек, природное чувство фальши удерживает её от придуманной веры, но есть в её стихах и нечто религиозное, если понимать под религиозностью то, что помогает испытать чувство вечности.

Что за жизнь у человечка:
он горит, как Богу свечка,
и сгорает жизнь дотла,
так как жертвенна была.
Он горит, как Богу свечка,
как закланная овечка
кровью, криком изойдёт
и утихнет в свой черёд.
Те и те, и иже с ними;
ты и я горим во Имя
Духа, Сына и Отца –
жар у самого лица.
В толчее и в чистом поле,
на свободе и в неволе,
очи долу иль горе –
все горим на алтаре.

Мне очень дорога непоказная, целомудренная душевность и человечность стихов Ларисы Миллер. Она неприторно болеет за всё живое, и в её присутствии чувствуешь себя уже не так одиноко и заброшенно.

Смертных можно ли страшать?
Их бы холить и прощать,
потому что время мчится
и придётся разлучиться,
и тоски не избежать.
Смертных можно ль обижать,
изводить сердечной мукой
перед вечною разлукой?

В сущности, это переключка с цветаевским: «Послушайте! Ещё меня любите за то, что я умру!».

Религиозным философом Рудольфом Штейнером, основоположником антропософского учения, была выдвинута идея, что прожитый человеком отрезок от рождения до смерти – лишь незначительная часть его вечного существования. Человек не впервые живёт в этом мире, он уже существовал в нём некогда, о чём свидетельствует человеческая интуиция. Она-то и связывает человека с вечностью, с праисторией, опыт которой откладывается в подсознании. Категория вечности давала опору людям слабым, неудачникам, не нашедшим себя в действительной жизни. Теория Штейнера давала надежду обрести себя заново, в ином существовании.

Человек привыкает
ко всему, ко всему.
Каждый год получает
по письму, по письму.
Это в белом конверте
ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
содержанье письма.

(А.Кушнер)

Есть ли жизнь на том свете? Наверное, нет поэта, который бы над этим не задумывался, не пытался как-то для себя ответить на этот вопрос. Фёдор Сологуб попытался сделать это буквально. После похорон жены он заперся у себя в кабинете и две недели никуда не выходил и никого не принимал. Когда же, опасаясь за жизнь и рассудок поэта, к нему заглянули, то увидели Сологуба за столом, заваленным листками бумаги с каким-то цифрами, уравнениями. «Это дифференциалы», – спокойно пояснил он. Математик по профессии, он решил с помощью дифференциалов проверить, вычислить, существует ли загробная жизнь. И проверил. И убедился, что существует. Он стал снова появляться в Доме литераторов – спокойный, даже повеселевший. Причиной хорошего настроения стала уверенность в неминуемой встрече с Анастасией. Скоро он с ней соединится. Уже навсегда.

Мой ангел будущее знает,
но от меня его скрывает,
как день томительный сокрыл
безмерности стремлений бурных
под тению своих лазурных,
огнями упоённый крыл.
Я силой знака рокового
одно сумел исторгнуть слово
от духа горнего, когда
сказал: «От скорби каменею!
Скажи, соединюсь ли с нею?»
И он сказал с улыбкой: «Да».

Сологуб не выносил грубой жизни, он мог бы сказать про себя вместе с Достоевским, что чувствует себя так, как будто с него содрана кожа. Всякое прикосновение извне отзывается в нём мучительной болью. Жизнь представляется Сологубу румяной и дебелой бабищей – Евой, в отличие от прекрасной лунной Лилит – его мечты. Она кажется ему вульгарной, пошлой, лубочной. Поэт хочет переделать её на свой лад, вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус ко всему тихому, тусклому, беззвучному,

бестелесному. Чем-то Сологуб в этом смысле напоминает Бодлера, который предпочитал покрашенное и набеленное лицо живому румянцу и любил искусственные цветы. Он боялся жизни и любил Смерть, имя которой писал с большой буквы и для которой находил нежные слова. Его называли Смертерадостным, рыцарем смерти.

Я холодной тропой одиноко иду,
я земное забыл и сокрытого жду, —
и безмолвная смерть поцелует меня,
и к тебе уведёт, тишиной осень.

У Сологуба появляется культ смерти. Он создаёт миф о смерти-невесте, подруге, спасительнице, утешительнице, избавляющей человека от тягот и мучений.

О Смерть! Я твой. Повсюду вижу
одну тебя, — и ненавижу
очарование земли.
Людские чужды мне восторги,
сраженья, праздники и торги,
весь этот шум в земной пыли.

Но в последние годы жизни поэт стал иным. Стихи последних лет отмечены знаками смирения, умиления, тихой печали. И уже не к дьяволу он обращается в них, а к Богу.

Подыши ещё немного
тяжким воздухом земным,
бедный, слабый воин Бога,
весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
вот — и памяти уж нет...

Последние стихи его приближались своей мудростью к тютчевским, и сам он последние годы внешне разительного напоминал Тютчева. «Старик весь как-то просветлел, — писал А.Белый. — Он ищет людей, ласки, общения. Ему это нужно, хоть он и готов отрицать это. Перед смертью он силится вобрать всё в себя и на всё отозваться».

И просил я у милого Бога,
как никто никогда не просил —
подари мне ещё хоть немного
для земли утомительной сил.

Умирал он долго и мучительно. И тут только выяснилось, что этот «поэт смерти», всю свою жизнь её прославлявший, совсем не любил её и боялся. Он яростно отмахивался при разговорах на эту тему: «Да мало ли что я писал! А я хочу жить!» — и до последней минуты он цеплялся за

жизнь уже ослабевшими руками, шепча стихи, как молитву:

У тебя, милосердного Бога,
много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
чтоб я новые песни сложил.

Но новых песен ему сложить уже не довелось.

Из многих стихов поэтов видно их явственное, почти физическое ощущение потустороннего мира. Как писал А.Кушнер:

Я готов под сомнение поставить честь
свою, впрочем, об этом и Еврипид
рассказал, и все древние: что-то есть,
что-то есть. Значит, кто-то за всем следит.

Тема жизни после смерти давно интересует писателей всех времён и народов. Она поднимается и в произведениях многих современных писателей, например, в повести Л.Улицкой «Казус Кукоцкого», не так давно удостоенной Букеровской премии, где действие во второй части книги происходит в потустороннем мире. Но у неё жизнь героев просто автоматически переносится в некую ирреальную пустыню, где всё почти так же, как на земле. Гораздо интереснее это решается в книге рассказов Людмилы Петрушевской «Найди меня, сон». Там жизнь героев так плавно переходит в иное измерение, что они порой сами не догадываются, что живут уже в нездешнем мире. Причём в конце каждого рассказа даётся какое-то реальное объяснение мистическим моментам (сон, наркотический бред, состояние после наркоза на операции), то есть правда жизни не страдает, но при этом такие прорывы в экзистенциальные глубины и высоты человеческого сознания, такие потрясающие прозрения, что дух захватывает.

Когда читаешь эту книгу, кажется, что стоишь перед мерцающей поверхностью зеркала, за которой начинается тревожащий послежизненный мир. И, подчиняясь льющейся мелодии окутывающих тебя слов, ты медленноходишь сквозь зеркало в запредельность, блуждаешь по его полутёмным лабиринтам, встречаешь жутковатых людей в гулких комнатах, говоришь с ними... Но в какой-то момент, будто опомнившись, быстро летишь назад, выпрыгиваешь из зеркала в нынешнюю жизнь, облегчённо вздыхаешь и – задумываешься о месте, в котором только что побывал. Идёт мучительное рождение главного человеческого вопроса: что нас ждёт за пределами смерти? А точнее – есть ли способ спасти свою душу?

Мне будет вечно сниться дождь
и шум листвы у изголовья
каких-то баснословных рощ
бесчасья или безвековья.

Мне будет вечно сниться путь,
скрывающийся за холмами,
которым позабыл шагнуть,
как снится детский сон о маме.

Мне будет вечно сниться дождь
с почти расплывшейся страницы
и то, как ты меня зовёшь,
и я встаю, мне будет сниться.

(В.Соколов)

Мне приснился странный сон. Мама и её покойная подруга Галя. Утро. Я заглядываю в холодильник, там почти пусто. Собираюсь то ли на базар, то ли готовить завтрак. Спрашиваю маму, что они будут есть. Она как-то неуверенно мнётся, что-то неопределённое бормочет. Они переглядываются с Галей, не зная что ответить. И я вдруг догадываюсь о причине смущения: они ведь неживые и ничего не едят. А Галя приподымается с кровати и говорит мне истово: «Царствие тебе небесное!» Я прямо отшатнулась от неожиданности. «Вы что! – почти кричу. – Вы что, с ума сошли? Что Вы такое говорите!» – думая, – я ведь живая, живым этого не говорят. И задумываюсь: живая ли? Или ей что-то известно о том, что я скоро буду нежива?

До свиданья. Догорают свечи.
Как мне страшно уходить во тьму.
Ждать всю жизнь и не дожидаться встречи
и остаться ночью одному.

Я не могу читать без боли эти строки А.Вертинского. Мне сразу вспоминается отец, его страшная одинокая смерть, последнее одиночество мамы, брата. «Каждый умирает в одиночку» – есть такая книга, которую я прочитала ещё в детстве, ничего в ней не поняла, не запомнила, кроме этого названия, каким-то грозным пророчеством запавшего в душу.

Вспомнила стишок-экспромт, который мне преподнесли слушатели после моей лекции «Смерть, где жало твоё?»:

Позвольте нам посметь в особый этот час
всю душу Вам открыть, прелестная пророчица:
мы слушаем про смерть, но вот глядим на Вас,
и хочется нам жить, и умирать не хочется!

Дай бы Бог соответствовать этому идеалу.

Мне часто в последнее время вспоминается брат, последние месяцы и недели его жизни. Наши кровати стояли напротив друг друга, и мне было не по себе видеть, как он часами лежал, скрестив руки на груди и уставив взгляд в потолок. «Ты что лежишь, как мертвец!» – одёргивала я его. Но мне и в голову не приходило тогда, что он действительно... что он репетировал свою смерть. Когда он отворачивался к стене, спинка кровати задевала за оконную раму и раздавался глухой стук, от которого я просыпалась. Меня это раздражало, злило.

А потом – когда его уже не было – ночью ветром толкало раму, она задевала за его кровать и – снова этот звук. Я просыпалась с готовыми сорваться с языка словами досады, а кровать напротив – пуста. И слова застревали в горле. «Он мне спать не давал. Он с рассветом вставал. А теперь – не вернулся из боя». – Для меня строки этой песни наполнены своим смыслом.

Тогда по телевизору – это был 1969 год – по воскресеньям шла передача Иванова и Трифонова «Будьте счастливы». Мы смотрели её с Лёвкой. «Будьте, пожалуйста, счастливы», – лучезарно улыбаясь, уговаривали ведущие с экрана, когда я тупо уставилась в него на другой день после похорон. В первый раз меня поразило несоответствие окружающей жизни твоему горю. Всё идёт по-прежнему, мир не перевернулся.

«Всё теперь одному...» Я жаловалась в своём дневнике, что родители больше внимания уделяют брату, ревновала. Ожгла мысль: а вдруг он прочёл?! Вдруг это как-то повлияло... И теперь мне – удвоенная любовь мамы, отца, бабушки – как его посмертный дар. И вечный укор.

Вяз с поломанными бурей ветками заглядывает в окно кухни, словно это он заглядывает мне в лицо. Я чувствую вину и груз ответственности, возрастающей с годами. Ведь я живу и за него тоже, за его непрожитую жизнь. За девочку, которую хотели назвать Маринкой, умершую за год до моего рождения. Маме объявили тогда в роддоме: «Кравченко! Ваша дочь умерла». За всех не рождённых мамой детей. Успеть бы, успеть как можно больше.

Так явственно со мною говорят
умершие, с такою полной силой,
что мне нелепым кажется обряд
прощания с оплаканной могилой.

Мертвец – он, как и я, уснул и встал –
и проводил ушедших добрым взглядом...
Пока я жив, никто не умирал.
Умершие живут со мною рядом.

Это Вениамин Блаженный.

А ещё я часто вспоминаю Нину Сергеевну Могуеву, её последние письма. В одном из них, она по-матерински предостерегая меня от «стычек с этими» и высказывая пожелание, чтобы в моей новой книге было больше светлого, писала: «А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих советах идти в сиянный храм), «стихи не пишутся – случаются». Что случится, то и будет. И не слушайте Вы старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили, и напевали ей сладким голосом райские песни» (5.06.04).

Эти строчки её письма у меня слились в сознании с не-красовскими строками из стихотворения «Баюшки-баю», когда в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит давно умершая мать и говорит ему светлые утешительные слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:

Усни, страдалец терпеливый,
свободный, гордый и счастливый,
увидишь родину свою,
баю-баю-баю-баю.
Ещё вчера людская злоба
тебе обиду нанесла,
всему конец: не бойся гроба,
не будешь знать ты больше зла.
Не бойся клеветы, родимый,
ты заплатил ей дань живой,
не бойся стужи нестерпимой,
я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья,
уж я держу в руке моей
венец любви, венец прощенья,
дар кроткой родины твоей.
Уступит свету мрак упрямый.
Услышишь песенку свою
над Волгой, над Окой, над Камой –
баю-баю-баю-баю...

Вот каких стихов подсознательно ждала от меня её измученная душа – утешающих, просветленных. А я была занята литературной борьбой, расчисткой авгиевых конюшен.

Недавно мне попала в руки последняя книга И.Алексеева «Трамвай живых». Это были уже совсем другие стихи, сильно отличающиеся от тех, что я резко критиковала три года назад в «Ангелах ада» («Тут конец перспективы»). Когда Лидия Гинзбург слышала стихи юного Бродского, она сказала А.Кушнеру: «Это серьёзно». Когда я прочла последние стихи И.Алексеева, я подумала этими же словами:

«Это серьёзно».

...А человек засыпает, спасён,
от равновесий любви и разлуки.
Слышит он сквозь посторонние звуки:
«Спи, мой любимый, забудь обо всём».

Чувствуя прикосновенье руки,
он распадается под одеялом,
слыша: «На нас не таращится дьявол.
Это у страха глаза велики.

Здесь никого. Мы с тобою вдвоём.
И далеко беспощадное утро.
Мы не расстанемся ни на минуту.
Жили мы вместе. И вместе умрём».

Вновь тишина воцаряется, лишь
голос в ответ дребезжит, убывает:
«Ты говори, только так не бывает.
Так не бывает, как ты говоришь».

Странная переключка этих строк с некрасовским «Баю-баю», с «Посмертным дневником» Г.Иванова, с предсмертными стихами Р.Рождественского, Б.Рыжего. Эти поэты раскрылись во всю мощь перед лицом неотвратимой смерти. «Memento mori». Но одно дело – помнить, и другое – знать. «Верующая? Нет. Знающая из опыта» (Цветаева).

Горькая усмешка на губах. Обречённость. Мужество. И отчаянный страх. Это уже совсем другой человек. Всё наносное слетело с него, и под сброшенной маской крутизны и брутальности оказался испуганный мальчик, цепляющийся за руку любимой.

Я стараюсь не ныть и не жаловаться по мелочам.
Я даже пытаюсь пореже к тебе подходить.
Я только изредка прикасаюсь к твоим плечам,
как бы проверяя, цела ли меж нами нить.

Ты можешь задерживаться насколько угодно – я пойму.
Ты можешь даже однажды совсем не прийти.
Ты знаешь, иногда мне легче быть одному.
Есть на свете маршрут, по которому нам не по пути.

Это уже по ту сторону... Даже если бы стихи были плохи – о них нельзя было бы судить как о всех прочих. Но стихи хороши. – Нет, это тоже не то слово. Любое слово тут не то.

Сильный мужчина. Слабый мальчик. Сочувствие и жалость сменяются уважением, восхищением, благодарностью. Но «какой ценой купил он право» стать тем, кем он стал в поэзии? Ведь от строк «но мужчина я здоровый, мне без баб никак нельзя» – до этих стихов – дистанция огромного

размера. Это два разных человека. Но неужели такой ценой? Боже мой, неужели только такой ценой...

И невольно думаешь: пусть бы он был тем, прежним – заносчивым, грубым, новым русским, гоняющим на «Мерседесе», трахающим баб, но живым, «живым и только», в самом буквальном смысле этого слова. Чтоб «смотреть на Небеса просто как на небеса».

Но я горжусь тем, что могу острить,
хотя, увы, довольно мрачно.
Какая-то дурацкая расплата.
Да и за что, но некого спросить.

Неужели всё это было послано ему лишь затем, чтобы он понял, что главное в человеческой жизни, и стал иным? Чтобы, как сквозь негатив, проступили его подлинные черты, о которых он сам не подозревал? Это мне напомнило рассказ Т.Толстой «Чистый лист». Он всё-таки сделал эту операцию по пересадке души. Но это – смертельно.

Спаси меня не знаю кто!
Людей таких не существует.
Утешь, угрей, накинь пальто,
мне отовсюду смертью дует.

Прекрасна тьма, небес волшба,
в сугробе яркая лачуга.
А гибель – жёсткий контур чуда,
та дверь – в которую вошла. –

писала смертельно больная Татьяна Галушко. Поэт не вмещается в прокрустово ложе земного существования. Марине Цветаевой было тесно в телесной оболочке. «В теле – как в трюме, в себе – как в тюрьме». И – совсем ясно: «Мир – это стены. Выход – топор». «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплётыв». И – как итог всего – «Поэма воздуха», в которой она попыталась прикоснуться к потустороннему миру, передать ощущение от полёта в Ничто (в смерть). Она пишет её в 1927 году, в 35 лет. Поэму, которую можно было бы назвать поэмой удушья, самоубийства. Это вопль одиночества и безутешности, исторгнутый из души, которой нечем больше дышать.

В ней Цветаева как бы репетирует свою смерть. Это потрясающее прозрение о всемогуществе духа, победившего плоть. Это самая отвлечённая и трудная для восприятия поэма Цветаевой. Ахматова назвала её «заумью». Она кажется закодированной, зашифрованной. Её фабула – цепь последовательных переходов из одного состояния, которое может испытать умирающий, – в другое, показ, что может чувствовать задыхающийся в петле человек. Каждый

этап, пройденный умирающим, описан подробно, почти физиологично.

«Поэма воздуха» – это своеобразный философский трактат о посмертном блуждании духа, вобравший в себя отдельные элементы различных идеалистических систем, из Канта, В.Соловьёва, Шопенгауэра. И всё же модель мира, представленная здесь Цветаевой, – её сугубо индивидуальная поэтическая гипотеза. В её понимании мир разделён на земной, плотский и мир небесный, мир идеального несуществования, свободный от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, ибо душа, по Цветаевой, есть вместилище чувств и желаний, связанных с землёй и плотью. Там же – мир чистой мысли, почти безжизненное отвлечённое пространство некоего мирового стерильно чистого разума.

Её манила эта тайна, неуловимая грань, отделявшая небытие от бытия. У неё всю жизнь был роман со смертью, с небытием, с запредельностью. Рано или поздно она должна была уйти. Вопрос был только в сроках.

В январе 1925 года, с нетерпением ожидая рождения горячо желанного сына, она пишет стихи о... смерти:

...Расковывает
смерть – узы мои! До скорого ведь?
Предсмертного ложа свадебного
последнее перетрагиванье.

Марина Цветаева, великий поэт, была создана природой словно бы из иного вещества: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных измерений в миры иные, о существовании которых знала непреложно. («Верующая? Нет. Знающая из опыта»). С ранних лет она знала и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что поэты – пророки, что стихи сбываются, и ещё в ранних стихах предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной. Это тайновидение с годами усиливалось, и существовать в общепринятом «мире мер» становилось всё труднее.

Что же это было? Вероятно, страдание живого существа, лишённого своей стихии: человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, это страдание, непостижимое для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством, цветаевских чувств и страстей, её феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идёт именно от этих, не поддающихся рассудку мук.

Мятущемуся естеству Цветаевой было тяжело, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не литература,

это состояние. Что ей было делать «с этой безмерностью в мире мер»? Её страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа 1941 года слились воедино.

Уже и не светом,
каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли... И – обрывается связь.

В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения уникального поэта Константина Случевского. Его всегда притягивала тема вечности – и в «Профессоре бессмертья», и в «Загробных песнях», и в «Песнях из «Уголка». И теперь при звуке его имени тут же вспоминается: «Меня в загробном мире знают...».

Вениамин Блаженный (Айзенштадт) ощущает и изображает смерть в своих стихах как запредельную и спасительную для живого, пребывающего в экзистенциальном тупике, область:

Есть у меня страна, в которую всё время
могу я улететь, как ведьма на метле.
Да только жаль, что «смерть» она зовётся всеми, –
и мне её, как всем, назвать велели смерть.

Как об избавительнице от мук пишет о смерти Борис Чичибабин в одном из самых горьких и страшных своих стихотворений «Сними с меня усталость, мать Смерть...»

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

Он приникает к ложу смерти, как блудный сын к коленям слепого отца, словно говоря: «Сними с меня всё наносное, всё мелкое, всё недостойное вечности. Сними. Вот я, весь перед тобой».

Мне книгу зла читать не вмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
накрой рядом худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть легко и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Эта усталость кажется не только чичибабинской, но какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.

Борис Слуцкий думал о смерти как об избавлении от безысходного одиночества, неотступающих мук. Туда толкала его боль, отчаяние.

На полупhrазе, нет, на полуслове,
без предисловий и без послесловий,
на полузвуче оборвать рассказ.
Прервать его притом на полуноте,
и не затягивать до полуночи,
нет, кончить всё к полуночи как раз.

Ему вторит Борис Рыжий: «Ты меня отпусти, я живу еле-еле. //Я ничей навсегда, иудей, психопат». Он совсем не таков, каким может показаться неискущённому или невнимательному читателю. Многие поклонники таланта Рыжего, привлечённые блатной прикольной интонацией, ультрасовременной лексикой его стихов, не способны слышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии, довольствуясь её поверхностным слоем. Разумеется, хулиганский жаргон и приблатнённый лирический герой Рыжего – не просто модный прикид и дань времени, что-то такое было, конечно, в составе его крови. Но только экзистенциальная бездна, раскрывающаяся за лучшими стихами поэта – иного качественного размаха, иного масштаба.

Чтобы жизнь трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива,
в небесах музыка сочинялась
вечная – на смертные слова.

В 1995 году в литературном приложении к газете «Горняк» Свердловска были впервые опубликованы стихи студента 4 курса геофизического факультета Бориса Рыжего об английском манекене в витрине ЦУМа.

И дождливый светился ЦУМ
грязно-жёлтым ночным огнём.
«Ты запомни его костюм –
я хочу умереть в таком...»

Все его стихи – о любви и о смерти. Ни о чём другом он не хотел, а может, и не умел писать.

Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки.
Чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
разорвать белокрыло...

Интонация смерти есть в стихах любого крупного поэта. Но страшно, когда она овладевает им целиком. Смертяшкина не любит, когда с ней заигрывают. Рыжий дразнил страшных гусей. Он заигрался в смерть. Теперь, после его гибели, многие его строки обретают пророческий смысл, предвосхищают тот последний майский рассвет. В них отчётливо слышится упоение «страшной бездной».

Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.

Отрешённость водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли
и меня, и меня.

До отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом жёлтом автобусе
с полосой голубой.

Но с кем бы я ни повстречался,
какая бы со мной беда,
я не кричал и не стучался
в чужие двери никогда.

Зачем – сказали б – смерть принёс ты,
накапал кровью на ковры...
И надо мной мерцали звёзды,
летели годы и миры.

Готовность к самоубийству в Рыжем жила давно. Это решение назревало, набухало буквально на глазах. Он давно знал, что уйдёт. Непреложно знал.

Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далека-далека,
в граде Екатеринбурге с гордо поднятой главой,
за туманом различая бездну смерти роковой.

В его готовности к смерти было много от цветаевского отношения к ней. Смерть была её обитель, её дом, где всё было обжито ею в мыслях, снах и стихах, всё было ей родное. На небо – значило: домой. Не «домой с небес», как у Поплавского, а домой на небеса. И у Рыжего читаем:

...И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья –
вернее, всё, что разрушаем мы –
в иное переходит измеренье.

И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь и, знаешь, там я дома.

Стихи из его последней подборки в «Знамени»:

Над домами, домами, домами
голубые висят облака –
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной –
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...

Впрочем, жизнь после смерти не исключает и наука. Эту мысль развивает в своих натурфилософских поэмах Николай Заболоцкий, который, в свою очередь, аккумулировал в них идеи Вернадского, Циолковского, Филонова, Хлебникова – о кровной связи всего живого: людей, животных, растений.

Заболоцкий утверждал, что смерти не существует. В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек – часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. В стихотворении «Кузнечик» он писал:

Настанет день, и мой забвенный прах
вернётся в лоно зарослей и речек.
Заснёт мой ум, но в квантовых мирах
откроет крылья маленький кузнечик.

Довольствуясь осколком бытия,
он не поймёт, что мир его чудесный
построила живая мысль моя,
мгновенно затвердевшая над бездной.

На Заболоцкого сильное впечатление произвели слова Гёте: «Я не сомневаюсь, что наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией (целенаправленной жизненной силой).

Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть». То есть, бессмертны те люди, которые в жизни проявили себя как творцы, мыслители, созидатели, великие личности. Их душа, их мысли, аура остаются в природе. С этими словами Гёте перекликаются стихи Заболоцкого:

Вчера, о смерти размышляя,
ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
всё, всё услышал я – и трав вечерних пенье,
и речь воды, и камня мёртвый крик.

И я, живой, скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нём лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытие,
и сам я был не детище природы,
но мысль её! Но зыбкий ум её!

Идея метаморфоз и бессмертия занимала Заболоцкого ещё в юные годы и возникла под влиянием сочинений Лукреция и Гёте. Он отрицал принципиальное различие между живой и неживой материей – и та, и другая в равной степени составляет целостный организм природы. Пока существует этот необъятный организм, человек, носитель его разума, орган его мышления, не может исчезнуть бесследно. Посмертно растворившись в природе, он возникает в любой её части – в листе дерева, птице, камне – передавая им хотя бы в небольшой степени свои индивидуальные черты и соединяясь в них со всеми живущими ранее. А с другой стороны в процессе своей жизни человек объединяет в себе все предшествующие формы бытия. В человеке – весь мир, но и человек – во всём мире. Заболоцкий писал об этом в стихотворении «Метаморфозы»:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, –
на самом деле то, что именуют мной, –
не я один. Нас много, я живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел

я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
и в землю устремил пронзительное око,
он увидал бы там, среди могил, глубоко
лежащего – меня! Он показал бы мне –
меня, колеблемого на морской волне,
меня, летящего по ветру в край незримый, –
мой бедный прах, когда-то так любимый,
а я всё жив!

Жизнь, переливаясь из формы в форму посредством материальных превращений, не теряет своих основных свойств, а проявляет их в каждой форме. Мир подобен сложному организму, в котором каждая клетка несёт информацию о строении целого. Вот почему, например, в птице можно различить человека:

Вращая круглым глазом из-под век,
летит внизу большая птица.
В её движенье чувствуется человек,
по крайней мере, он таится
в своём зародыше меж двух широких крыл.

А в кристалле уже предсуществует человеческая мысль:

Я на земле моей впервые мыслить стал,
когда почуял жизнь безжизненный кристалл.

То есть человек начинает жить задолго до рождения. («Я разве только я? Я – только краткий миг //чужих существований..»).

Николай Чуковский, с которым Заболоцкий как-то поделился своими сокровенными мыслями о бессмертии, иронически к ним отнёсся и даже попытался в пародийном стихотворении разоблачить, с его точки зрения, эти беспочвенные иллюзии. Он думал, что Заболоцкий боится смерти и все его философские построения предназначены только для того, чтобы обрести защиту от этих страхов. На самом деле взгляды поэта были далеко не столь утилитарны. В один из последних своих дней он спокойно говорил жене: «Ещё и не такие люди, как я, умирали. Природа не зря создала человека, и природа не допустит, чтобы её лучшие творения исчезали бесследно».

Подобно Заболоцкому, В.Блаженный, заранее обживая будущую смерть, творит гарантию личного бессмертия (простодушный вариант пушкинского «Нет, весь я не умру...»):

Я не вовсе ушёл, я оставил себя в каждом облике –
вот и недруг, и друг, и прохожий ночной человек, –
всё во мне, всюду я – на погосте, на свалке, на облаке, –
я ушёл в небеса – и с живыми остался навек.

Я поверю, что мёртвых хоронят, хоть это нелепо,
я поверю, что жалкие кости истлеют во мгле,
но глаза – голубые и карие отблески неба,
разве можно поверить, что небо хоронят в земле?..

Было небо тех глаз грозовым или было безбурным,
было радугой-небом или горемычным дождём, –
но оно было небом, глазами, слезами – не урной,
и не верится мне, что я только на гибель рождён!

...Я раскрою глаза из могильного тёмного склепа,
ах, как дорог им свет, как по небу душа извелась, –
и струится в глаза мои мёртвые вечное небо,
и блуждает на небе огонь моих плачущих глаз...

В одной из своих книг я написала, что «Рассказ синего лягушонка» Ю.Нагибина – это лучшее, что я когда-либо читала о любви. Нагибин и сам считал его лучшим своим рассказом. Синий лягушонок – это он сам, это тот новый образ, новое обличье, которое его душа приняла в другой жизни. Но – пишет он: «со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование – я стал лягушкой с человеческой памятью и тоской». Он продолжал тосковать по жене, которую оставил в прежней жизни, и обнаруживал те же страдания в своих собратях – тех животных и растениях, которые были прежде людьми.

«Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две берёзки-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевинной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть – в полное безветрие. И скрип этот – как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслёзный плач. У природы нет общего языка, как нет его у людей. И всё-таки я знаю, о чём они скрипят и стонут, – это тоска по оставшимся в прежней жизни».

«Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска». «Скрип деревьев, бормот кустов, шёпот трав перебили и заглушили другие звуки –

ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человеческой чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человеческую муку».

Потом лягушонок встречает свою жену в своей новой жизни в облике косули. Их сердца сразу подсказали им, кто они есть на самом деле, и их любовь продолжалась, пока её не прервала новая смерть. «Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шёл от мёртвой Алисы: это не конец, будет ещё тоннель... А раз так... То когда-нибудь, где-нибудь... Пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... Господи, прости мне хулу на тебя... Господи, воля твоя!»

— Мы здесь, — говорят мне скользнувшие лёгкою тенью туда, где колышутся лёгкие тени, как перья, — теперь мы виденья, теперь мы порою растенья и дикие звери, и в чаще лесные деревья.

— Я здесь, — говорит мне какой-то неведомый предок, какой-то скиталец безлюдных просторов России, — ведь всё, что живущим сказать я хотел напоследок, теперь говорят за меня беспокойные листья осины.

— Мы вместе с тобою, — твердят мне ушедшие в камень, ушедшие в корни, ушедшие в выси и недра, — ты можешь ушедших потрогать своими руками, — и грозы и дождь на тебя опрокинутся щедро...

— Никто не ушёл, не оставив следа во вселенной, порою он твёрже гранита, порою он зыбок, и все мы в какой-то отчизне живём сокровенной, и все мы плывём в полутьме косяками, как рыбы...

(В.Блаженный)

Эта тема — переселения душ — мимоходом затрагивается в эссе И.Бродского «Полторы комнаты», где он рассказывает о своём детстве и своих родителях. В конце повествования он каким-то будничным бесстрастным тоном как бы вскользь сообщает о том, что во дворе его дома в Америке недавно появились две вороны. Он не говорит прямо, но тон не оставляет сомнения в том, что эти вороны — его умершие родители.

«Две вороны тут во дворе у меня за домом в Саут-Хадли. Довольно большие, величиной почти с воронов и, подъезжая к дому или покидая его, первое, что я вижу, это их. Здесь они появились поодиночке: первая — два года назад, когда умерла мать, вторая — в прошлом году, сразу

после смерти отца. Во всяком случае, именно так я заметил их присутствие. Теперь всегда они показываются или взлетают вместе и слишком бесшумны для ворон. И я не пробую отыскать их гнездо. Они чёрные, но я заметил, что изнанка их крыльев цвета сырого пепла».

В одном из интервью Бродский сказал: «Когда Арсений Тарковский начал надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось...» – всё во мне воспротивилось: ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы. Не потому, что мы стихи её помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я бы ещё прибавил, что, не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я, тем не менее, часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше, как это она делала при жизни. Не столько наблюдает, сколько хранит».

Бродского серьёзно занимала проблема воскресения, дыры, которую он сам надеялся проделать в «бронне небытия». В последних его стихах, представляющих собой слова прощания и завещания, уходя, Бродский приоткрывает русской поэзии этот путь, для неё пока новый. О жизни после смерти писал Случевский, тема воскрешения волновала поразному Пастернака и Маяковского, но это были только отдельные произведения, а не целое направление. Бродский пишет:

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперёд:
не всё уносимо ветром, не всё метла,
широко забирая по двору, подберёт.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьёй, куда угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть, но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Пададь!» – выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что пададь – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Несмотря на натурализм, в этом стихотворении речь идёт не только об органике. Пададь, которую отроет будущий археолог, это и «зарытая в землю страсть». Этот посмертный дуализм разложения, когда разложению, то есть

не исчезновению, а изменению формы существования подвергается не только материальная, но и духовная ипостась человека, был навеян Бродскому чтением Марка Аврелия: «Подобно тому, как здесь тела, после некоторого пребывания в земле, изменяются и разлагаются и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенобразному разуму Целого, и таким образом уступают место вновь прибывающим».

Судя по другим стихам Бродского, единственная форма загробного существования, признаваемая им, это – тексты, «часть речи», его горацанский памятник. Перо поэта надежнее, чем причиндалы святош: «от него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней».

«Бессмертия у смерти не прошу», – написал он когда-то в 60-х. Оно само нашло его. Перечитывая сейчас его строчки, мы лишний раз осознаём, что поэты не умирают. Бродский просто ушёл туда, где он встретит Элиота и Одена, Ахматову и Джона Дона, Овидия и Проперция – тех, с кем он на равных разговаривал при жизни.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук. Существует громадная встреча.
В прошлом те, кого любишь, не умирают.

Бродский никогда не вернулся на Васильевский остров, он похоронен на острове Мёртвых, как называют кладбище Сан-Микеле в Венеции. Но стихами своими он хотел бы остаться жить здесь, где родился, любил, был счастлив и несчастлив и, подобно Цветаевой, обращавшейся через головы современников к «тебе, через 100 лет», обращался к своим будущим «воскресителям»:

Мой голос, торопливый и неясный,
тебя встревожит горечью напрасной,
и над моей ухмылкой усталой
ты склонишься с печалью запоздалой,
и, может быть, забыв про всё на свете,
в иной стране – прости, в ином столетье –
ты имя вдруг моё шепнёшь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну.

У А.Кушнера есть стихотворение, написанное им вскоре после смерти Бродского, в котором он словно продолжает с ним этот загробный разговор:

Поскольку я завёл мобильный телефон, —
не надо кабеля и проводов не надо,
ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —
ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
что был, не правда ли, горячий голос брата.

По музе, городу, пускай не по судьбам,
зато по времени, по отношенью к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там.
Или не скучно там и, отметя полову,
точнее видят смысл, сочувствуют слезам,
подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?

Пушкин писал в одном из писем Александре Смирновой: «Мне кажется, мёртвые могут внушать нам свои мысли». Как иллюстрация к этой мысли может послужить рассказ Тургенева «После смерти». Это мистическая история любви молодой девушки, талантливой актрисы Клары Милич к юноше, который не понял её любви. И тогда она приняла яд во время спектакля, где играла главную роль и, доиграв до конца, умерла, когда опустился занавес. А юноша полюбил её после смерти так, что ушёл вслед за ней, умер от горячки, «воспаления сердца». В основу этой повести была положена реальная история самоубийства провинциальной актрисы Кадминой, которую Тургенев услышал от семьи Полонских. Кадмина приняла яд во время спектакля «Василиса Мелентьева», где играла главную роль, а некий Аленицин, магистр зоологии, увидев её там в первый раз — влюбился в неё. После смерти актрисы эта любовь вспыхнула с неожиданной силой, приняв форму психоза. Тургенева чрезвычайно заинтересовал этот психологический факт — посмертная влюблённость, и он с необычайной силой воплотил её в этой повести.

Любовь Аратова к Кларе, вполне осознанная им только после утраты этой женщины, до тех пор любимой бессознательно, — чувство, которое оказалось сильнее смерти. Оно до такой степени овладевает всем существом человека, что тот уже не в состоянии осознавать, что любимого существа нет более в живых. «Встречу — возьму», — вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. Да ведь она — мёртвая? Да, тело её мёртвое... а душа? Разве она не бессмертная? разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние человеческой души на другую человеческую душу... Отчего ж это влияние не продолжится и после смерти — коли душа остаётся живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы — вообще — постигаем, какая цель всего,

что совершается вокруг нас?»

«Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в библии: «Смерть, где жало твоё?» А у Шиллера: «И мёртвые будут жить!» Или вот ещё, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти».

Несколько слов в качестве отступления. В позапрошлом году я подготовила в нашей библиотеке вечер на эту тему, назвав его фразой из библии «Смерть, где жало твоё?» (из первого послания Павла коринфянам, глава 15, тезис 55). Но название это показалось настолько диким нашим местным радиожурналистам, настолько тема этого вечера не вписывалась в их житейские новости, что мне с огромным нажимом удалось всего один раз пробить это объявление по радио. И больше они его передавать не захотели, хотя до конца новостей оставалось достаточно времени, музыка в конце звучала довольно долго, объявление вполне бы там поместилось, даже неоднократно. Но когда я попыталась выяснить причину такого отношения (к теме? ко мне лично? к моим вечерам?) Липатова спустила на меня таких собак («Не ваше дело!» – орала она. – Как хотим, так и строим свои передачи!»), что больше я туда не звоню. А вечер был очень интересным, и жаль, что многие слушатели благодаря Липатовой о нём не узнали.

Так вот, в продолжение мысли о любви после смерти. Сашу Чёрного при жизни часто обвиняли в женоненавистничестве (уж очень много непривлекательных женских типов встречалось в его стихах). В критических статьях пускались в ход такие выражения, как «душевный дальтонизм», учёные словечки типа «мисогиния». Обвиняли поэта в том, что у него вообще нет любовной лирики. Так ли это? Да, стихов о любви у Чёрного очень мало. Есть о мечте полюбить, встретить свою единственную. В 1914 году (в 34 года) он пишет стихотворение «В Тироле», где описывает немецкое кладбище:

Над кладбищенской оградой выются осы...
Далеко внизу бурлит река.
По бокам – зелёные откосы.
В высоте застыли облака.

Крепко спят под мшистыми камнями
кости местных честных мясников.
Я, как друг, сию, укрыт ветвями,
наклонясь к охапке васильков.

Не смеюсь над вздором эпитафий,
этой чванной выдумкой живых –
и старух с поблёкших фотографий
принимаю в сердце, как своих.

Но одна плита всех здесь мне краше –
в изголовье старый тёмный куст,
а в ногах, где птицы пьют из чаши,
замер в рамке смех лукавых уст...

Вас при жизни звали, друг мой, Кларой?
Вы смеялись только 20 лет?
Здесь в горах мы были б славной парой –
Вы и я – кочующий поэт...

Я укрыл бы Вас плащом, как тогой,
мы, смеясь, сбежали бы к реке,
в Вашу честь сложил бы я дорогой
мадригал на русском языке.

Вы не слышите? вы спите? – Очень жалко...
Я букет свой в чашу опустил
и пошёл, гремя о плиты палкой,
вдоль рядов алеющих могил.

Значит ли это стихотворение, что Чёрный не надеялся встретить любимую здесь, на этом свете, что она навсегда осталась для него несбыточной мечтой?

Вообще смерть близких (и дальних, но чем-то дорогих нам) людей часто выявляет в человеке качества, о которых ни окружающие, ни сам он не подозревал. Каких только эпитетов ни сопровождало одиозное имя Шарля Бодлера: «демонический», «сатанинский», «мрачно мизантропический», – но этот образ поэта, получивший широкое распространение в литературном мире, был весьма далёк от действительности. Марсель Пруст писал о нём: «В действительности поэт, которого считают бесчеловечным, был самым нежным, самым сердечным, самым человеческим из поэтов». Об этой его человечности говорят многие стихи Бодлера. Например, трогательное стихотворение, посвященное покойной няне, которая его воспитала:

Служанка скромная с великою душой,
безмолвно спящая под зеленью простой,
давно цветов тебе мы принести мечтали!
У бедных мертвецов, увы, свои печали...
Холодным декабрём, во мраке ночи синей,
когда поют дрова, шипя, в моём камине, –
увидевши её на креслах в уголку,
тайком поднявшую могильную доску

и вновь пришедшую, чтоб материнским оком
взглянуть на взрослое дитя своё с упрёком, —
что я отвечу ей при виде слёз немых,
тихонько каплющих из глаз её пустых?

Б.Пастернак перевёл и опубликовал в России «Реквиемы» Р.М. Рильке. Один из них под названием «Реквием по одной подруге» был посвящен памяти талантливого скульптора Паулы Модерзон-Беккер. Некоторые биографы считают, что Рильке был влюблён в эту женщину. Этот реквием пронизан ощущением большой личной утраты.

Я чту умерших и всегда, где мог,
давал им волю и дивился их
уживчивости в мёртвых, вопреки
дурной молве. Лишь ты, ты рвёшься вспять.
Ты льнёшь ко мне, ты вертишься кругом
и норовишь за что-нибудь задеть,
чтоб выдать свой приход.
Приблизься к свечке. Мне не страшен вид
покойников. Когда они приходят,
то вправе притязать на уголок
у нас в глазах, как прочие предметы.
Я, как слепой, держу свою судьбу
в руках и горю имени не знаю.
Оплачем же, что кто-то взял тебя
из зеркала. Умеешь ли ты плакать?
Не можешь. Знаю...
Но если ты всё тут ещё, и где-то
в потёмках это место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Будь между мёртвых. Мёртвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь, так,
как самое далёкое порою
мне помощь подаёт. Во мне самом.

Цветаева узнала о смерти Рильке в самый канун Нового года. В ту новогоднюю ночь она пишет ему письмо. Письменное слово — её спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни — даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано», — так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927,7 — твоё любимое число... Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне — нет, неверно: живи в моём сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили — как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо

принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж. Я целую тебя – в губы? В виски? в лоб? Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого... Нет, ты ещё не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моём плече... Ты – мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!».

Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов – в стихах и прозе. Новый год Цветаева встречала вдвоём с Рильке. Она говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности. Она чувствовала его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. В феврале 1927-го ею была завершена поэма «Новогоднее», о которой Бродский скажет, что это «тет-а-тет с вечностью». Подзаголовком было про-ставлено: «Вместо письма». Это своеобразный реквием, нечто среднее между любовной лирикой и надгробным плачем. Письмо-монолог, общение «поверх явной и сплошной разлуки», поверх вселенной. Поздравление со звёздным новосельем, любовь и скорбь, бытовые подробности, которые Саакянц называет «бытовизмом бытия». Поверить в небытие Рильке для неё невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Что мне делать в новогоднем шуме
с этой внутренней рифмой: Райнер – умер?
Если ты, такое око смерклось,
значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит, тмится, допойму при встрече!
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
новое...

Следом за «Новогодним», будучи не в силах расстаться с Рильке, Цветаева пишет небольшое произведение в прозе «Твоя смерть». «Вот и всё, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе (себе), что её в моей жизни вовсе не было. Ещё скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мёртвым, себя – живой, и не всё ли равно, как это называется!» – строчки, почти дословно повторяющие строки стихотворения «Петру Эфрону»: «И если для целого мира вы мёртвы, я тоже мертва».

Владислав Ходасевич. Один из самых мрачных, желчных и язвительных наших поэтов. Трудно представить, что этот холодный, ироничный и как будто такой трезвомыслящий человек горячей и сострадательной любовью любил

своего друга, любил даже после его смерти. Его сборник «Путём зерна» посвящен памяти Муни – это псевдоним поэта Самуила Кисина, близкого друга Ходасевича. Муни служил в армии военным чиновником, сопровождал санитарные поезда. Во время одной из таких поездок он застрелился. Ходасевич очень тяжело переживал его смерть, винил себя, что не уберег друга. Вся его книга – это непрерывный взволнованный разговор с Муни. «Я говорю с тобою, друг заочный, на только нам понятном языке». «Но, вечный друг, меж нами нет разлуки! //Услышь, я здесь. Касаются меня// твои живые, трепетные руки, //простёртые в текущий пламень дня».

Он постоянно думает о нём, пишет стихи как бы от его имени, от имени его духа, который обращается к нему с того света:

Ищи меня в сквозном весеннем свете,
я весь – как взмах неощутимых крыл,
я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
я легче зайчика: он – вот, он есть, я – был.

А.Камю писал в своих записных книжках: «Смерть сообщает новую форму любви, а равно и жизни, она превращает любовь в судьбу». У меня есть такое стихотворение:

Я, как наледью, скована памятью...
И встаёт из глубин снеговых,
запорошенный пылью и заметью,
город мёртвых и город живых.

Здесь пространство и время распорото,
ариаднина тянется вязь.
Меж реальным и призрачным городом
существует незримая связь.

Я кружу над своими утратами...
Мир единый распался на два.
Словно в оба кармана запряваны
одного пиджака рукава.

Каждый смертный, коль любит и помнит он,
здесь отыщет родные сердца.
Жизнь и смерть – это смежные комнаты
одного ледяного дворца.

Все свободно тут перемещаются,
ведь для душ не бывает границ.
А туман всё плотнее сгущается,
растворив очертания птиц.

Есть вещи, в которые не то чтобы веришь или предполагаешь, догадываешься, а которые просто знаешь

доподлинно, каким-то внутренним зрением, внутренним знанием, шестым чувством, генетически знаешь. Это то, что сильнее логики, разума, здравого смысла.

Очень сильное впечатление на меня произвели «Реквиемы» Л.Петрушевской, особенно первый, который называется «Я люблю тебя». Он – о семейной паре, муже и жене. Муж изменял жене, не ценил, не замечал, занятый своей личной жизнью, а она любила его и мирилась с тем малым, что ей ещё оставалось. Занималась детьми, бытом, терпела и любила молча. Так прошла жизнь. Потом её разбил паралич. И вот тут он словно проснулся, прозрел, понял, кто действительно был для него самым родным человеком. Он бережно ухаживал за ней, уже потерявшей речь, прикованной к постели, а в ночь, когда она умерла и её увезли, он заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла на подушку и сказала: «Я люблю тебя». И он спал счастливым сном, и был спокоен и горд на похоронах и говорил всем, что она ему сказала фразу: «я люблю тебя». Что она всё-таки успела ему это сказать – «без слов, уже мёртвая, но успела».

Что это? Мистика? Нет. Это высшая правда жизни, правда души, которую невозможно объяснить, её можно только постичь сердцем, душевным опытом.

Последняя книга Инны Лиснянской «Без тебя» посвящена памяти мужа. Это портрет Семёна Липкина, но портрет, ахматовски изменённый («когда человек умирает – изменяются его портреты»...)

Упустила последний я час твоей жизни,
и застыл в укори́зне

глаз твой синий, уставленный в белое небо.
Как всё вышло нелепо!

Ты во сне 30 дней меня не навещаешь –
ты меня не прощаешь.

Но я вижу всей явью душевного ада:
над деревьями сада

облака расступились, тебя пропуская
к обитателям рая.

Сорок дней дышу я, как в дыму
около огня.
Сорок дней душа твоя в доме
около меня.

Для тебя и рюмка, и калач,
весь в поминках стол.
Сорок дней мне говоришь: «Не плачь,
волю я обрёл,
волю ту, что я имел в обрез,
будучи живым.
Не горюй! Я здесь! Я не исчез!
Просто стал незрим».

«Книга эта писалась мной в великой скорби» – слова автора с форзаца издания. И говорить о таких стихах со стороны – невозможно, о них судить нужно уже в другой системе координат.

Я брожу, мой милый,
меж соседних дач,
в собственные жилы
загоняя плач.

Каменеет в теле
дождевая нить.
А на самом деле
хочется мне выть.

Хочется мне горе
выплакать моё,
но оно не море,
а небытиё.

Эта книга – обнажённый нерв расставания. Боль, бьющая поверх рифм, строф.

Я оплачу тебя под напев былинный,
под горчайший напев, но славный,
я оплачу тебя, как Христа Магдалина
и как Игоря Ярославна.

Ах, как много простора для женского плача –
от олив назаретских до ельников жёстких,
от холодных снегов до песков горячих,
от Овечьих ворот до кремлёвских!

В стихах настойчиво, упрямо звучит мотив воскрешения из мёртвых:

...и мне, так долго живущей,
простит овдовевший стих,
который мычит, скорбя,
мычит из последних сил,
что Он воскресит тебя,
как Лазаря воскресил.

В сущности эта книга – попытка Орфея обернуться и перехитрить закон.

И луч весенний –
всё та же дрожь.
Я жду: хоть тенью
домой придёшь.

Она чувствует его повсюду – в голубе, который «бьётся о ставень так, что седые перья летят с крыла», в звезде, что «удержалась в своём паденье и засверкала перед окном седым», в его пиджаке, что «с гвоздя упал, как подранок, машет пустым рукавом и не может взлететь».

Это весь мир окружающий стал тобою,
пренебрегая тенью и сладким сном.
Видишь, сижу я с закушенной губою
двадцать девятые сутки перед окном.

Свет, наподобие колеса,
в майскую зелень ныряет.
Птицы на разные голоса
имя твоё повторяют:

имя твоё выдувают шмели
в златомохнатые дудки,
шепчут на влажных участках земли
имя твоё незабудки.

И одуванчик поседелый
с твоей смешался сединой.
Стою с улыбкой оробелой
к стене бревенчатой спиной.

А где упал, там незабудка
расширилась, как вещей глаз.
Ты стал природою. И жутко
мне на неё смотреть сейчас.

Она пишет письма «умершей своей половине», как Цветаева – Рильке на тот свет:

Я беспокою вечный твой покой.
Прости, но я не верю, что ты спишь, –
мне кажется, за жизнью ты следишь:
сырая вечность под её рукой,
а под моей – компьютерная мышь
мне помогает справиться с тоской.

Она пытается «миры разобщённые связывать в Интернете» в безумной надежде, что «непременно встретимся мы с тобой, как Гумилёв говаривал...»

Хочется думать иль грезить, по крайней мере,
что непременно встретимся мы с тобой,
как Гумилёв говаривал: «Ах, на Венере»
или ещё на какой звезде голубой.

Хочется верить – ещё мы увидим оттуда,
что трясогузка цела и черёмуха хладно бела,
что на серебряники не польстился Иуда
и на поправку пошли на земле дела.

Сквозь боль и горечь потери, сквозь стон и плач просачивается «тепло жизни и свет любви», они бьют сквозь неё – точно солнце сквозь дождь.

В одном из стихотворений Лиснянской есть такие пронзительные строки:

За ночь одну пожелтели берёзы,
поздней красой меня сводят с ума.
Господи Боже, кому мои слёзы?
Господи Боже, кому я сама?

А я читала их сквозь слёзы и думала: мне! Мне! Настолько мне всё это было близко. Я написала ей тогда письмо о том, что значит для меня её поэзия. И вот её ответ:

«Дорогая Наталия Максимовна! Получила от Вас письмо и книгу. Большое спасибо за добрые слова о моём стихотворчестве. Книгу Вашу прочла с большим интересом от корки до корки. В стихах много горечи, одиночества и печали с просветлениями души. Вы пишете мне о близости наших душ. Действительно, все души стихотворцев уже тем близки, что вдуты в нас Господом. А вот характеры, определяющие судьбу, у каждого пишущего, как и музыка стиха (чем главным образом и отличаются друг от друга крупные русские поэты), совершенно разные. Вы удивляетесь, как зачастую поэты не похожи сами на себя. Это естественно. Поэзия не проистекает из одной только биографии, если это так, то это не поэзия, а сплошное самовыражение «в минуту жизни трудную». Моя жизнь – совершенно другая вследствие моего характера, – никогда: пионерство, комсомольство, партийность, литкружковство. Живу уединённо и лишь под нажимом раз в пять лет выхожу на сцену. Мне очень тяжело обнажать свои мысли и чувства перед аудиторией. В моём воображении есть некий читатель, общающийся с моими виршами с глазу на глаз. В поэтах я себя, в сущности, не числю. Не потому, что я, скажем, пишу хуже всех пишущих ныне, а потому, что передо мной всегда образцы великой русской поэзии, до коих мне не дотянуться. Такое самопонимание приносит скорее облегчение, чем тягость. Ибо я знаю: никто о моих стихотворных опытах не отзовется хуже, чем я сама. Не примите моё предельно искреннее письмо за кокетство или жеманство. А пишу стихи я, как и Вы говорите о себе, оттого, что не могу не писать. Но добрые слова, за которые я Вас благодарю, тем не менее всегда согревают.

Желаю Вам вдохновения, стихов и прозы, и радостей жизни.

Ваша Инна. 2 мая 2004»

У А.Кушнера есть чудное стихотворение «В павильоне у моря...» Оно большое, я приведу только его конец:

Он вошёл в павильон, поднял стул за спинку
и, поставив его на краю площадки,
сел над морем, с полночной тьмой в обнимку,
словно с кем-то, как в детстве, играя в прятки.

– Проигрался? – спросил его тихий голос.

Казино золотыми, как сноп, лучами
за спиной полыхало, звезда кололась.

– В переносном значенье? – Пожал плечами.

– Знаю, ты не игрок. Но перила, сходни,
берег, лестницы – всё здесь ведёт к обрыву...

– Лучше я тебя, голос, спрошу сегодня:

Смерть сулит нам какую-нибудь поживу?

И смутился, услышав: – Ещё какую!

Тень цеплялась за тень, среди их сплетений
чайку он разглядел, а за ней – другую, –
там не будет обыденных отношений.

То есть там, если нам назначают встречи,
эти встречи такую же дарят радость,

как звучащая здесь в стихотворной речи

окрылённость, – так можно сказать? – крылатость.

Недавно я увидела сон. Приснилось непередаваемое ощущение детского восприятия свежести летнего утра. Рано-рано. Липки. Я иду по аллеям. Город спит. Мощное ощущение утренней свежести и будоражащей радости – биологической, «нутряной», неудержимой, от которой хочется бежать, прыгать, кричать, которая бывает только в детстве. Ни души. И вдруг вдали замечаю отца. Образ его двойся: то он молодой – всегда бодрый, подтянутый, с готовой шуткой на губах, жизнерадостный, то уже старый, но улыбающийся, радостный меня видеть. Такой светлый-светлый сон. Так редко такие бывают. И под конец – небо, облака, как показывают в кино, когда герой прощается с жизнью (Андрей Болконский, «Летят журавли»). И я вижу это небо как бы их глазами, то есть не просто, а – крупно, со значением, как в последний раз. И – мысль: значит, я умираю? Но – не испуг, не печаль, а радость от этой мысли.

Что нужно, тень, тебе? Но тень не говорит.

То дверцей хлопает, то к полке приникает.

И в мыслях роется, храня невинный вид,
и сердце бедное, как ящик, выдвигает.

(А.Кушнер)

И ещё один сон об отце. Снилось, что он мне показывает альбом с его фотографиями, которых я прежде не видела. Вот он маленький мальчик... Вот школьник... Молодой... Чередовались кадры его неведомой мне жизни, наполняя жадной радостью открытий. С каждым снимком я знала о нём всё больше и больше. Передо мной возникали снимки, где он с мамой – в саду на лавочке, он обнимает её за плечи («в городском саду играет духовой оркестр» – как иллюстрация к этой песне), какие-то военные, довоенные картины... Я вдруг поняла всю его жизнь, всего его – без связи со мной, как-то отстранённо, точно откуда-то с небес увидела. Это было то Большое, что «видится на расстоянье». Радость копилась в груди, крепла, нарастала и вдруг – как высшая её точка, как верхняя нота, выше которой уже ничего не бывает – озарила догадка: «Так смерти нет?!» И отец улыбнулся мне, как несмышлёнышу, и сказал чуть устало, как о чём-то само собой разумеющемся: «Нет».

И всё. Больше он мне не снился. Может быть, потому, что лучше этого сна уже ничего быть не может. Вспомнились посмертные слова из «Гранатового браслета»: «Ты меня слышишь? Слышишь? Успокойся, моя безмерно любимая...»

Я успокоилась. «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». Я счастлива, что вы были – все, кого я любила и люблю. Но если были – значит, есть. Это как закон физики, закон земного притяжения, которое перетягивает небесное.

Из стихов, посвященных Давиду:

Меняются черты,
мелькают дни и даты,
но вечно моё Ты,
незыблемо и свято.

Ты выхватил меня
из пустоты вселенной,
из тьмы небытия,
из водной дрожи пенной.

Обвёл защитный круг.
Лежу, как в колыбели,
в тепле сплетённых рук,
в твоём горячем теле.

Храни меня, храни,
мой ангел с ликом чёрта!
Мне кажется, что нимб
венчает лоб твой чёткий.

И отступают прочь
кладбищенские плиты.
И дольше века – ночь,
где наши лица слиты.

ЧАСОВЫЕ ЛЮБВИ

*Всё это было, было, было.
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
тебя, прошедшее, вернёт?*

А.Блок

Под балконом – берёза, вяз, акация, каштан. Каким-то внутренним непреложным знанием знаю, что это они, мои самые дорогие. Каштан – отец. Он долго оставался зелёным, до глубокой осени, потом чуть пожелтел, но всё равно оставался красивым, свежим, каким-то гордым, вернее, горделивым. Он твёрже других деревьев, и мне обычно дольше приходилось ждать, чтобы он махнул мне веткой, хоть чуть-чуть. Слабо подрагивал самыми кончиками, но всё-таки отвечал мне, кивал. Иногда долго-долго стояла под ним, задрав голову, ждала его приветов, не в силах без него уйти. Дворник Ваня как-то проследил мой взгляд: «Что ты туда смотришь? Что там увидела?» Разве ответишь.

Акация рядом. Это мамочка. Такая же чахленькая, слабенькая, как в последние годы. Раньше всех облетела. Одни веточки-косточки. Всё вспоминаю её сухенькие ручки, цеплявшиеся за мои пальцы. Каждый день выхожу на балкон и – к ней. И она сразу обрадованно трепещет всеми веточками, кисточками, всем, что на ней есть. Словно волнуется, тревожится. Я почти слышу, что она мне шепчет: «Осторожно, не простудись, не ходи поздно. Как ты, доченька? Как себя чувствуешь? Что ты кушала? Как спала?»

И я мысленно ей отвечаю: «Все хорошо, мамочка, не беспокойся, не волнуйся, всё нормально у меня. Оградку тебе поставили, памятник, могилку с Давидом убрали, цветы красивые тебе принесли. Потерпи ещё, родная. Я здесь, я с тобой. А когда-нибудь совсем буду с тобой».

Рядом с мамой-акацией – Лёвка, вяз. Он почти цепляется за неё ветками. Немножко поломанный после бури – после поезда. Ветка обломанная висит плетью, как тогда – искалеченная кисть руки. Но зелёный, даже сейчас, в середине ноября, когда все деревья уже облетели. А он и не думает. Зелёный, как весной. Ну да, он же молодой. Ему навсегда двадцать один. Он ещё не успел пожелтеть.

Рядом с ним бабушка – берёза. Ближе всех к нему, накрывает его сверху ветками, словно укрыть хочет. Не смогла, не укрыла от судьбы. Красавица. Такая же, как в молодости – на единственной уцелевшей карточке. Ничего-то я про тебя не знаю, не успела узнать. Пропала твоя красота, не пригодилась в жизни. А вот сейчас расцвела под моим окном, словно напоследок – побыть ещё молодой, ты так мало могла этим насладиться. Такая трудная жизнь была у тебя и у мамы.

Как я вас всех люблю, милые мои. Как меня тянет к вам. Вот бы опять встретиться всем вместе. Какое невозможное счастье.

«Отсутствие моё //большой дыры в пейзаже// не сделало», – писал Бродский. А у меня, наоборот, пейзаж заселён душами любимых. Они словно материализовались в этих деревьях, стоящих под окнами, тянущихся ко мне своими ветками-руками, охраняющих меня и днём, и ночью... от чего? От жизни без них. Мои ангелы-хранители. Мои часовые. Часовые любви.

Гораздо ближе христианской веры мне пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога с природой, рассматривающее природу как воплощение Божества. Я впитала это в себя со строчками Заболоцкого («Можжевеловый куст, можжевеловый куст, остывающий лепет изменчивых уст...») «Кто мне откликнулся в чаще лесной? Утром и вечером, в холод и зной, вечно мне слышится отзвук невнятный, словно дыханье любви необъятной...»). И у Окуджавы вместо слова «Бог» в песнях и стихах, как правило, стоит слово «природа»: «У природы на губах коварная улыбка», «как умел так и жил, а безгрешных не знает природа». Какие проникновенные строки: «Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдалённый...». Или вот это:

Красный клён, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди средь всех и выдели
мать сына моего.
Красный клён, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.

Клён – как олицетворение Высшей силы, творящей миропорядок. Вспоминаются сказки Андерсена: живые души птиц, растений, предметов. Сказки Метерлинка: душа сахара, воды...

Как всё не случайно в мире, как всё взаимосвязано.

Самый первый фильм, который я посмотрела в детстве по телевизору, назывался «Поющее и звенящее деревце». Это было в начале 60-х. Какая-то сказка. Уже ничего не помню, только это чарующее название и ощущение таинства, волшебства.

Первый мой приход в литобъединение на 3-й Дачной. Его руководитель Юрий Николаевич Очкин даёт нам первое домашнее задание: «Опишите дерево. Но это должно быть только ваше дерево, ни на кого не похожее». Помню, как я искала такое дерево – особенное, непохожее, но все деревья мне казались тогда одинаковыми, как маленькому Принцу – все розы, пока он не приручил одну из них, как лисёнка. Я только теперь понимаю, что это такое: своё дерево.

Белые ветви сплетаются, множатся,
я их разнять не могу.
Тонкие кольца берёзовой кожицы
слабо блестят на снегу.
Сердцем своим различаю любовно я –
зря ли судьба нас свела? –
что-то щемящее, близкое, кровное
в тонком рисунке ствола.
Вновь прочитаю легко и растерянно
я на странице земной
тайную родственность белого дерева
с почвою, с небом, со мной.

Это Татьяна Кузовлева. И Борис Чичибабин: «Я к жизни возвращён обыденным добром: деревьями земли и облаками неба».

Берёза, вяз, акация, каштан,
от чёрных бездн дарящие отсрочку.
Какой порядок был им Богом дан –
в таком порядке и сложились в строчку.

Это из моих стихов 2005-го года. А вот этим летом моей акации не стало. Её срубили работники ТСЖ. Зачем? Чем она им помешала? Можно только гадать. Видимо, показалось с пьяных глаз, что это сухое дерево. Она позднее других зацветала, не в апреле, а к концу мая. План по «благоустройству двора» был выполнен, галочка в журнал занесена. Вандалы, дебилы, палачи... Длинный список подобных слов был мной выкричан в трубку, да что толку. Акацию не вернёшь.

Как это произошло? Было холодно, окна наглухо закрыты. Но что-то доносилось извне: какое-то щёлканье. Давид сказал: «Слышишь? Как будто стреляют где-то». Я в это время записывала плёнку, отмахнулась: пусть их стреляют. Как сердце ничего не подсказало? Если бы балкон был

открыт, я бы увидела, я бы костями легла, не дала бы, заплатила, умолила, подняла шум, что угодно... Но было холодно, окна законопачены, балкон закрыт. Дерево упало, как подкошенное, как подстреленное, прямо в кузов машины, и его увезли. А я ничего не знала. Вышла вечером гулять с Линдой, прошла мимо, ничего не заметив. А возвращаясь, увидела на детской площадке груды срубленных веток. Какое-то нехорошее предчувствие сжало сердце. «Не может быть!» – пронеслось в голове. Я медленно-медленно переводила взгляд от кучи веток к месту моей акации, боясь увидеть подтверждение страшной догадки. «Нет, это не его, это другое», – мысленно уговаривала я себя. И взгляд наконец уперся в то место, где была она. Там зиял обрубок, свежесрезанный пень. У меня потемнело в глазах. Я, не помня себя, бросилась к дворнику: «Что это?! Кто посмел? Оно же было живое!» «Оно сухое было!» – зашепелявил этот придурок. Что с него взять. Я как в лихорадке бегала по подъезду, звонила в квартиры, вопрошала, возмущалась, грозила возмездием, взывала к совести. Мне вяло поддакивали, кисло удивлялись беспределу, но в общем-то всем было глубоко плевать.

Ночью я не спала. Лежала на спине, а слёзы текли по щекам и заливались в уши. Полные уши слёз. Я их даже не вытирала – так было больно, не до того. Вдруг посреди ночи пронзила мысль: ветки! Взять хотя бы одну веточку, спасти, может быть, посадить, возродить... Я кинулась к окну – было ещё темно, ничего не видно, надо ждать. Каждый час выглядывала – когда же просветлеет? Три часа – темно. Четыре – темно. А потом я нечаянно заснула. Проснулась уже в девять. В ужасе бросилась на балкон: так и есть! Ветки увезли вместе с мусором. Но тут Давид взял меня за руку и торжественно повёл на кухню: смотри! На окне в бутылке стояла ветка. Оказывается, он в пять утра пошёл во двор и выбрал там для меня самую большую. Я прыгала от радости. Может быть, ещё не всё потеряно...

А потом начались чудеса. Через два дня ветка покрылась тонкими прозрачными нежно-зелёными листиками. Ещё через несколько дней появились пушистые серёжки, проклюнулись белые лепестки. Я молилась на свою веточку, каждое утро бежала к ней, беспокойно оглядывала, ощупывала, меняла воду, разговаривала с ней, как с живой. И она это чувствовала, клянусь. И цвела, и благоухала. Никто не верил, что сухая обрубленная ветка способна на такое. Но я-то знала, в чём дело...

А потом из корней пня-обрубка вдруг пробился свежий

побег. Он рос, креп, зеленел, тянулся ввысь изо всех своих слабеньких силёнок. Ему было очень трудно. Сушил тридцатиградусный зной, одолевали полчища тли, муравьев, густо облепляя каждую ветку, и мы с Давидом обмывали их ежедневно мыльной водой, поливали слабым раствором марганцовки. Усилия увенчались успехом, тля отступила, акация разрасталась, набирала силу. По утрам я свешивала голову с балкона: как ты там, моя маленькая? По бокам возвышались каштан и вяз, казавшиеся теперь по сравнению с ней огромными. Они словно стремились прикрыть её своими пышными кронами, оградить от чужого враждебного мира. Каштан, прежде такой сдержанный от утяжелявших его свечей и плодов, теперь шелестел и трепетал, и махал мне приветливо и отзывчиво, не дожидаясь, пока я мысленно его об этом попрошу. А вяз уже дотянулся до кухонного окна и заглядывал в него, словно в глаза человеку, шепча что-то успокаивающее. Они явно всё понимали.

Может быть, кто-то сочтёт меня сумасшедшей. Но вот что я вычитала из книги интервью с Бродским: «Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала, – говорил поэт. – В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. Когда рациональное вас покидает, на какое-то время вы оказываетесь во власти паники. Но именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе, на стыке рационального и иррационального. По крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили осязаемый след».

Об одном из таких «откровений» рассказывает и Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях. В детстве Марина очень любила комнатные растения, выращивала их на подоконнике. Любимый цветок её был серолист, из семейства бегоний, листья которого усыпаны серебряным узором. И вот спустя много лет, в 1943-м, в ссылке, Анастасия увидела в доме у одной женщины в большой кадке цветок, любимый её сестрой, разросшийся в комнатное дерево – серолист. Она рассказала владелице дерева о Марине, и та подарила его ей. «Дерево стало моим», – пишет А.И.Цветаева. И вот однажды в тихую безветренную погоду, когда она сидела и рисовала Марину... Цитирую: «Внезапно, как бы в порыве сильного ветра, все ветви серолиста всплеснулись шумно. Все мы, поражённые, смотрели друг на друга, молча, я – оторвавшись от марининого портрета. Дерево медленно успокаивалось... Марина дала знать о себе?...».

И у меня было множество таких «откровений». Однажды я переписывала плёнку с моими песнями. В окно, как всегда, шелестела акация. Когда зазвучали слова: «О любимые прежде, пока я вас помню, жива, и вы тоже, пока я люблю вас, по-прежнему живы», я прибавила звук: «Мамочка, слышишь? Это про тебя». И вдруг – клянусь, это было, я не вру и не сошла с ума – ветка стала подрагивать в такт мелодии. Она сильнее раскачивалась там, где было крещендо, и утихала, когда заканчивалась строфа. Она слышала – в этом не было никакого сомнения. Но ведь этого не может быть!

Это было что-то выше логики, разума, что-то такое, что постигаешь сердцем, нутром, душой, всем своим существом. Плёнка кончилась. Я нажала клавишу. Со страхом взглянула в окно – а вдруг ветку просто качает ветер? Ветка была неподвижна. Её раскачивала музыка. Моё поющее и звенящее деревце... Вот когда ты мне отозвалось – из детства, из глубины времён... Это не выдумка, не бред, это какая-то непреложная тайна, которая открылась мне так, словно я это «отродясь знаю», как любила говорить Марина.

Вспоминается ещё одно утро. Было безветренно, и я, волнуясь, глядела в окно: неужели она мне не помашет, не может быть, чтобы она не нашла способа этого сделать, дать мне какой-то знак, что видит меня, помнит, любит... И вдруг какая-то птица неизвестной породы, откуда ни возьмись – прыг на ветку! Посидела, раскачала её своим телом и – вспорхнула прочь, будто только за этим и прилетала. А веточка продолжала раскачиваться. И я словно увидела мамину лукавую озорную улыбку: «видишь, я придумала выход! Я здесь, не сомневайся!».

Точно такая же улыбка была у неё на одной из фотографий, где она решила изобразить, что якобы на пляже: в летнем халате, в соломенной шляпе и чёрных очках. В глазах светилось наивное торжество и лукавство: вот, мол, как я вас ловко провела! Но мама не учла, что за её спиной возвышалась тумбочка с телевизором, которые коварно разоблачили на фотографии её невинный обман. Ветка акации смотрела на меня с тем же неповторимым маминым выражением, я не могла ошибиться. Ну какие ещё нужны доказательства?!

Из «Рассказа о синем лягушонке» Ю.Нагибина: «Для тех, кто живёт по злу, жизнь – предприятие, но для большинства людей она – состояние. И в нём главное – любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают и шепчут травы, называя далёкие имена. Я всё это знаю по себе...».

Сейчас моей акации нет, но это не важно. Как там у Новеллы Матвеевой? –

Туман и ветер, и шум дождя...
Теченье дней, шелестенье лет.
Мне было довольно, что от гвоздя
остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
под кистью старого маляра,
мне было довольно того, что след
гвоздя был виден вчера.

Есть веточка на окне, которую осенью я пересажу в землю на маминой могиле. Есть хрупкий кустик под окном, который обязательно вырастет и достанет когда-нибудь до моего балкона. «Наши мёртвые нас не оставят в беде. Наши павшие – как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые». Они – и мои мёртвые, и мои часовые, охраняющие меня от нелюбви, от забвения. «Что нужно кусту от меня?» – спрашивала Цветаева. Теперь я знаю, что. Моей души, моей памяти.

Не все ещё корни вырваны
из прошлого в жизни новой.
О сердце! Ещё не вырублен
твой розовый сад вишнёвый!

УЛИЦЫ ДЕТСТВА

На улице моей беды...
Б.Окуджава

*Длинной строкой
попытайся беду отвести –
дохлое дело! Но за неимением
средства
лучшего – вытяни строки,
как руки – гляди:
вот ты и рядом, а вот –
безъязыкое детство.*
И.Знаменская

Как-то, беря у меня интервью, корреспондент «Саратовских вестей» И.Бакаева задала мне вопрос: какие у меня самые памятные, дорогие сердцу места в Саратове – улицы, дома, связанные с наиболее важными моментами в жизни. Тогда я не нашлась, что сказать, как-то не думала раньше об этом, да и как ответить чужому равнодушному человеку, спрашивающему тебя «для проформы»? Ведь это очень личный вопрос. А сейчас мне вдруг захотелось самой для себя

на него ответить. Но вся жизнь – это слишком много. Хотя бы самое начало...

У Бога в заначке есть тихие улочки детства.
От прошлых богатств они нам остаются в наследство.
Отрою в душе запорошенной тайную нишу,
заснеженных дней вереницу, как жемчуг, нанижу.

Вот улица первой песочницы, первых качелей.
Вот улица первых уроков, что мы получили.
Асфальт на квадратики снова поделенный мелом,
и целит в них камешком девочка в фартучке белом.

Ах, что там за той обозначенной мелом чертою?
Сменяются белые фартучки белой фатою.
Журавль улетает из рук, остаётся синица.
И долго ещё эти улицы будут нам сниться...

Улицы моего детства. Их несколько. Первая – Ульяновская. Тихая, солнечная, уютная, почти сплошь состоявшая из маленьких домишек и старых особняков. Наш трехэтажный дом с белыми колоннами стоял рядом с музеем семьи Ульяновых. Бабушка с дедушкой и семья моего дяди (семь человек плюс я, которую забирали родители на выходные) занимали три комнаты: одна – сравнительно просторная, вторая – маленькая и третья, где потом жили мы с бабушкой – вообще конурка. Но мне там нравилось. Зимой топились печки, было тепло и уютно. Огонь весело потрескивал, я любила его слушать и смотреть, как бабушка подбрасывает в печурку поленья. Однажды она бросила в огонь мою старую тряпичную куклу Катю, посчитав, что та слишком рваная и грязная. Как я плакала! Ведь она была для меня живая.

Я любила наш дворик, очень похожий на «московский дворик» Поленова. Здесь мы с сестрами читали на тенистых лавочках, иногда тайком лазали в соседские сады за вишнями, зимой катались с горки на санках, лыжах. Бегали на каток в Детском парке.

Как-то взрослые решили устроить нам Новогоднюю ёлку. Подготовили праздничный стол, подарки, веселое представление с переодеванием в Деда Мороза и Снегурочку. Разрешили позвать всю окрестную детвору. Мы с сестрами прыгали от радости, веселились, были на седьмом небе от счастья. Но бабушка с дядей в разгар веселья поймали несколько ироничных высокомерно-пренебрежительных переглядываний моих подружек из семей высокопоставленных родителей. И увидели всё это их глазами: игрушки самодельные, угощение небогатое, обстановка убогая... Настроение у них было испорчено. Мне запретили приглашать их в

дом. Я долго ничего этого не понимала. Никогда не оценивала людей по их имущественному положению, по должностному рангу их родителей и не признавала по отношению к себе этой оценки. У меня даже никаких комплексов по поводу всего этого не было.

Помню, в классе четвёртом у нас с одноклассницей – дочкой известного режиссёра и народной артистки – оказалось одинаковое демисезонное пальто, купленное в одном универмаге. Мне это даже показалось забавным, а она очень по сему поводу переживала. Вскоре она уже щеголяла в новом. Я же ходила в своём, кажется, года три. Как-то в компании подруг эта модница подняла меня насмех: «Смотрите! У неё всё ещё то пальто! Я уже три сменила, а она всё в одном ходит!». Наверное, любая другая девчонка в моём возрасте бросилась бы в слезах к родителям, требуя обновления гардероба, чувствовала бы себя униженной, ущемлённой. Я же только тупо уставилась на неё, искренне недоумевая, какое это всё может иметь значение.

У Давида тоже была в детстве смешная история, связанная с покупкой ему родителями нового пальто. Увидев, какое оно красивое, добротное и дорогое, он наотрез отказался идти в нём в школу, боясь стать похожим на «буржуя». Родителям так и не удалось сломить его сопротивления. И тогда мать, плюнув в сердцах, купила ему самое дешёвое «приютское» пальто, в котором Давид с удовольствием и проходил все свои школьные годы. Детям всегда хочется быть «как все». Но времена меняются, и уже в пору моего детства быть «как все» требовало гораздо больших материальных затрат.

Однако повторяю, одежда меня волновала мало. У меня были другие, более экзотические мечты. Например, в двенадцать лет мне ужасно хотелось купить барабан. Этот барабан, как сейчас помню, висел в витрине универмага: такой красивый, яркий, заманчивый и стоил целых 12 рублей! Я на него долго и упорно копила деньги, но никак не могла накопить: всё время подворачивался какой-нибудь вкусный соблазн – и я их растрчивала. Так и не купила. А так хотелось почувствовать себя окуджавской барабанщицей с кленовыми палочками в руках!

Другая улица моего детства – М.Горького, где жили родители с братом и куда меня забирали на выходные. Этот дом – густонаселённая коммуналка – с невероятно крутой лестницей, куда маме сущей мукой было затаскивать детскую коляску – давно уже снесён. Он стоял напротив бывшей школы № 3, где я училась (ныне – здание суда) рядом

с овощным магазином № 19. А когда мне исполнилось шесть лет, наша семья переехала в особняк на Рабочей. Там, кроме нас, жили ещё одинокая интеллигентная старуха Маргарита Евгеньевна Бах и инвалид войны Айзик Маркович с женой. Меня сразу забрали с Ульяновской, так как в новой квартире были две большие комнаты и места всем хватало. Кроме того, там была большая веранда и палисадник.

Во дворе родители вывешивали по вечерам большую простыню и показывали нам и соседским детям диафильмы: «Орсо», «Дикие лебеди»... А за забором играла радиола, там были танцы. Нам, малолеткам, туда не было ходу, но одна из самых шустрых девчонок – Ольга – бегала на разведку в соседний двор и как-то, помню, примчалась возбуждённая, с сияющими глазами: «Ребята! Я песню новую услышала! Хотите, спою?» И, взобравшись на самый высокий пригорок, запела: «Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз...».

Я ходила тогда в детсад на Провиантской, куда до меня ходил мой брат Лёва, а после – младший брат Стасик и все его дети. Отец чаще всего отводил и забирал меня из садика. По дороге я оживлённо рассказывала ему обо всех его обитателях, и однажды он написал газетный очерк о нашей воспитательнице Ольге Николаевне – как он уверял, «с моих слов». И все дома и в садике смеялись, что это я – настоящий автор.

Напротив детсада был дом с цветными стёклами в окне, которые я очень любила рассматривать. Они были похожи на цветные стёклышки в калейдоскопе – такая волшебная трубочка, в которой, переливаясь, сменяли друг друга причудливые узоры. Почему-то сейчас их уже не делают.

Провиантская довольно поката по направлению к Волге, и зимой она превращалась в огромную ледяную горку. Мы с Лёвкой до одурения катались там на санках. А вечерами отец читал нам рассказы Чехова. И один из них – «Шуточка» – запал в самое сердце. Герой катался там на санках с молодой девушкой с очень крутой горы. И когда санки достигали пика скорости и ветер бешено свистел в ушах, он наклонялся к её уху и еле слышно сквозь шарф шептал: «Я люблю Вас, Наденька...». Она оборачивалась, пытливо вглядываясь в его глаза, но он делал вид, что не при чём. И бедная Наденька не могла понять: сказал ли Он эти заветные слова на самом деле или ей это лишь почудилось в свисте ветра. И она снова, дрожа от страха, предлагает ему съехать с горы, и снова он шепчет: «Я люблю Вас, Надя», а потом, спустя годы, вспоминая с улыбкой наивную девушку, недоумевает, – зачем это делал. «Зачем шутил?»

Я просила отца снова и снова читать этот рассказ, и когда мы в очередной раз катались с горы на санках, невольно прислушивалась: а не шепчет ли и мне ветер эти долгожданные слова?

Я часто представляла себя мысленно взрослой женщиной – почему-то в тёмном обтягивающем свитере с комсомольским значком на груди – символ высшей взрослости. И придумывала своих будущих детей. Их должно было быть ровно двенадцать. Я чётко знала, как звали каждого, сколько им было лет, как были одеты...

Дома у меня было много кукол. Я играла с ними в разные игры, которые сама придумывала: в парикмахерскую (после чего многие из них лишались своей шевелюры), в больницу (что кончалось для некоторых ещё более чреватый для их внешнего вида хирургическим вмешательством), в школу. Последняя была моя самая любимая: я рассаживала кукол перед собой и рассказывала им всё, что накануне прочла (это, видимо, и было предтечей моих будущих лекций). Привычка говорить долго и много продолжилась в школе, и когда меня вызывали к доске, весь класс облегчённо вздыхал: это на весь урок. Значит, никого больше не вызовут.

Торжественное событие детства – приём в пионеры. Меня переполняло чувство гордости за свой новый статус, и хотелось что-нибудь такое совершить, некий подвиг, подобно пионерам-героям. Накануне я начиталась книжек Тендрякова (типа «Чудотворная») и была яркой атеисткой. И задумала безумный поступок: пойти в церковь, встать там на какое-нибудь возвышение, взмахнуть красным галстуком и крикнуть: «Бога нет, товарищи!» После этого, как мне представлялось, на меня набросятся мракобесы-баптисты и растерзают, но я пострадаю во имя истины. Что-то мне мешало осуществить эту бредовую затею, кажется, кто-то отговорил.

Но жажда романтики не оставляла, и в 3 классе я подбила трёх своих подруг «убежать из дома». «Давно, усталый раб, замыслил я побег...». Идея понравилась. Неделю запасали продукты: утаивали яички, сухарики, кто что мог, и в назначенный день и час все, крадучись, вышли из дома и встретились в точке «х». Но вот куда именно бежать – как-то не продумали. Потоптавшись немножко, побрели гурьбой к Волге. Там побродили туда-сюда, вскоре проголодались, расположились на газоне Набережной и с аппетитом поглотили все наши запасы. Ближе к обеду, не сговариваясь и стараясь не смотреть друг на друга, потянулись домой. Это было субботнее утро, никто из родителей ничего не за-

подозрил, гуляем и гуляем. Так бесславно закончился этот трусливый «побег».

С 1-го класса я жила уже на другой улице – Советской. Точнее, дом этот (№ 18) располагался одновременно на трёх улицах: Советской, Горького и Пушкинской. Всё отрочество и юность прошли на Пушкинской. Там играли в классики, бадминтон, там жили две мои лучшие подруги, там я встретила свою первую любовь (того самого «Оленёнка-соколёнка»).

А на Пушкинской нашей улице
всё пушисто от тополей.
Дом твой старенький там сутулится,
и от окон его светлей.

И долго ещё, когда я подходила к этой улице, у меня начинало учащённо биться сердце.

Улица так тиха,
что слышно, как бьётся сердце.
Как будто в забытый храм
сейчас отворится дверца.
Знакомый дом-теремок,
крылечко, резные ставни...
У горла застыл комок,
и ноги ватными стали.
Как будто я снова – та,
и всё будет как и прежде...
Улица так пуста,
что нет никакой надежды.

В 5 классе я подружилась с «уличной» девочкой, с которой мне дома запрещали общаться. Но запретный плод всегда сладок, и я стала встречаться с ней тайно. До неё я была домашним ребёнком, жила в некоем дистиллированном книжном мире. И вдруг узнала настоящую жизнь. Она открыла мне мир чужих дворов, подворотен, задворок и окраин Саратова, всяческих проказ, шкод, игр, приключений. Мы сбегали с уроков, садились на троллейбус и уезжали «на край света» – так называли мы какую-нибудь конечную остановку. И бродили там по незнакомым местам, открывая для себя новые уголки и закоулки города. Хулиганили: звонили в двери чужих квартир и убегали, цепляли липучки к задам прохожих. Высший класс заключался в том, чтобы прилепить незаметно липучку с как можно более длинным стеблем, желательно с корнем и комочком земли на нём, так, чтобы человек стал как бы хвостатым. Иногда нас пытались поймать на месте преступления, мы вырывались, убегали, прятались – это был такой адреналин!

Улицы детства... Магазины детства... Любимый был напротив старого кинотеатра «Пионер», где отец покупал мне стакан томатного сока (никаких других соков я не признавала) и пирожное. Пирожные эти автоматически спускались сверху в таких металлических ячейках-формочках, когда в щель бросишь монетку. Но пирожные там были разных сортов, и когда однажды ко мне спустилось не то, коего жаждала моя душа, а то, моё, стало спускаться ниже, куда-то в недра агрегата, я с воплем ухватила его за край. Руку защемило, пришлось останавливать автомат. Похожий случай был в цирке, когда мне было три-четыре года. Клоун кинул мне мяч, который я должна была бросить ему обратно, как все другие дети. Но я вцепилась в этот мяч мёртвой хваткой, решив, что клоун мне его подарил, и не отдавала, как меня ни уговаривали. А когда отняли – подняла жуткий рёв, так что пришлось покинуть представление.

Ещё был любимый магазинчик где-то на Горького ближе к Рабочей, где мы с мамой, забравшей меня из детсада, покупали по дороге домой щуку в томате и ореховую халву в жестяных баночках. Ничего вкуснее я, казалось, не ела. Сейчас и щуки не те, и халва совсем другая... В далёком детстве остались и сахарные липкие «снежки», и леденцовые петушки на палочках, и прыгающие мячики на резинке, и мыльные пузыри, пускаемые с балкона на головы прохожих, и голубой деревянный обруч, который так весело было палочкой гонять по двору. «По дорожке, по бульвару, по всему земному шару...».

Каким огромным тогда казался мне этот двор на Советской! Это был целый мир, государство в государстве. Как-то проходила мимо, заглянула: боже мой, что от него осталось! Какие-то мусорные баки, ящики... Какой он стал маленький, убогий. Или это тогда он лишь казался мне большим? Как в фильме «Когда деревья были большими».

«Не надо приходиться на пепелища», – писала И.Снегова. Но я пришла. Когда-то здесь, в этом подвальчике, был клуб. Вечерами в нём собирался чуть ли не весь двор: кто-то играл в шахматы-шашки, настольные игры, кто-то смотрел телевизор (тогда он был далеко не у всех). При этом клубе существовала «детская площадка» – то есть группа детей из окрестных домов, остававшихся на лето в городе, с которыми занималась за небольшую плату какая-нибудь пенсионерка: разучивала с ними песни, танцы, ставила спектакли, водила их в кино, в театр, в планетарий. Я была постоянным членом этой «детской площадки». Мы выступали со своими

концертными программами в Липках, в Детском парке, в ГПКиО. Нам вручали какие-то призы, подарки, книжки.

Куда всё это ушло? Как сон улетучилось... «Где-то есть город, тихий как сон, пылью тягучей, по грудь занесён...». Но билетов нет. «Цирк сгорел и клоуны разбежались». «Ах, мой милый Августин, всё прошло, прошло, прошло!»

Зачем я вспоминаю всё это? М.Волошин в «Истории моей души» писал: «Всегда надо в себя смотреться – что там, не заржавело ли что из чувств?» И чтобы не заржавело – надо время от времени прочищать этот внутренний механизм души, памяти.

В памяти окно протаю снова:
заструится поднебесный свет,
и увижу мальчика родного
в человеке неизвестных лет.

Так, бывает, в улице нездешней
вдруг узнаешь прошлого черты.
Будто бы в далёкой жизни прежней
здесь уже жила однажды ты.

В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Началась вся эта история 12 января 2005 года, когда в своём почтовом ящике мы с Давидом обнаружили вот такое письмо: «Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам заключённый саратовской уголовно-исполнительной системы. Совершенно случайно ко мне в руки попала книга «Чужая жизнь» Н.М.Кравченко. До глубины души тронут прочитанными стихами, так как нахожу очень много схожего со своей личной жизнью. Более того, почти каждое стихотворение можно отнести к тому или иному фрагменту моей жизни. Поражён глубиной сострадания, душевной болью, переживаниями о несостоявшейся любви, выраженных в написанном. Читаю эти стихи по нескольку раз, и что удивительно – читаю с огромным удовольствием, – с каждым разом находя в ней новые трепетные моменты. Многих из моего окружения заинтересовала эта книга, каждый находит в этих стихах что-то схожее со своим. Вы можете приблизительно представить себе, что для нас, з/к, эта литература, если своё драгоценное время, сжатое до минимума время нашего досуга, мы проводим за чтением этих стихов. К огромному сожалению, нет возможности выразить слова признательности лично Н.М.Кравченко, поэтому просим это сделать вашу редакцию за нас.

Книга «Чужая жизнь» лишь десятая из книг Кравченко, а нам бы очень хотелось иметь в нашей отрядной библиотеке и другие её книги. Если вам не составит труда и финансовых потерь, просим вас пополнить наши книжные полки сборниками стихов Н.М.Кравченко. Убедительно прошу вас откликнуться на нашу просьбу и помочь разрешить эту проблему. Заранее премного благодарен.

С уважением, Иван Молочко и коллектив з/к 2-й терапии ОТБ-1».

Конечно, я не могла не откликнуться на такое замечательное письмо, лишний раз подтвердившее истину, что дух дышит, где хочет. Собрали с Давидом посылку из моих книг, но тут встал вопрос, как её доставить. По почте – дорого, отвезти лично – далеко. На помощь пришёл В.В.Разенко, преподаватель колонии строгого режима № 10, давний посетитель моих лекций в библиотеке. Он взялся передать книги по назначению. Этим посланием «из мест, не столь отдалённых», были навеяны стихи с эпитафией из И.Анненского: «А если грязь и низость – только мука...».

Мне пишет зэк, что всё находит отклик
в его душе в прочитанных стихах.
И просит он издателя: не мог ли
прислать им книг, погрязнувшим в грехах?

Казалось бы, что общего меж нами?
Не зарекайся – мудрость говорит.
Никто не вправе первым бросить камень.
У каждого в шкафу скелет зарыт.

Мир – камера огромного размера.
Подглядывает Бог в глазок луны.
Он знает: все достойны высшей меры, –
читая наши помыслы и сны.

«Наш коллектив и я, Иван Молочко,
пишу не столь из отдалённых мест...».
Так что в них суть и что лишь оболочка?
Душа взревёт, как поглядишь окрест.

«И время драгоценное досуга
мы на стихи затрачиваем все...».
«А если грязь и низость – только мука
по где-то там сияющей красе?»

Передавая посылку Разенко, я дала несколько своих книг заодно и для его колонии. Потом тюремное начальство выделило деньги на закупку моих книг для их библиотеки. Да и сам Разенко (заслуженный учитель РФ) частенько приобретал мои сборники для своих подопечных. Результат превзошёл все ожидания. Зэки, начитавшись стихов, настолько

прониклись ими, что решили устроить вечер по моему творчеству. Целый год они готовились: репетировали композицию по стихам, писали песни, один даже выучил целую поэму. Пригласили на этот вечер меня, а я взяла с собой Давида и Светлану Лебедеву, автора и исполнительницу песен на мои стихи.

У входа в колонию нас встречали любовно выписанные заключёнными, разрисованные розами плакаты с приветствием и цитатами из моего стихотворения «Рецепт», где говорилось, «как выжить нам и видеть мир как прежде». Вечер проходил в школе колонии. Я сидела «в президиуме», как почётная гостья, и слушала концерт по своим собственным произведениям в исполнении зэков.

Они читали стихи, выбранные ими по своему вкусу, и довольно интересно мотивировали свой выбор. Михаил Прожелуцкий 20 минут читал наизусть – ни разу не сбившись! – «Монолог Людмилы Дербиной, невенчанной жены Николая Рубцова» под гитарный аккомпанемент з/к Валерия Карпова, бывшего артиста Краснознамённого ансамбля имени Александрова. Тот же Карпов исполнил песню на мои стихи «Люди с хорошими лицами...». Эти слова с продолжением: «люди с такими лицами не совершат дурного» в исполнении рецидивистов вызвали невольную улыбку. Но хотелось верить, что это именно так. Потом местный бард исполнил для меня песню «Я к тебе не подойду», а тюремный поэт А.Штро читал свои стихи.

Затем настала моя очередь. Я, взяв на вооружение опыт Есенина, выступавшего среди бандитов со своей «Москвой кабацкой» и потерпевшего там с этим репертуаром полное фиаско, старалась читать им не резкие и эпатажные вещи, а тихую душевную лирику. «Мои» зэки в этом отношении мало чем отличались от есенинских. Они достаточно повидали грязи на своём веку, и «крутизной» их было не удивить, им хотелось чего-то «для души», о вечных ценностях жизни. Я читала «Чучело», «Копилку», «Саратову», стихи о маме, Светлана пела «Колыбельную», «Воробышка», «Школьную контрольную». Особенно их тронули стихи о вине:

Я знаю, истина в вине.
Не в том, что плещется на дне –
в неискупаемой, нетленной.
Она лежит на дне души.
Ей тяжело дышится в тиши.
Она одна во всей вселенной.

...Вина даётся нам сполна.
Её не вычерпать до дна.
И каждый день мой ею мечен.
Я от неё не излечусь.
Я с ней вовек не расплачусь.
Хотя платить уж больше нечем.

Я знаю истину: она
для понимания трудна,
пока не бьёшься в исступленье.
Я знаю, что такое Бог.
Бог – это боль, что он исторг.
И – искупленье, искупленье...

Потом зэки задавали вопросы, я отвечала. Впрочем, первый вопрос был обращен к Давиду: «Каково жить с женой-поэтом?» Давид довольно пространно отвечал, развивая эту болезненную для него тему. Слушали они, надо сказать, изумительно. Я даже не ожидала встретить здесь такую благодарную аудиторию: они ловили каждое слово, бурно реагировали, смеялись, задумывались. Под впечатлением этого вечера в колонии я тогда написала стихи:

Своей жизни несчастной виновники
и ответчики за грехи,
мне читают стихи уголовники,
и глаза у них так тихи.

Пальцы треплют листок тетрадный
и улыбка – где был оскал.
Словно лица их добрый сказочник
на мгновение расколдовал.

И казалось мне – в той обители,
где суров и насильствен кров,
нет мошенников и грабителей,
нет насильников и воров.

Мы – другие? А вы уверены,
если честно взглянуть назад?
Всем нам жизни срока отмерены,
все ответим мы за базар.

Всё – случайности, всё – условности...
Я их слушала, не дыша.
И к презумпции невинности
молчаливо взывала душа.

Это стихотворение позже вошло в мою новую книжку «Острые углы», которую я послала А.Кушнеру, и он отметил его в числе понравившихся: «А какое замечательное стихотворение про уголовников! Я ведь тоже, после окончания факультета, один год преподавал русский язык и

литературу в колонии для уголовников под Ленинградом. И тоже был поражён тем, как отверженная душа тянется к стихам!»

А вот один из зэков отреагировал на эти стихи предостережением: «Будьте осторожны в общении с уголовниками, – писал он мне. – Ваше стихотворение, в сущности, ошибка. Хотя мне эта ошибка понравилась». Об этом заключённом мне хотелось бы рассказать поподробнее.

В конце вечера, он, попросив слова, вдруг заявил на весь зал: «Я ожидал сегодня увидеть такую по-о-лную женщину – судя по Вашим стихам, а Вы такая хорошенькая!» (Имея в виду мои строчки: «Жизни нет от полноты», «Перед зеркалом красуюсь» и другие, где я иронизирую над своей начинающей полнеть фигурой. Мне польстил не столько сам комплимент, сколько доскональное знание моих стихов). Эта его фраза стала, что называется, крылатой. Присутствовавшее там саратовское телевидение в лице Е.Гришиной (ТНТ), до сего времени скучавшей в зале, вдруг оживилось и судорожно начало снимать уже завершавшийся вечер. В свой полутораминутный сюжет по ТВ они включили только эту фразу о моей мнимой полноте и довольный гогот зэков, сопроводив его ремаркой: «Заключённые старались быть галантными». А то, как меня встречали, как выступали, как слушали, засыпали вопросами, наконец, как мы со Светой Лебедевой исполнили им свою композицию – всё это осталось за кадром, как не стоящее внимания.

Когда я, уже давно привыкшая к пошлости нашего телевидения, всё же спросила Гришину: «Что же вы Лебедеву не показали, хотя бы мельком?», она ответила: «Это не входило в наши задачи». Им главное – чтобы прикольно. Пытались брать у меня интервью, но, убедившись, что на тюремную тематику я не пишу и на вопросы типа: «что Вас привело сюда?» отвечаю не так, как им бы хотелось, потеряли ко мне всякий интерес. Расспрашивали, в основном, местного поэта Штро, снимали его в фас и в профиль под портретами классиков, записывали его стихи, которые по ТВ и звучали. Мои в эту канву не вписывались. Ничего хорошего от этого сюжета не ожидая, я даже никому не сообщила из знакомых, чтобы его смотрели.

Но потом я вспомнила, что что-то всё же урывками они снимали, мне захотелось оставить на память хоть несколько кадров, и я позвонила Гришиной с просьбой переписать мне на плёнку весь отснятый материал.

– Сюжет? – оживлённо спросила она.

– Нет. Ваш сюжет никому не нужен, смотрите его сами.

Меня интересует всё, что не вошло в передачу.

Оказалось, что они наснимали всего на 15 минут. За переписывание этого кусочка Гришина потребовала с меня 200 рублей. Деловая барышня.

Дома я включила видеик и ещё раз с удовольствием просмотрела фрагменты вечера. Разглядела внимательно того, кто сделал мне комплимент. Он был пожилой, где-то под шестьдесят. Одет гораздо хуже, беднее своих сокамерников. Но что-то во всём его облике было такое, что наводило на мысль о случайности его нахождения там. На плёнке был запечатлён момент, когда Гришина пыталась его в коридоре после вечера: «Скажите, – шёпотом, чтобы не слышно было её вопроса, но микрофон его всё же уловил, – а Вы её не такой, кажется, себе представляли? Какой же?» – Как ей, бедной, хотелось снова услышать что-нибудь этакое про мои формы, чтобы оживить свой заплесневевший эфир! Увы. Долинин – тут я узнала его имя – Анатолий Леонтьевич Долинин – оказался на высоте. Он стал говорить о моих стихах, цитировать их. А это Гришиной, как мы уже знаем, неинтересно. У неё другие задачи.

– А что Вы там за записку ей передали? – продолжала свой закулисный допрос корреспондентка. (Я забыла сказать: Долинин тогда подошёл ко мне и протянул листок, объявив во всеуслышание: «Это моё признание Вам в любви!»).

– Это объяснение... в любви, да. Но в любви к её творчеству.

Гришина разочарованно оставляет Долинина. Потом та же безуспешная попытка «расколоть» Штро.

– Какие у Вас впечатления от вечера, от ведущей?

– Я был потрясён. Какие стихи! Я поражён силой её интеллекта и слога...

Гришина раздражённо меняет тему разговора. Ну и так далее. Надо ли говорить, что все эти оценки и впечатления, не говоря уже о каком-то журналистском комментарии, в эфир не попали. Дома я не без опаски развернула пресловутое «Признание в любви»:

«Уважаемая Наталья Максимовна! Я недавно познакомился с Вашим творчеством и очень рад, что у нас такой хороший поэт. Я с детства люблю стихи и сам немного балуюсь, поэтому хочу выразить своё отношение стихом:

Будоражат стихи Ваши,
будят совесть и стыд.
Словно чищу свою душу
тёркой строк и страниц.

Спасибо Вам за стихи. В моём лице у Вас ещё один горячий поклонник. Выйду, куплю Ваши книги. Они как будто для меня написаны. Как бы мне хотелось пообщаться с Вами не в заорганизованном мероприятии, а наедине. Душа просит человеческого общения. Увы.

Н.М., я мало знаю о Вас, но по стихам хорошо Вас чувствую и понимаю. Добивайтесь участия в работе общественных организаций: правозащитных, по помилованию и т.п. На людей нравственных острый дефицит, а в обществе столько зла. Здесь же оно сконцентрировано. Столько доноительства, лицемерия, уголовных «понятий», лжи, подлости, издевательства. Людям с моральными принципами тут особенно трудно. Сюда бы Вам направить свой талант, но ведь для этого надо «сесть».

Я оценила и юмор, и внимание к моему творчеству, и почтительную корректность и ответила Долинину тёплым ободряющим письмом. Ответ не заставил себя ждать: «Здравствуйте, Наталья Максимовна! Ваше письмо для меня как праздник. Рад, что Вам понравилось у нас. Встреча понравилась всем, все уходили просветлённые, но число участников могло быть много больше, если бы она проводилась в клубе. Многие, кто желал прийти, не вошли в список. Мой товарищ по заключению Авдеев Валерий проживает напротив вашего дома и где-то там выгуливал собачку, он так хотел попасть на встречу, но не мог. Надеюсь попасть, выучил четыре Ваши стихотворения по своему вкусу. Одно из них: «Двенадцать лет ношу тебя в себе...» он послал в письме своей невесте (скоро они зарегистрируются в зоне). Она в телефонном разговоре (сейчас эски могут свободно звонить кому хотят по платной карточке) благодарила его за прекрасные стихи.

Что касается телепередачи, то мы её не видели, но я знаю, как могут эти ребята выхолостить суть и выделить второстепенное, побочное. Но зато я стал телезвездой! 6-го апреля пошёл получать посылку из Романовки (от друга), а раздатчица (мент) спрашивает: «Это тебя показывали по ТВ на встрече с поэтом Кравченко? Молодец, – говорит, – хорошо выступил». И выдала мне посылку без очереди. И вложенную записку отдала. Обычно вложенные письма передают на цензурную проверку. Так что, Н.М., встреча с Вами доставила мне не только эстетическое наслаждение, но и практическое. Однако, это маленькая ложка мёда в бочке дёгтя. Я переносу заключение тяжело, хуже, чем другие. И дело не в том, что я изнеженный или малодушный. Дело вот в чём.

Благополучие зэка зависит в основном от его взаимоотношений с активом. Активисты – это осуждённые, которые сотрудничают с администрацией зоны и обеспечивают выполнение режимных требований. Понятно, что они пользуются поддержкой администрации, а завхозы ещё и деньги получают (небольшие, конечно). Так вот, большая часть этих активистов – подленькие типы, которые могут серьёзно отравить жизнь тому, кто не поддаётся вымогательству, не желает их подкармливать: делиться содержимым посылок, передач и т.д. Я из этих упрямец, с вытекающими последствиями.

Там, где начальник отряда нормальный, козлы (так называют активистов зэки) особо не наглеют. Нам не повезло с начальником, он безоговорочно на стороне козлов, и мне приходится туго. Всё бы ничего, но он мне заявил, что моё условно-досрочное освобождение (УДО) может не состояться. Вот это меня задевает больно. Я с первых дней заключения нацелен на УДО, активно участвую в жизни отряда и колонии, но будь ты хоть И.Христом, всё без толку, если не поладишь с козлами и через них с начальником отряда. Колонии считаются исправительными учреждениями, но такими не являются. Скорее наоборот.

Что до судьбы, то хотелось бы объяснить свои беды и ошибки судьбой, но это не так. У меня в феврале 2002 года вор украл зарплату. Я тут же это обнаружил и нанёс ему травму черепа. На следующий день он умер. При чём тут судьба. Типичная житейская ситуация с трагическим финалом. Досадно и горько. Нет, Н. М., обстоятельства, случай в жизни порой играют большую роль, но в основном мы сами делаем свою судьбу. «Не судьба меня кормила...» – пел Высоцкий.

Ох, извините, Н.М., у меня получается жалоба. Всё не так уж безрадостно и подтверждением этому наша встреча и Ваше письмо. Вы своим интересным письмом помогли мне. Пока писал Вам, отдохнул душой. До свидания, Наталья Максимовна. Если у Вас есть желание развить знакомство, то буду очень рад. У меня есть небольшие проблемы, но пока я не могу о них говорить. Был бы рад больше узнать о Вашей жизни, вообще и повседневной. Как живут саратовские поэты? Всего доброго. Анатолий Долинин».

Через полгода – ещё одно письмо: поздравление с Новым годом.

«Здравствуйте, Наталья Максимовна. Решил написать

Вам и поздравить с Новым годом. Я часто о Вас вспоминаю, о творческом вечере. Хорошо бы ещё раз так: послушать стихи, песни.

Я 23 ноября подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Надеюсь, к весне суд по УДО состоится, но в положительном решении не уверен. Вообще процедура УДО допускает злоупотребления, закон плохо отработан. Я писал об этом в Гос.Думу, но получил отписку. Наверное, депутаты посмеялись над эком, предлагающим проработать процедуру УДО. А жаль. Большинство людей сидят по стечению обстоятельств, как я, а не по преступному умыслу. Таких надо освобождать по УДО, ведь на содержание зэка идут большие деньги. Но нет, именно по этой причине ведомствам (зонам) выгодно тормозить УДО, что они и делают. Чем больше людей сидят, тем лучше для колонии.

Зачем я всё это пишу? Понимаю, что Вам это вряд ли интересно, но «у кого чего болит, тот о том и говорит». В этом людском муравейнике я чувствую одиночество и психологический дискомфорт. Это парадокс, что почти не с кем поговорить, а людей полно. Вот и пишу Вам, потому что почувствовал родственную душу. И знаете, Н.М., пишу вот и на душе легче, пусть даже и без ответа.

А вообще не всё так мрачно. Месяц назад у нас была премьера спектакля «Семейный портрет с посторонним» С.Лобозерова в театральном конкурсе между исправительными учреждениями Саратовской области. Было телевидение и газетчики. Мы сыграли неплохо, но результат конкурса ещё не объявили. Мне дали газету «РеЗОНАнс», где есть статья о нашем спектакле с фотопечатью (два снимка). Я там играл главу семьи. Послал сестрам (в Калугу и Н.Новгород) по одному снимку. Это редкие приятные моменты, а в основном тягомотина.

На работу не устроишься: молодым мест не хватает. Изучаю английский язык и безуспешно: прочитал две книжки на английском языке: «Алиса в стране чудес» и «Собака Баскервилей». Взялся было переводить «Пигмалион» Б.Шоу, но отложил, трудный текст. Сейчас повторно изучаю самоучитель и перечитываю «Собаку...», но без особого рвения. Так, чтобы занять себя. Я тренер по шахматам и хотел было здесь написать учебник (поурочный) по шахматной тактике. Но мешает постоянное дёрганье, а работа требует спокойных условий.

Мне тогда не досталась книга с Вашими стихами. Попросил почитать у Миши (ему досталась книга), но он её кому-то отдал. Если Вы откликнитесь на моё письмо, то я

прошу прислать 2-3 последних, ещё не опубликованных стихотворения, которые Вам самой наиболее нравятся. И ещё напишите о себе. Как пишется? Бывают ли творческие встречи?

Тогда, весной, Н.М., я Вам писал о том, чтобы Вы пробивались работать в общественные структуры, особенно по правам человека, а ещё лучше в депутаты. Советская система лицемерия, формализма и т.п. доминирует в работе нынешних демократических институтов. Пытаешься достучаться со своей болью, а в ответ отписка или вовсе без ответа. Извините, Н.М., но я опять об УДО. Есть закон об УДО, но он работает плохо, зачастую во вред (я о злоупотреблениях). Обществу и государству наносится большой ущерб, гораздо более существенный, чем, скажем, рухнувший мост, пожар и т.п. Но никуда не достучишься. Вспоминаю тульского левшу, который бился, доказывая, что нельзя ружья песком чистить. Так и умер в отчаянии. И тут сотни тысяч людей страдают, обществу наносится урон, а государственные институты даже не реагируют на сигналы бедствия. Чего же стоит наша демократия (власть народа!), если люди не могут со своими бедами или предложениями никуда достучаться.

А всё потому, что во власть проходят прощелыги, бюрократы, а интеллигенция бездействует. Я тогда Вас слушал и радовался, как просто, доступно Вы отвечали на вопросы, чувствовалась эрудиция. Вытеснять надо бездарей и мздоимцев с насиженных мест, иначе задушим демократическое движение.

Боюсь, у меня получилась какая-то политическая статья, а не душевное письмо, как бы хотелось. Наталья Максимовна, поздравляю Вас с Новым годом, желаю здоровья, благополучия, творческих успехов, радостного настроения, семейного счастья, взаимопонимания и любви. Если будет возможность, приезжайте к нам снова.

P.S. Н.М., если обрадуете меня ответом, то прошу вложить в конверт стержень для ручки, а то здесь не достанешь. И ещё штук 6 марок почтовых по 10 коп».

Я ответила, передала ему в колонию всё, что он просил: марки, стержни и – свою новую книжку «Острые углы». Вскоре пришло письмо со знакомым штемпелем: «Здравствуйте, Наталия Максимовна. Сегодня получил Ваше спасительное письмо. Я, Н.М., обычно стараюсь избегать сильных слов, но Вы меня спасаете в прямом смысле. У меня тут случились очень большие неприятности. Ваш подарок и письмо оживили меня, а то прямо сплошной негатив. Однако самое

тяжёлое уже позади, и я не буду об этом. Скажу лишь, что УДО мне уже не светит.

Я в один присест прочитал «Острые углы». До чего же мы с Вами похожи. Всё так близко, больно и приятно. Много звучит как афоризм. Я пометил страницы, которые особенно понравились: 27, 29, 38, 44, 52. А фразы: «Деспоты не любят диспутов», «смертный грех – чегоугодие», «одинока, но не одинака» – это же афоризмы, высокий уровень. Здорово.

А ещё я почувствовал в стихах безрадостность, боль, но и несломленность, надежду. Что касается родства душ наших, то хочу это выразить так:

Я такой же остроугольный,
но страдаю всего больней
оттого, что, делая больно,
зло становится всё сильней.

(Это про мои неприятности). В нашем неустроенном обществе мало любителей поэзии. Не до стихов. Вы, Н.М., с Вашей эрудицией, добротой, трудоспособностью, стойкостью просто необходимы в общественных структурах. А то, что Вы не желаете этого, то приведу слова Сенеки: «Тот, кто тяготится власти, нужен во власти». Главное, Н.М., гражданская позиция, а поэзия потом. «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Лично мне просто обидно и досадно, что человек с такой эрудицией, мастер слова, не реализует свои возможности на пользу людям.

В заключение просьба. Так уж получается, что только к Вам я могу обратиться, хотя и сознаю Вашу загруженность работой. Прошу о коротком свидании. Надо просто приехать и заявить о коротком свидании. Меня тут же вызовут. Много времени это не займет. Надо. Уснуть бы до конца срока – 23.02.09. Тяжело. Всего доброго, Н.М. Успехов Вам и здоровья. С уважением и надеждой Д. Долинин».

Я решила, что это уже слишком. И ответила Долинину, что приехать не смогу, да и не вижу в этом смысла, так как всё равно помочь ему чем-нибудь реальным не имею возможности. «А по поводу власти – мне даже странно, что Вы меня так уговариваете туда идти. Как Вы себе это представляете? Можно подумать, меня там только и ждали. Но что бы там ни было – я должна делать своё дело, ибо «дарование есть поручение». А уж есть ли от этого кому какая польза – судить не мне.

Мне жаль, что у Вас сорвалось с УДО, я понимаю, как трудно Вам приспособиться к этой среде, но уж как-нибудь продержитесь, не так много осталось. У Вас живой ум и

здоровая психика, Вы выдержите и забудете потом всё как страшный сон. Будьте здоровы, выносливы, терпеливы. С уважением Наталия Кравченко».

Ответ был сдержанно-раздражённым. Сквозь нарочито смиренные слова сквозили гнев и обида. «Здравствуйте, Наталия Максимовна. Когда я послал Вам письмо с просьбой о свидании, то потом сам себя ругал, так как просьба явно не соответствует степени наших отношений. Поэтому Ваш отказ я принял без обиды, но с досадой. С досадой на всю нашу гнилую интеллигенцию, которая горазда разглагольствовать, но не делать. Один добрый поступок стоит тысячи добрых слов и пожеланий. Что касается власти, то я имею в виду участие в работе общественных и государственных комиссий по правам человека, по помилованию и т.п. Там не надо быть пробивным, а надо быть добрым, умным, опытным человеком. Всё это у Вас есть, но КПД низкий. Это тема не для письма.

Н.М., моё письмо может быть излишне жёсткое (вначале). Я очень требователен в отношениях, но ещё более – к самому себе. Так что не обижайтесь. Зная Вашу загруженность, я не буду донимать Вас письмами. А за Ваши письма и стихи большое спасибо. В моём трудном положении это была поддержка. А трудно мне не потому, что не могу приспособиться к этой среде, а потому что не хочу этого. Приспособиться – значит стать таким же. Это низкое приспособленчество.

До свидания, Наталия Максимовна. Ещё раз поздравляю Вас с праздником 8 марта и желаю всего доброго. Утром этого дня я заварю чай и выпью за благополучие моих добрых знакомых и родных женщин, а значит и за Вас. А потом почитаю Ваши стихи. Для зэка и это праздник. Всего доброго. Анатолий Леонтьевич».

У меня на душе скребли кошки. Я вспоминала героя «Калины красной», вспоминала Фриду Вигдорову, которая боролась до последнего за спасение осуждённого Бродского. Вспоминала стихи самого Бродского об активной жизненной позиции:

...Он утверждает: цель в покое
и в равновесии души.
А я скажу, что это – вздор.
Пошёл он с этой целью к чёрту!
Когда вблизи кровавят морду,

куда девать спокойный взор?
И даже если не вблизи,
а вдалеке? И даже если
сидишь в тепле в удобном кресле,
а кто-нибудь сидит в грязи?

До меня дошли слухи о «неприятностях» моего корреспондента. Оказывается, он «добровольно перешёл в стан опущенных», не пожелав мириться с дикими зэковскими правилами, не пожелав участвовать в травле большинства самых униженных и оскорблённых. Не боясь «зашквариться», он открыто общался с теми «прокажёнными», разговаривал с ними, бросив таким образом вызов тюремным порядкам. Он даже пытался бороться с ними – писал жалобы куда-то наверх на местное начальство, отстаивая закон и справедливость. Это было равносильно самоубийству.

Я мучилась, не зная, как помочь человеку, чтобы не попасть при этом в двусмысленное положение. Приходили на память слова Цветаевой: «друг есть действие», Экзюпери: «мы в ответе за тех, кого приручили...» Но писать ему я уже не могла. Его фраза о «разглагольствовании гнилой интеллигенции» обесценивала любые мои слова утешения и поддержки. «Одно доброе дело стоит тысячи добрых слов и пожеланий». Ну что ж... Я-то считала, что слово – это тоже дело, но раз он такой прагматик... Мы сбросились с друзьями и собрали нашему герою огромную посылку килограммов на 20. Передали через знакомых. Я просила, чтобы не говорили, от кого. Мол, материальная помощь. Таким образом, я «откупилась» от своей грызливой совести. Дальнейшая судьба Долинина мне неизвестна.

Вскоре я узнала, что в вечерней школе колонии писали сочинения по моим стихам. Потом мне их передали. Одно из них запомнилось – ещё и из-за редкого имени автора: Александр Артурович Янович, который писал: «Обществу нужна такая поэзия. Это Святой дух, возвращающий желание жить. Сейчас, когда люди озабочены своими личными проблемами, создаётся мнение, что она им не нужна. Большинству. Но это только верхний видимый слой. Он, как броня непробиваемая, детище «индустрии». Наталия Максимовна, подобно военному инженеру-технику, изобрела новый улучшенный бронебойный снаряд, прожигающий души. Однако это взрывоопасное изобретение».

А позже я получила ещё одно письмо из той колонии, от Михаила Прожелуцкого, исполнителя моей поэмы о Людмиле Дербиной. Письмо было с такими дикими ошибками, что поначалу мне показалось, что это он нарочно,

«прикалывается». Но потом поняла, что писал он всерьёз. Содержание письма меня растрогало: «Здравствуйте, Наталья Максимовна! Ваши стихи мне очень пондравились. А больше всего я хочу выделить два стихотворения, это: «Своей жизни несчастной виновники...» и «Серьёзный мальчик, строгий музыкант...». А так я люблю все Ваши стихи. В них я вижу добро, ласку и в конце концов любовь. Одним словом, я вижу всё то, чего мне в жизни не хватало.

У меня есть две Ваши книжки, которые я читаю каждый день на работе, в отряде, некоторые знаю наизусть. Весной я собираюсь записать в музыкальном сопровождении Ваши стихи на аудиокассету на память. Я бы очень хотел, да и не только я, чтобы Вы выбрали свободную минутку и приехали в наше учреждение, а мы к этому времени бы подготовили для Вас концертную программу.

В сентябре я освобождаюсь из этих мест. И собираюсь поступать на театральный факультет. Просто я решил посвятить всю свою жизнь искусству.

С большим уважением и низким поклоном

Ваш поклонник Прожелуцкий Михаил».

Мне вспомнились свои строчки о «людях с хорошими лицами», слушающих стихи в зале:

...и, повлажнев ресницами,
веровать до смешного:
люди с такими лицами
не совершат дурного.

Может быть, не так уж это и смешно – веровать в это?

НЕПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вспоминается, как наш бывший деловой партнёр, обманом присвоивший себе всё, заработанное Давидом за пять лет, позвонил в Прощёное воскресенье и постным голосом проблеял: «Простите меня, Наталья Максимовна, если я Вас чем когда обидел». Что называется, отметился. Мне хотелось плюнуть в трубку. Ты сначала верни украденное, гад, а потом извиняйся. С того дня у меня стойкое неприятие этого «праздника».

Как можно «прощать» в обязательном порядке, не учитывая обстоятельств, в определённый, назначенный кем-то день? Что это за формализм, за насилие над моей душой и волей? Это почти то же, что отпускать всем грехи по списку (такая практика была одно время в храме «Утоли моя печали» в начале 90-х, когда паства не справлялась с наплывом прихожан). Да и не верю я в это всенепременное поголовное

«прощение». Сказать «прощаю» – ещё не значит простить. Чаще всего это просто словоблудие и фарисейство. Самолюбование: вот мол какой я сегодня благородный.

Бродский во всех интервью говорит об умении Ахматовой прощать, о том, что он обязан ей этим умением. Я бы этого о ней не сказала. Достаточно вспомнить историю с Гаршиным. Когда он в порыве ревности однажды не сдержался и ударил ее, Ахматова дико закричала и с этого дня не пускала бывшего жениха на порог, не внемля никаким мольбам о прощении. И даже когда Гаршин был при смерти и просил её прийти проститься – Ахматова не пришла. Как-то это не вяжется с её христианским всепрощением, декларируемым на словах. А то, что она сказала, будто «согласна с Постановлением» – так это не прощение, а конформизм.

Та же Ахматова как-то сказала нечто поразительное: «Достоевский не знал всей правды. Он полагал, что если ты зарубил старуху-процентщицу, то до конца жизни будешь мучиться угрызениями совести, потом признаешься и пойдёшь в Сибирь. А мы знаем, – говорила она, – что можно утром расстрелять 10-15 человек, а вечером пойти с женой в театр». И что, этих тоже – простить?

Соседом Окуджавы был человек, расстрелявший его отца. У него есть стихотворение об этом:

Убили моего отца
ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца –
зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,
лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
но рана та ещё во мне.

Как эстафету прежних дней
сквозь эти дни её несу.
Наверно, и подохну с ней,
как с трёхлинейкой на весу.

А тот, что выстрелил в него,
готовый заново пальнуть,
он из подвала своего
домой поехал отдохнуть.

И он вошёл к себе домой
пить водку и ласкать детей,
он – соотечественник мой
и брат по племени людей.

И уж который год подряд,
презревши боль былых утрат,
друг друга братьями зовём
и с ним в обнимку мы живём.

С каким убийственным сарказмом звучат эти строки, не дающим усомниться в истинном отношении Окуджавы к этому выродку. И даже когда он пишет, обращаясь к отсиженной 20 лет в лагерях матери: «прости его, мама, он не виноват», в том смысле, что – «не ведают, что творят», ясно, что ни он, ни мать никогда ни простить, ни забыть не смогут.

Здесь мне близка позиция Б.Чичибабина, который не мог, согласно Божьим заповедям, любить и прощать носителей зла, видеть в них братьев и сестёр, не мог отделить их от их страшных дел. Принять заповедь всепрощения для него значило пойти против себя, своей души, а значит, против того же Бога.

Пушкин перед смертью простил Дантеса. Но он был уже в таком состоянии... А если бы выжил? Я уверена – он опять бы стрелялся. Его горячая кровь не стерпела бы обиды.

Надо ли прощать врагам? А им это надо? Если да, то есть если они ждут вашего прощения – это уже не враги. Но, как правило, им этого прощения не надо. Либо они тебя ненавидят, либо вообще о тебе не думают. Да, лучше забыть об их существовании, как говорит Бродский. Не стоит концентрироваться на обидах, которые тебе нанесены. Зло побеждает, помимо всего прочего, тем, что оно как бы нас гипнотизирует. О зле, о дурных поступках людей, не говоря уже о поступках государства, легко думать – это поглощает. И это как раз и есть дьявольский замысел!

Да, может быть, забыть... Но – простить? «Станет легче»? Станет погано, словно съешь червивое яблоко. Это значит примириться со злом. Это то же равнодушие, из-за которого всё зло творится. Это так же противоестественно, как подставить другую щеку. Что-то в жизни я таких охотников не встречала, даже среди верующих. Есть вещи, за которые прощать – безнравственно. И прежде всего надо научиться не прощать себя.

Бродский называл себя кальвинистом. В том смысле, что ты сам себе судья и сам себя судишь суровее, чем Всемогущий, не проявляя к себе милости и всепрощения. Ты сам себе последний, часто довольно страшный суд.

У Майи Борисовой есть изумительное стихотворение – о чувстве вины, которое человек пронесит через всю жизнь:

А плата – ощущение вины...
Всего-то? Только лишь? За этот вечер?
За этих звёзд кружащееся вече,
за эти волны, точно валуны?

За ветер, несминаемый, как ластик?
За лодку, в берег бьющую кормой?
За упоенье безграничной властью
над миром, морем и над словом «мой»?
Мой маленький... На цыпочки встаю.
Как стебли трав, гибки мои суставы...
Ладонями, широкими, как ставни,
до глаз твоих горячих достаю.
Кто плачет там? Мне слёзы не видны.
Должно быть, надо, чтобы кто-то плакал.
Мизерная, нестоящая плата –
за счастье – ощущение вины.

Я десять лет хожу к вершку вершок
по светлым полдням и ночным ступеням.
Я десять лет выплачиваю пени,
а счёт и до сих пор не завершён.
Вина устало дышит мне в затылок...
А мы и вправду были влюблены?
Я всё забыла. Всё давно забыла.
Всё – кроме ощущения вины.

Не надо было. Ох, не надо было!..

Грехи нельзя «отпускать» – это не воздушные шарики и не птицы в клетках, их надо искупать – делом, жизнью. А не так, как в фильме «Остров»! Почему молитва этого убийцы, предателя и труса «доходит лучше»? Чем он лучше других людей? Тем, что спасал свою шкуру в монастыре, укрывшись за его стенами от правосудия? Иуда был честнее. Если бы он хоть попытался разыскать семью того командира, убитого с его помощью, как-то помочь ей, покаяться – не Богу, а людям, перед которыми виноват – это труднее. Раскольников покаялся и пошёл на каторгу, а не спрятался в монастыре. Какой же это вредоносный, фарисейский и гадкий фильм! Мне не понять всеобщего ослепления зрителей, критиков, режиссёров. Что их умиляет в этой фальшивой истории, в этом мерзком герое? В чём его «святость»? В том, что он молится день-деньской за других и себя?

Человек должен отвечать за свои поступки, а не прятаться за спину Бога, уповая на прощение. Слуцкий не простил себе участия в травле Пастернака. Асеев каялся и рыдал на могиле Цветаевой. Эти люди вызывают большее уважение и сочувствие. Каждый знает, где у него что болит. «Каждый сам себе отвори свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой» (С.Гандлевский). У всех в шкафу по скелету. Не надо об этом забывать. Как чеховский человек с молоточком, совесть не должна давать нам засыпать, успокаиваться.

У Бориса Рыжего есть такое стихотворение:

Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.

Отвечает цыганка, мол, ты умрёшь,
не живут такие в миру.

Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.

Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.

Перед кем вина? Перед тем, что жив.

И смеётся, глядит в глаза.

И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.

Друзей, любимых – прощаешь автоматически. (Ведь обижаешься только на тех, кого любишь, чьё отношение тебе не безразлично). «Провинился друг и повинился – ты ему греха не поминай» (Р.Гамзатов). «Если уж простить – то так, словно ничего не было» (Долли из «Анны Карениной»). Близким, любимым, друзьям можно простить всё. «И только те любимые глаза простят всё то, чего прощать нельзя» (Евтушенко). Словом, это естественный, органичный процесс. Прощается в тебе само, ты для этого не делаешь никаких умственных усилий, ты в душе уже давно простил тех, кого любишь, и только может быть, для виду какое-то время выдерживаешь характер.

Радость прощения. «И, всхлипывая, затихнуть, как в детстве, когда простят» (Цветаева). «Ты не знаешь, что тебе простили», – писала Ахматова. Бродский говорил, что у него всю жизнь в памяти эта её строка из «Шиповника». Это не только о себе. Это ответ души на существование. Прощающий всегда больше обиды.

ВЕРЮ Я В БОГА ИЛИ НЕ ВЕРЮ Я В БОГА

Аполлон Григорьев в стихотворении 1843 года, обращаясь к любимой девушке, писал:

Оставь меня... страдал ли много,
иль знал я рай,
и верю ль в жизнь, и верю ль в Бога –
не узнавай.

Почти тот же запрет на вторжение в личное читаем у Александра Кушнера:

Верю я в Бога или не верю я в бога,
знает об этом вырицкая дорога,
знает об этом ночная волна в Крыму,
был я открыт или был я закрыт ему.

А с прописной я пишу или строчной буквы
имя его, если бы спохватились вдруг вы,
вам это важно, Ему это всё равно.
Знает звезда, залетающая в окно.

И вообще это частное дело, точно.
И не стоячей воде, а воде проточной
душу бы я уподобил: бежит вода,
нет, — говорит в тени, а на солнце — да!

На этот вопрос, по-моему, невозможно ответить однозначно (если быть честной перед собой). Когда Карла Проффера спросили: «Верующий ли Вы человек?» — он ответил: «Ещё нет». Нельзя убедить или принудить кого-то прийти к Богу. Душа должна созреть для этого сама, в свой час. Как писал Блок, «не мучь, не трогай, не понуждай и не зови. Когда-нибудь придёт он, строгий, кристально-ясный час любви». У Б.Пастернака есть строки:

Ты спросишь, кто велит,
чтоб август был велик,
кому ничто не мелко,
кто погружён в отделку
кленового листа?

А действительно, кто это? Или что? Абсолют? Энергия? Трансцендентность? Наверное, нет человека, которого не занимал когда-либо этот вопрос. Чей это замысел, эта грандиозная программа — природы, космоса, звёзд, генов, магов, инопланетян? Чем разбираться и сомневаться, удобнее сказать: «Бог». Так устроил и управляет. Немудрёное трезвучие, а всё им сразу объясняется. Верить — приятно. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Хочется верить в некую «доброту космоса», по выражению Циолковского, что какой-то добрый ангел-хранитель там о тебе думает, заботится.

Если говорить о себе, то я не являюсь формально верующей, хотя уважаю право людей верить так же, как и право быть атеистом. Мне трудно охарактеризовать свою позицию однозначно. Я всё-таки считаю, что какой-то внутренний смысл во всём, что существует, есть. Полная неосмысленность, отсутствие духовной теплоты в мире для меня так же неприемлемы. В какой-то мере это, наверное, религиозное чувство, хотя оно не выливается ни в какую религиозную систему, в веру в какие-то догматы.

Я верю в судьбу. В то, что всё не зря в этом мире, не случайно. Заболоцкий говорил: «О, судьба знает, что делает! Судьба сценарна». Я верю, что свет и мрак в душе зависят не от чьей-то человеческой, довлеющей силы, но от чего-то

безымянного. Это и есть, если можно так выразиться, минимальный масштаб моей набожности.

Без этого ощущения какой-то мистической предопределённости всего сущего была бы невозможна моя поэма «По ту сторону света», где я попыталась представить, что нас может ожидать там, за гранью реального бытия. Поскольку никто в точности этого не знает, то я попыталась представить свою версию. Одна женщина мне потом попеняла в письме: «Вы так и не дали чёткого ответа, что же там, на том свете». Да, чёткого ответа на это у меня нет. Есть нечёткий.

У Баратынского есть такие строки: «Я не хочу притворным исступленьем обманывать ни юных дев, ни муз». Вот и я не хочу обманывать ни своё сердце, ни свой ум, ни своих читателей. У меня вызывают недоверие люди, которым всё и всегда ясно, которые видят мир в чёрно-белом свете. Не менее, чем воинствующие атеисты, неприятны и воинствующие верующие. Вспоминается, как один слушатель выговаривал нам по поводу предстоящего вечера Бродского: «А вы что, не знаете, что в пост нельзя рассказывать о неправославных поэтах? Неужели вы этого не понимаете? И вообще, какие-то поэты все у вас... неправославные».

Когда-то, в начале перестройки, зам. секретаря Ленинского райкома Н.Ковырягина вот так же с неодобрением отзывалась о поэтах, которых мы собирались приглашать в ДК «Кристалл», – Евтушенко, Ахмадулину, Дольского, Марину Кудимову: «Какие-то поэты у вас... с душком!» – «Но почему? Вот, например, Окуджава...». – «И Окуджава – с душком!» – отчеканила она.

Эти люди – религиозный ортодокс и партийная функционерка – вроде бы стоят на разных полюсах вероисповедания, но в чём-то близки друг другу. Воинствующие атеисты сейчас не в моде. Не удивлюсь, если та же Ковырягина теперь так же ревностно посещает церковные службы и соблюдает посты, как когда-то следила за чистотой партийной идеологии.

Религиозное поветрие охватило и творческую интеллигенцию. Очень многие поэты злоупотребляют церковной терминологией, в их стихах постоянно звучит тема: я и Бог. Это, по меньшей мере нескромно, так как предполагается, что Бог читает стихи данного поэта и как бы состоит с ним в переписке. О подобных случаях А.Кушнер с иронией писал: «Духовные стихи в журнале публикуя, он думает, что Бог читает «Новый мир». И ещё:

Отнимать у Бога столько времени,
каждый день, во всех церквях, — зачем?
И, придя домой в вечерней темени,
не спросив: А вдруг я надоем?

Вследствие подобных коротких отношений с Господом и упоминаний его имени всеу возникает религиозно-литературная инфляция. В.Ходасевич ещё в 1934 году писал в статье «Кризис поэзии»: «... некоторые молодые поэты в спешном порядке обзаводятся религиозными темами, внутренне им совершенно чуждыми, и соответствующим арсеналом образов. Насколько такая скороспелая литературная псевдорелигиозность недопустима с точки зрения религиозной — говорить не приходится. Будет очень печально и противно, если на Монпарнасе исполнится пророчество Блока: «Скоро каждый чёртик запросится //ко святым местам». Я вспомнила об этих блоковских стихах, когда получила очередное письмо от своего корреспондента, заключённого колонии строгого режима. Вот что он писал о своём отношении к вере:

«Я атеист, но в душе христианин. Мне очень близки христианские ценности. Если любовь, добро и вообще совокупность нравственных ценностей называть Богом, то я тоже верующий. Но верить в Бога как в некую сверхъестественную, всемогущую, управляющую вселенной силу, не только не могу, но убеждён в обратном. Я не воинствующий атеист и считаю верующих просто недостаточно образованными людьми, не умеющими или не желающими мыслить критически. С другой стороны, если вера в Бога помогает жить, творить и т.п., то ради бога, но это уже другая тема.

У нас в зоне есть православная церковь и молельное помещение для мусульман. Их религия, на мой взгляд, более жёсткая, нетерпимая. Всемирные протесты мусульман по поводу всего лишь рисунка не могут не озабочивать. Эти фанатики во имя Аллаха легко пойдут на применение ядерного оружия и гибель цивилизации. В клубе в прошлом году выступил христианский поп по случаю Дня Кирилла и Мефодия, основателей славянской письменности. Потом выступил имам, который с напором говорил, что Бог един, намекая, что Христос не бог. Наш поп молчал. По этому поводу я написал:

Нету Бога вне Аллаха, —
твердит мусульманский свет.
Я согласен. Скажу, однако,
что и Аллаха тоже нет.

А вообще насмотрелся я здесь на верующих – просто отвращение. Один по утрам, невзирая на погоду, снимает шапку и шевелит губами, закатывая глаза. А по «делюге» зверски убил жену».

Святые места
беспредела и блуда.
Окликнешь Христа –
отзовется Иуда.

(Ю.Глодов)

У меня был раздел в одном из сборников, который я назвала «Богопротивные стихи». Он был написан из чувства протеста против нашей внезапной поголовной и чаще всего формальной религиозности.

У Бога – в цейтноте,
ему не видны,
но все на учёте
у Сатаны.

Ах, мне бы, ах, мне бы
понять их разлад:
безбожное небо,
божественный ад.

В елее молитвы
стоять со свечой,
а после – на битву
огнём и мечом?!

Поклоны иконам
неистово класть –
и тут же законно
убить и украсть?!

Все спекулятивные
игры плохи.
И богопротивные
зреют стихи.

О, славьтесь, химеры,
и вечно, и днесь!
Безверья и веры
гремучая смесь.

Вера нередко подменяет людям человеческое тепло, заботу о близких. Как-то мне рассказали о человеке, который потерял любимую жену и с тех пор целые дни проводил в церкви. Когда ему пытались напомнить о плачущих дома голодных детях, он отвечал: «Мне душу свою спасать надо!»

Второй случай произошёл со мной лично. Однажды вечером мне позвонила незнакомая женщина, которая знала меня через общих знакомых, и стала что-то сбивчиво,

сумбурно объяснять, жаловаться, просить помощи, совета. Она была в ужасном, почти в неменяемом состоянии, я нутром почувствовала, как ей плохо и страшно. У меня были неотложные дела, но я всё отложила и говорила с ней, наверное, часа полтора. «Оказывала первую помощь», как говорила Ахматова. Убеждала, что и со мной такое бывало, что жизнь полна неожиданностей, счастливых случайностей и перемен, приводила какие-то примеры из литературы. Кажется, мне удалось её немного успокоить и обнадежить. У меня тоже отлегло от сердца: я чувствовала, что беда миновала, по крайней мере, в этот вечер эта женщина ничего с собой не сделает. А в конце разговора она призналась мне, что перед тем, как позвонить мне, она позвонила Кековой. И та в ответ на сумасшедший отчаянный бред стоявшего на краю бездны человека посоветовала ей... креститься. И спокойно положила трубку. Я вспомнила все эти подлые присказки: «Бог поможет», «Бог подаст», «Без воли Бога ни один волос с головы...», которыми, как щитом, прикрывают своё равнодушие холодные и бессердечные люди.

«Тепло верующих» всю жизнь искал Лесков и находил лишь в бедных чудаках. Теперь бы он и таких не нашёл. Вместо веры – холодная церковность, формальное пристрастие к обрядам, религиозность напоказ, вера в удобное для себя время. Я убеждена, что патронируя лишь внешним атрибутам веры и при этом не предъявляя никаких требований к своему поведению и поступкам, мы вряд ли достигнем благих целей. Бог не на небе, а внутри нас. Это любовь, милосердие, сочувствие, жалость – то, что помогает остаться человеком, сохранить в себе душу. Это не воспитать поклонами в церкви, соблюдением постов и поклонением святым мощам. Это воспитывается в семье, воспитывается искусством, литературой, поэзией, музыкой. Борис Чичибабин писал: «Для меня Бог начинается не «над», а «в», то есть внутри меня, в глубине моей, но в такой сокровенной глубине, когда она, не переставая оставаться моей личностной глубиной, моим невозможно-идеальным, никогда в реальности неосуществимым, совершеннейшим «я», Божьим замыслом меня, свободным от искажений жизни и судьбы, становится уже и глубиной другого человека, и всех людей, живущих и живших на земле».

«Чту любую я веру, если совесть она», – писал Наум Коржавин. Но такая религиозность встречается весьма

редко, так же как редко можно встретить искреннего, сочувственного, глубоко милосердного и сердечного человека.

Вспоминается где-то слышанный анекдот: «Когда я был маленьким, я молил Бога о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога о прощении». Мир заполнен подобными «верующими», которые живут, не стесняя себя божьими заповедями, но всегда находя способ договориться с Всевышним. Я, мол, тебе свечку, покаяние, а ты мне, соответственно, отпускаешь грехи. И.Бродскому не нравилось в христианстве то, что он называл «постыдным торгом», сделкой: «я сделаю то-то, и за это получу это, совершу какое-то количество добрых дел на земле, и за это мне уготовано тёплое местечко в Царствии Небесном. Он против торгашеской психологии, которая понижает христианство: сделай это – получишь то. Как в продуктовой лавке.

Бродский придерживался представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обоснованной воли. Ему ближе идея своеволия, непредсказуемости, непостижимости божественного. Ему нравится в Ветхом завете мысль о правосудии, не о конкретном правосудии, а о Божьем, и то, что там постоянно говорится о личной ответственности. Он отвергает все те оправдания, что даёт людям Евангелие.

Бродский говорит, что если определять себя каким-то образом в церковных категориях, то он назвал бы себя кальвинистом. Это человек, которому присуща склонность судить себя наиболее серьёзным образом, который не перекладывает этот суд на Бога, не доверяет ничему иному, в том числе суду Высшего существа. «Мне нечего сказать людям, которые считают: «Я хоть и поросёнок, но Бог меня всё равно любит». Это не для меня. Мне такое проявление божественности уважать было бы сложно».

Религиозность Бродского невозможно уложить в рамки какой-нибудь одной ветви исторического христианства: католицизма, православия, протестантизма. Она в значительной мере включает в себя и иудаизм, и эллинизм, соками которых питалось и питается до сих пор древо христианской веры. Разнообразные формы религиозных доктрин не отражали всей полноты его внутреннего метафизического ощущения.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
(«Остановка в пустыне»)

Бродский отрицал любую церковь, ссылаясь на В.Соловьёва: «Перегородки, разделяющие конфессии, не доходят до неба». Даря свою книжку рождественских стихов знакомым, подписывал: «От христианина-заочника». Ему была свойственна любовь к Христу, но не поклонение ему. «Я не любил жлобства, не целовал иконы». Бродский говорил о себе: «Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что я не варвар». Солженицын о христианских исканиях Бродского отзывался скептически, считая его религиозное чувство зачаточным и непрочным. Римская православная церковь по этой причине отказала Бродскому после смерти в месте под православным солнцем, то есть в русском пантеоне на кладбище СанМикеле. Отказала как нехристю.

Ну а куда же отнести в таком случае такие произведения поэта как «Авраам и Исаак», «Большая элегия Джону Донну», «Разговор с небожителем», «Остановка в пустыне»? Куда отнести сотни строк в других стихах, в которых драма отношений человека с Богом пережита глубоко, страстно, отважно? Куда деть прямую перекличку с пушкинским «Дар напрасный, дар случайный...», с лермонтовским «За всё, за всё тебя благодарю я...»? Как истолковать прямо высказанное кредо в стихотворении «Два часа в резервуаре»:

Есть истина. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье – слепота, а чаще – свинство.

«Поэт – это, прежде всего, строй души», – говорит Цветаева. И строй души поэта Бродского полнее всего описывается его любимой фразой, присказкой, девизом: «Взять нотой выше». Мы готовы восхищаться порывом человеческой души вверх, но часто забываем, какое это опасное дело. Ведь «взять нотой выше» означает прежде всего – не дать себе застыть на довольстве собой и окружающим ни на одну секунду. Да, это единственный способ подняться очень высоко. Но там, в вышине, ты вдруг обнаруживаешь, что хода назад, вниз, уже нет. Это и описано подробно в стихотворении Бродского «Осенний крик ястреба», про которое

Солженицин справедливо замечает, что это «самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни».

У нас сейчас принято представлять всех великих поэтов канонически верующими, за уши притягивать их к православию, отбирая лишь такие стихи и факты. Однако если копнуть поглубже, убедишься, что не всё так однозначно в их отношениях с Богом. Примеры? Пожалуйста.

Религия Шарля Бодлера – напряжённое сосуществование Бога и Сатаны, надмирного и земного.

Лишь глянет лик зари и розовый, и белый,
и строгий Идеал, как грустный, чистый сон,
войдёт к толпе людей, в разврате закоснелой, –
в скоте пресыщенном вдруг Ангел пробуждён.

Вся его книга «Цветы зла» от первой до последней строки – исповедь странного человека, находящегося в постоянных метаниях между светом и мраком.

Крылатый серафим, упав с лазури ясной
орлом на грешника, схватил его, кляня,
трясёт за волосы и говорит: «Несчастный!
Я – добрый ангел твой! узнал ли ты меня?

Ты должен всех любить любовью неизменной:
злодеев, немощных, глупцов и горбунов,
чтоб милосердием ты мог соткать смиренно
торжественный ковёр для Господа шагов!

Пока в твоей душе есть страсти хоть немного,
зажги свою любовь на пламеннике Бога,
как слабый луч прильни к Предвечному лучу!»

И ангел, грешника терзая беспощадно,
разит несчастного своей рукой громадной,
но отвечает тот упорно: «Не хочу!»

Бодлер писал: «Даже если бы Бога не существовало, всё равно религия была бы святой и божественной. Бог – вот единственное существо, которому, чтобы всевластвовать, даже нет надобности существовать». В письме матери он признавался: «Я всей душой хочу верить, что некое внешнее и невидимое существо интересуется моей судьбой, но как сделать, чтобы поверить в это?»

Его отношения с Богом – особого рода. Главная особенность религиозности Бодлера – не обретение Бога, свойственное всем конформистам, но вечный поиск, бесконечность богоискания, нескончаемая «жажда небытия», как сформулировал это безнадежное чувство он сам в одноимённом стихотворении. Бодлер искренне верил в чудотворность молитв и часто просил близких молиться за него. В дневнике он писал: «Клянусь самому себе принять отныне

следующие правила в качестве вечных правил на всю мою жизнь: каждое утро молиться Богу как вместилищу всякой силы и справедливости». И пояснял: «Человек, совершающий ввечеру молитву – всё равно, что офицер, выставляющий часовых. Он может спать спокойно».

Однако этот мистический порыв, эта почти монашеская дисциплина прекрасно уживались в Бодлере с аномальным поведением, осуждаемым религиозной моралью. Он хотел верить в Бога и – пребывать в грехе. Как он считал, настоящий человек – каким задумал его Бог – с неизбежностью соединяет в себе небеса и грязь. «В человеке, – писал он Флоберу, сосуществует одновременно два устремления: одно – к Богу, другое – к Сатане. Человеческая природа порочна и божественна одновременно. Меня всегда преследовало ощущение невозможности объяснить некоторые внезапные поступки или мысли человека, не допустив предположения о вмешательстве какой-то злой, внешней по отношению к нему силы».

Ты – розовый рассвет, ты – ночи сумрак чёрный,
всё тело в трепете, всю душу полнит гул, –
я вопию к тебе, мой Бог, мой Вельзевул!

В стихотворном «Предисловии» к «Цветам зла» поэт прямо заявляет, что человек безволен, что им руководит Сатана, который держит в своих руках все нити, движущие человеком.

О мудрейший из ангелов, дух без порока,
тот же бог, но не чтимый, игралище рока,
сатана, помоги мне в безмерной беде!

Вождь изгнанников, жертва неправедных сил,
побеждённый, но ставший сильнее, чем был,
сатана, помоги мне в безмерной беде!

Всё изведавший, бездны подземной властитель,
исцелитель страдальцев, обиженных мститель,
сатана, помоги мне в безмерной беде!

Само обращение Бодлера к образу Дьявола – продолжение давней литературной традиции, восходящей к Данту и Мильтону, наирелигиознейшим поэтам мира. Он верил настолько горячо, что не мог удержаться от богохульства:

А Бог не сердится, что гул богохулений
в благую высь идёт из наших грешных стран?
Он, как пресыщенный, упившийся тиран,
спокойно спит под шум проклятий и молений.

Для сладострастника симфоний лучших нет,
чем стон замученных и корчащихся в пытке,
а кровью, пролитой и льющейся в избытке,
он всё ещё не сыт за столько тысяч лет.

Это – из стихотворения «Отречение святого Петра», приговорённого судом к изъятию. А в стихотворении «Авель и Каин» звучит не только яростный бунт против Бога, но и жажда компенсации той исторической несправедливости, по которой сыновья должны были отвечать за преступления отцов, протест против порочности племенной доктрины «око за око, зуб за зуб»:

Род Авеля, блаженный в Боге,
тебе даны и сон, и снедь.
Род Каина, тебе, убогий,
во прахе ползать и истлеть.

Род Авеля, тебе во благо
тучнеет злак, плодится скот.
Род Каина, как пёс-бродяга,
скулит голодный твой живот.

Род Авеля, твой дом – чертоги,
тебя согрел очаг родной.
Род Каина, в своей берлоге
ты, как шакал, дрожишь зимой.

Род Авеля, владея садом,
пасёшься ты, подобно тле.
Род Каина, тебе и чадам
блуждать бездомно по земле.

Род Авеля, тебя ждёт плаха
и вскинутых рогатин лес.
Род Каина, восстань из праха
и сбрось Всевышнего с небес!

«Цветы зла» Бодлера – это притязание на богоизбранность вопреки чувству богоотверженности.

Болтливый род людской, двухдневными делами
кичащийся. Борец, усиленный в борьбе,
бросающий Творцу сквозь преисподни пламя:
– Мой равный! Мой Господь! Проклятие тебе!

Но именно потому, что поэт противостоит Творцу, он признаёт Его власть. Его поношения являются, по сути, молитвами, вывернутыми наизнанку.

Когда уже после смерти Некрасова его вдову Зинаиду Николаевну спрашивали о религиозности мужа, она отвечала: «Не знаю, был ли он религиозным, но с ближними он поступал как милосердный самаритянин. Что бы о нём ни говорили, это на редкость добрый и сердечный человек был». На вопрос о религиозности Некрасова правильной всего ответить: и да, и нет. Нет – если искать у Некрасова каких-либо религиозных мотивов и священных имён. О церкви он, правда, довольно часто упоминает, но, скорее, в

плане бытовом, отмечая как естественную черту русского пейзажа, русского жизненного уклада.

Но в пользу «да» основания много глубже. «Христианский» не значит «церковный», и продуктом христианской культуры может быть явление, внешне чуждое символам и догматам. Некрасов – христианский поэт в том значении, что всё, им написанное, продиктовано уязвлённой совестью, незаживающе раненным сердцем. Он в тысячу раз больше христианский поэт, нежели его обличитель В.Соловьёв, дававший лишь стихотворные иллюстрации к своим религиозным идеям, как мог бы давать их к идеям философским или научным. Некрасов же христианский поэт по сути своего творчества.

А.Фет уже студентом-первокурсником был непоколебимо убеждённым атеистом. Для юноши 30-х годов 19 века, поэта-романтика, принадлежавшего к кругу молодежи, увлечённой идеалистической философией, эта позиция необычная: там были мучительные сомнения в религиозных истинах, настроения богоборчества – здесь же было спокойное и твёрдое отрицание. Когда Аполлон Григорьев, исполненный религиозного рвения, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, нашёптывал ему в ухо мефистофельские сарказмы.

Если Пушкин в конце жизни пришёл к Богу, то Фет непреклонным атеистом остался до последних дней. Когда, незадолго до его смерти, врач посоветовал жене поэта вызвать священника, чтобы причастить больного, она ответила, что «Афанасий Афанасьевич не признаёт никаких обрядов» и что грех этот (остаться без причастия) она берёт на себя. Этот факт сообщает биограф Фета Б.Садовский, который даёт к этим словам такое пояснение: «Фет был убеждённым атеистом. Когда он беседовал о религии с верующим Полонским, то порой доводил последнего, по свидетельству его семьи, до слёз». Об атеизме Фета, о спорах, в которых он опровергал догматы религии, рассказывает в своих воспоминаниях старший сын Льва Толстого.

Однако такой парадокс: у атеиста Фета – умнейшие стихи о Боге, по велению коего светлый серафим однажды «громадный шар возжёт над мирозданьем». И, обращаясь к Творцу мира, человек говорит:

Нет, ты могуч и мне непостижим
тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
ношу в груди, как оный серафим,
огонь сильней и ярче всей вселенной.

Меж тем как я, добыча суеты,
игралище её непостоянства, —
во мне он вечен, вездесущ, как ты,
ни времени не знает, ни пространства.

У Фета – прекрасные стихи о Христе, об искушении его сатаной в пустыне («Когда Божественный бежал людских речей...»). Атеизм атеизмом, но Фет ощущал мир как высшее художественное творение и себя как персонаж некоего грандиозного, не постижимого разумом сюжета.

Душа в тот круг уже вступила,
куда невидимая мгла
её неволей увлекла.

(«На корабле»)

Чего хочу? Иль, может статься,
бывалой жизнью дыша,
в чужой восторг переселяться
заране учится душа?

(«Бал»)

Душа для Фета – совершенно самостоятельная реальность, субстанция, наблюдаемая поэтом при всех её трансформациях, странствиях, мытарствах, воплощениях. А так видеть её может только человек, пронизанный верой, живущий ею и по-другому жить не умеющий. Так что ж, атеист ли Фет? Да, всё-таки атеист, но такой, который в ощущении Бога не уступит и людям, проникнутым органичной для них верой.

Однажды Фет, по свидетельству очевидца, во время спора вскочил, стал перед иконой и, крестясь, произнёс с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать пресвятая Богородица, благодарю вас, что я не христианин». Однако, как сказал один религиозный мыслитель, «душа – по природе своей христианка». Можно добавить: стихи по природе своей связаны с божеством. Ведь поэзия и возникла как молитва, заговор, заклинание. И что бы ни думал, что бы ни говорил поэт в жизни, в стихах он никуда от Бога не уйдёт. Такова сила поэтической традиции, таков язык, так устроено наше сердце, таково благоговение перед жизнью и благодарность, диктующая стихи.

Это понимал и Бродский, который обращается в стихах к Высшему существу не литургически, а непосредственно и интимно:

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за всё...

(«Римские элегии»)

... в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— прости меня.

(«Литовский дивертисмент»)

И Пастернак:

«О Господи, как совершенны
дела твои, — думал больной, —
постели, и люди, и стены,
ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
и плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слёзы
мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
чуть падающем на кровать,
себя и свой жребий подарком
бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
и прячешь, как перстень, в футляр».

(«В больнице»)

И А.Кушнер, почти все стихи которого — это молитва благодарения. Как бы полемизируя с Лермонтовым по поводу его саркастических строчек «За всё, за всё Тебя благодарю я...», Кушнер благодарит Его за неповторимое счастье жизни:

За что? За ночь. За яркий по контрасту
с ней белый день и тополь за углом,
за холода, как помните, за астму
военных астр, за разорённый дом.
Какой предлог! За мглу сырых лужаек,
за отучивший жаловаться нас
свинцовый век, за четырёх хозяек,
за их глаза, за то, что Бог не спас.

За всё, за всё... Друзья не виноваты,
что выбираем мы их впопыхах,
за тяжких бед громовые раскаты,
за шкафчик твой, что глаженьем пропах,
за тот смешок в минуту жизни злую,
за всё, чем я обманут в жизни был,
за медь дубов древесную сырую
и за листовку чугунную перил.

У меня есть такое стихотворение:

Если очень тошно или больно –
ничего не требуй от икон.
Бог не слышит жалобы и мольбы.
Только благодарных слышит Он.

Он свою божественную манку
на голову сыплет с высоты
тем, кто видит мир не наизнанку,
а его прекрасные черты.

Порой я слышу претензии и упрёки со стороны некоторых читателей: если для меня нет Бога, зачем тогда его имя так часто упоминаю в своих стихах? Дескать, это неискренно и кощунственно.

Тут нет никакого противоречия и лицемерия. Будь ты хоть трижды рационалист и атеист по убеждениям, но, занимаясь искусством, ты на каждом шагу изменяешь собственным принципам, потому что берёшь в расчёт нечто необъяснимое и сверхъестественное. Бог в представлении поэтов, философов – это не церковный Бог, а нечто большее, некий Абсолют, включающий такие понятия как Дух, Добро, Совесть, Истина. «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», – писал Жуковский. Каждое стихотворение – в какой-то степени молитва, ибо обращено, как говорил Мандельштам, к «провиденциальному собеседнику», к тому лучшему, что в тебе заключено и тебе не принадлежит.

Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
с подсвечником, её резным иконостасом,
а там, где ты о нём подумал, – над строкой
любимого стиха, и в скверике под вязом,
и в море под звездой, тем более – в тени
клинических палат с их бредом и бинтами,
и, может быть, ему милее наши дни,
чем пыл священный тот, – ведь он менялся с нами.
Бог – это то, что мы подумали о нём,
с чем кинулись к нему, о чём его спросили...

(А.Кушнер)

Лариса Миллер говорила в одном из интервью: «Я не воцерковлённый человек, но считаю, что пишущему быть атеистом невозможно: слишком сильно чувство, что строчки посылаются, диктуются кем-то свыше. Это не мной открыто, многие поэты вели этот диалог и до меня, связь с «голосом вещим» чересчур осязаема, чтобы в неё не верить. Но посредники в этом диалоге мне ни к чему. Для меня Господь – некий Абсолют, к которому я могу обращаться».

Был ли Пушкин истинно религиозным человеком, верил ли в Бога, христианские догмы, загробную жизнь, ад и рай, посмертное возмездие и воздаяние? Известно высказывание Николая I о том, что Пушкина с трудом заставили умереть по-христиански. Дуэль, и всё его поведение, и «кощунственные» стихи, расходившиеся в списках – всё это не укладывалось в понятие «истинный христианин». Ведь даже в «Памятнике» стихи «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит...» ужасны с церковной точки зрения: христианской вере в бессмертие души противопоставлена вера в бессмертие поэзии – только такое бессмертие Пушкин мыслил реальным для себя. Хотя в том же «Памятнике» в последней строфе поэт призывает музу быть послушной «веленью Божию». Что это? Невольное признание в вере или просто словесная формула, своего рода речевое клише? И то, и другое. На небольшом пространстве одного стихотворения столкнулись два противоречащих друг другу мировоззрения.

Поэт, как и всякий человек, живущий сердцем и умом, всю жизнь колеблется между «да» и «нет», верой и неверием. Но поэт, может быть, чаще других ощущает себя орудием высших сил: он и сам пишет, и кто-то как будто подсказывает ему, водит его рукой. Как писал Баратынский: «дарование есть поручение».

Для поэзии губительны нападки церковников, наставлявших и отчитывавших Пушкина по поводу стиха «Дар напрасный, дар случайный...». Иные наши новоиспечённые христиане готовы объявить кощунством любую самостоятельную поэтическую мысль, не совпадающую с ортодоксальными представлениями. Нет надобности изображать Пушкина безбожником, антирелигиозным мыслителем. Речь о другом: о сердечной свободе, о свободе мысли, свободе выбора. Пушкин учил поэта «никому отчёта не давать», «не угождать» общему мнению, жить, мыслить и чувствовать самостоятельно.

Противоречивость природы Аполлона Григорьева ярко сказалась и в его отношении к Богу. В ранних стихах поэта мы встречаем скептические, даже кощунственные строки, обращенные ко Всевышнему. Его вера носила какой-то утилитарный, материалистический характер. Одна из заветных мыслей Григорьева – Бог должен помочь опустившимся людям, вплоть до чудесной материальной помощи. Бог даст! Может быть, подкинет на улице кошелек с деньгами. С долей цинизма Григорьев называл Бога великим

Банкиром. В стихотворном послании друзьям он полушутя-полусерьёзно заявлял:

И сам я молод был, и верил в благодать,
и наконец устал и веровать, и ждать.
И если жду теперь от Господа спасенья,
то разве в виде лишь огромного имения.

Порой он бросает упрёк, вызов Богу, ведёт тяжбу с ним:

Свершают непреложные законы
все бранные создания Твои.
И Ты глядишь, как гибнут миллионы
с иронией божественной любви.

Тщетно на распятыи обращен мой взор.
На устах проклятыи, на душе укор.

Но с годами его отношение к религии меняется. О том, как происходит переворот в его сознании, как под влиянием любви душа его обращается к Богу, ярко передано в стихотворении А. Григорьева «Дневник любви и молитвы». В нём говорится о том, как поэт, зайдя в старинный мрачный храм, равнодушно наблюдал за молящимися людьми:

Вдали от всех я у стены стоял
и, ко всему святому равнодушный,
над верою толпы, живой и простодушной,
в душе, как демон, злобно хохотал.

И вдруг он замечает девушку:

Там одна
близ гроба Искупителя стояла,
молилася так пламенно она,
смирненно так колена преклоняла.
Невольно к ней я взоры приковал
и отвести не мог...
Её прекрасное и бледное лицо,
сиявшее тоскою и надеждой,
тень локонов, свивавшихся в кольцо,
и очи чёрные, и чёрный цвет одежды –
всё было дивно в ней... Печальна и бледна,
мне Божьим Ангелом явилася она.
Казалось, он по небесам грустил
и небеса за грешников молил.
И каждый раз, когда, колена преклоня,
она свой взор на небо обращала,
мечталось мне: она молилася за меня
и грешника молитвою спасала.
И странно! Сам давно забытые слова
я лепетал греховными устами
и крест творил – и гордая глава
склонялася во прах пред образами.

И верил я, что Сын Живаго Бога,
пришедший в мир погибших взыскать,
недаром счастья мне послал с небес так много,
недаром дал любви и веры благодать.

А в конце жизни в поэме «Вверх по Волге» он скажет:

Я чувствую, ещё огня
есть у души в запасе много.
Пусть я сам его гасил,
ещё я жив, коль сохранил
я жажду жизни, жажду Бога!

Сергей Есенин свою веру, мечту в будущее России, каким он его видел, воплотил в поэме «Инония». Название рождено из «Откровения» Иоанна: «И увидел я новое небо и новую землю».

Не утрашуся гибели,
ни копий, ни стрел дождей, —
так говорит по Библии
пророк Есенин Сергей.
Время моё припело,
не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело
выплёвываю изо рта.

Такие катаклизмы бывают в душах больших художников, вспомним хотя бы Л.Толстого, но они сродни не плоскому атеизму, не антирелигиозному хулиганству, а, скорее, мощной религиозной ереси. Это не порицание Бога, а переосмысление его воли, отчаянная попытка создания своего нового Третьего Завета. Не порицание христианства, а попытка по-новому истолковать его.

«Проклинаю я дыхание Китежа...», «Тело, Христово тело...» – кощунство, но ради чего? Ради того, чтобы устроить божескую жизнь на земле без жертвенных мук, от которых устало человечество. «Не хочу воспринять спасения через муки его и крест». Христианство требовало причастия жертве, принесённой за человечество, оно покоится на крови святых мучеников, а пророк Есенин Сергей хочет в «Инонии» иного:

Языком вылижу на иконах я
лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
где живёт божество живых!

Спасение человечества – в преображении России, в рождении Богом и Приснодевой – Третьего Завета. Недаром Бог, как крестьянская корова, вот-вот готов разродиться: рёв родовых мук разносится над миром, и от этого рёва затыкают в ужасе уши монахи в пещерах.

Говорю вам – вы все погибнете.
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
вспух незримой коровой Бог.

И напрасно в пещеры селятся
те, кому ненавистен рёв.
Всё равно – он иным отелится
солнцем в наш русский кров.

Духовные роды России. Будущее в них, а не в атеистической Америке. «Богохульник» Есенин отвергает её материализм, ещё не побывав в ней, уже в семнадцатом году религиозно-мистическим чувством ощущая, что её мощь движет человечество к концу света:

И говорю тебе, Америка,
отколотая половина земли, –
страшись по морям безверия
железные пускать корабли!

Ещё в земском училище начался отход Есенина от официозного православия. По свидетельству односельчанина Воронцова, он «ещё в 12-14-х годах снял с себя крест и не носил его, за что его ругали домашние». Тут, конечно, сказались и старообрядческое происхождение. Но главное, творческой душе поэта было тесно в узких рамках какой-либо формальной религии.

В апреле 1914 года девятнадцатилетний Есенин пишет из Москвы другу: «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового. Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одарённого светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему. Жизнь... Я не могу понять её назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому неизвестно. Невольно почему-то лезут в голову думы Кольцова: «Мир есть тайна Бога. Бог есть тайна мира». Позже Есенин напишет:

Долга, крута дорога,
несчётны склоны гор.
Но даже с тайной Бога
веду я тайно спор.

Под влиянием города, среды, революции «смиранный инок», послушник – из первых стихов Есенина – превращается в богохульника, скандалиста, хулигана. Однажды ночью Есенин с группой имажинистов расписывает стены

Страстного монастыря (под предлогом выполнения антирелигиозных лозунгов) скандальными стихами:

Вот они, жирные ляжки
этой похабной стены.
Здесь по ночам монашки
снимают с Христа штаны.

На утро Страстная площадь была запружена возмущённым народом. Ни у кого из москвичей и сомнений не было, что это строчки Есенина. К тому времени его «Инония» была много раз напечатана и прочитана им в различных аудиториях. А там были такие строки: «Ныне же бури воловьим голосом //я кричу, сняв с Христа штаны...». Милиционеры уговаривали горожан разойтись, монашки, намыливая мочалки, пытались смыть строчки. Некоторые в толпе ругали Есенина, но большинство записывали четверостишие и кричали монашкам, что на Страстном монастыре давно пора повесить красный фонарь.

В другой раз Есенина чуть не побили, когда он в пасхальную ночь на бульваре, вскочив на скамейку, надрывая голос, начал читать «Инонию» и «Пантократора»:

Тыщи лет те же звёзды славятся,
тем же мёдом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
научил ты меня, Господь.

Верующие дрожали от негодования. «Бей его, богохульника!» – раздались крики из толпы. Но они тут же были перекрыты грозным окриком матросов, увидевших в поэте «своего парня»: «Читай, товарищ, читай!» Есенин продолжал читать и дочитался до бурных аплодисментов и подкидывания шапок в воздух.

Он и здесь шёл наперекор всему – ситуации, людям, традиционному восприятию привычных вещей. Однако богохульство богохульству рознь. Маяковскому, например, настолько равнодушному к Богу, что о кощунстве и тем более о богоборчестве говорить несерьёзно, достаточно было небрежно бросить: «А с неба смотрела какая-то дрянь». Крестьянин Есенин посягал на то, что для него по воспитанию и природе было действительно святынями жизни – оттого посягательства эти так отчаянны и истеричны. Так топчут лишь то, что тебе дорого, что приходится с кровью отрывать от души. «Тело, Христово тело //выплёвываю изо рта». «Что нам слюна иконная //в наши ворота ввысь?» Это – наперекор совсем иному: «Той ты Русь моя родная, хаты – в ризах образа». Или просьба, чтоб положили «в русской рубашке

под иконами умирать». Даты под стихами разные, но душа – единая. И по-своему цельная в том раздразе, где образ пьяницы, скандалиста не просто сменяет образ инока, но перемещается и даже совмещается с ним. За два месяца до смерти в незаконченном стихотворении 25-го года Сергей Есенин напишет:

Ты ведь видишь, что небо серое
так и виснет, и липнет к очам.
Ты прости, что я в Бога не верую.
Я молюсь ему по ночам.

Так мне нужно. И нужно молиться,
так желая чужого тепла,
чтоб душа, как бескрылая птица,
от земли улететь не могла.

Был ли верующим Булат Окуджава? Он был глубоко нравственным человеком. Всё его творчество ведёт к вере. Хотя внешних атрибутов её в его стихах мы не встретим.

А потом опять баранка и коварная дорога,
и умение, и страсть, и волшебство...
Всё безумное от Бога, всё разумное от Бога,
человеческое – тоже от него.

Воспитанный атеистическим государством, житель Безбожного переулка, Окуджава не был воцерковлённым человеком. У него встречаются, например, такие стихи:

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм.
Но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.

Время тогда было атеистическое, непримиримое к религии, и Окуджава свою молитву прикрыл именем Франсуа Вийона – чтобы песня прошла цензуру. А в песне об Арбате слова «ты моя религия» предусмотрительно заменил на «ты моя реликвия». Но вся поэзия Окуджавы проникнута глубокой, непоказной религиозностью. («Мне нужно на кого-нибудь молиться...»). Инна Лиснянская пишет, что, услышав эту песню, она подумала, что Окуджава верует, хотя и не хочет в этом признаться ни другим, ни даже себе.

В анкетах, интервью – утверждал, что атеист, а в стихах – атмосфера сложных духовных исканий.

«Дай Бог», – я говорил и клялся Богом,
«Бог с ним», – врага прощая, говорил.
Так, буднично и невысоким слогом,
так, между дел, без неба и без крыл.
Я был воспитан в атеизме строгом.
Перед церковным не вздыхал порогом,

но то, что я в вояже там открыл,
скитаясь по минувшего дорогам,
заставило подумать вдруг о многом.
Не лишним был раздумий тех итог:
пусть Бога нет, но что же значит Бог?

Гармония материи и духа?
Слияние мечты и бытия?
Пока во мне всё это зреет глухо,
и глух, и нем, и неразумен я.
Лишь шум толпы влетает в оба уха.
И как тут быть? Несовершенство слуха?
А прозорливость гордая моя?
Как шепоток, когда в гортани сухо,
как в просторечье говорят, «непруха»...
А Бог, на всё взирающий в тиши, —
гармония пространства и души.

Бог — не в церкви, не в библии — он во всём, что нас окружает. Окуджава воспевал простые и вечные человеческие ценности: «молюсь прекрасному и высшему» — таков его нравственный и поэтический девиз.

Не верю в Бога и судьбу,
молюсь прекрасному и высшему,
предназначенью своему,
на белый свет меня явившему...
Чванливы черти, дьявол зол, бессилён Бог — ему неможется.
О, были б помыслы чисты! А остальное всё приложится.

Помимо канонически верующих ортодоксов и убеждённых атеистов есть третья категория поэтов, которых можно назвать богоборцами. В своих стихах они упрекают, осуждают, проклинают Творца, кощунствуют и богохульствуют, то есть вроде бы отрицают, но то, с какой запальчивостью и с какой болью они к нему взывают и апеллируют, доказывает тем самым признание его существования.

В моей книге 2005-го года «Непрошедшее время» опубликовано эссе «Богоборцы», на которое я получила много откликов, причём очень разных, я бы сказала, взаимоисключающих. Елена Гурьянова пишет: «Н.М., меня потрясло Ваше эссе о богоборцах. Потрясло Ваше знание поэтов — верили или не верили они в божественную сущность. И как Вы видите своего Бога — что зовётся словом Любовь». Вот строки из письма Н.С.Войцеховской: «Сокрушаюсь, что церковь в наши дни без труда скликает всё больше молодёжи под своды куполов своих храмов». Это уже взгляд атеиста. А вот поэтесса Валерия Соколова,

напротив, возмутилась неверующими поэтами и написала мне длинное стихотворение по этому поводу. Приведу лишь начало:

За себя не обижаюсь.
Я обиделась за Бога.
Бесконечно поражаюсь –
сколь к нему претензий много!
И какая рать поэтов
в богохульстве преуспела!
А за что ему всё это?
Жизни сладкой им не сделал!
Сам в земной своей юдоли
был он нищим и без крова.
А поэтам – ты изволь им
счастья, денег и здоровья!
Всё им сделай в лучшем виде –
мир, покой и денег много.
А потом не будь в обиде –
обойдёмся мы без Бога.

Я прекрасно понимаю оскорблённые чувства верующего человека, но всё это, конечно, не так. То, что Соколова называет «претензиями», на самом деле – боль, отчаяние, вызванные смертью близкого человека, которые принимают вот такую форму – вызова Всевышнему, проклятий Богу-убийце. Такова, например, книга стихов Г.Русакова «Разговоры с Богом», посвященная памяти его жены, с гибелью которой он не в силах примириться:

И в последней моей наготе,
и в икотном бессмысленном страхе,
даже там, на отходной черте,
даже путаясь в смертной рубахе,
доклянью, довоплю, дохриплю:
«Не прощаю тебя! Не прощаю!»
Ты же знал, как я горько люблю...
Ты попомнишь меня. Обещаю.

Или поэт Вениамин Блаженный, который в отчаянье проклинает Бога, угрожая ему возмездием всех его земных жертв:

Мой дом везде, где побывала боль,
где даже мошка мёртвая кричала
разнузданному Господу: – Доколь?!.
Но Бог-палач всё начинал сначала.

Это не «претензии» к Богу, не жажда «сладкой жизни». Это жажда справедливости мироустройства, обида на жестокость, безжалостность провидения.

У меня тоже есть богоборческие стихи. Мне близко это состояние, так как я тоже недавно потеряла родителей.

Насытился, Господь? Теперь доволен?
Ты получил сполна, чего хотел,
напоминая звоном колоколен
о душах милых, отнятых у тел.

Глазами мёртвых небосвод унизан.
Лишь подойдёт вечерняя пора –
и вновь кому-то приговор подписан
небрежным звёздным росчерком пера.

Всевышний души в невод неба ловит.
Ужасный рок вовек необорим.
Не знать, не знать, что нам ещё готовит
грядущий день, не ведать, что творим...

Как-то по местному радио шла передача о православном барде Кириллове. Ведущая рассказывала его биографию: окончил университет по редкой специальности астрономия, по которой ни одного дня не работал – искал себя. И нашёл он себя уже в возрасте 46-ти лет в роли церковного сторожа. (Что-то очень долго искал, – машинально отметила я про себя). По-разному, конечно, жизнь складывается, но зачем рассказывать об этом по радио, чем здесь, собственно, хвалиться? А главный итог жизни – пришёл к Богу. То есть стал ходить в церковь и писать песни на божественные темы.

В последнее время это стало чуть ли не профессией – верить в Бога. Одни Родину любят – как работу какую делают, – профессионально, публично и печатно, другие по радио оповещают о том, что пришли к Богу. Как медаль себе навесят. Ну и что дальше? Этого уже достаточно, чтобы считать себя состоявшимся в жизни человеком? Вера в Бога – просто какая-то индульгенция для таких: всё, ты уже при деле, ты уже не просто бездельник, а ищущая и наконец обретшая себя личность, нашедшая приют в церковном храме.

Тут раздаётся звонок по радио – анонимный, но этот бархатный голос фата ни с кем не спутаешь – вездесущий Куракин. Сначала шли какие-то комплименты верующему барду, а потом неожиданный зигзаг мысли, – как мол, Вы, такой-рассякой православный и правоверный – что у Вас общего может быть с Натальей Максимовной, которая богохульствует и, в частности, пишет такое:

Что там, в этой мёртвой остуди –
Божья милость или месть?
Ненавижу Тебя, Господи,
так, как будто бы ты есть.

Кириллов опешил. Его со мной ничего не связывало, мы не были даже знакомы. Видимо, Куракин решил, что его предыдущая песня о храме написана на мои стихи (перепутал с «Церквушкой» на музыку С.Иванова) и – взыграло ретивое. Моя особа ведь постоянно у него на уме и на сердце, жить не сможет, пока какою-нибудь пакость мне не учинит.

Этот анонимный крик души нашёл живейший отклик в лице Макеевой. Она засуетилась и на недоуменный вопрос Кириллова «кто эта Максимова? Я такую не знаю», – попыталась прояснить ситуацию: «Ну, это отчество... Это... – мялась она, не решаясь назвать мою фамилию.

– Меня в чём-то обвинили, а в чём – я не понял, – забормотал православный бард, но, тут же сориентировавшись, заявил: «Но если этот человек богохульствует, то в Евангелии сказано: «не мечите бисер перед свиньями».

– Конечно, – поддакнула Макеева, – если человек не убеждается, то что ж, Бог с ним, таким...

О Боже! Ну как объяснить людям с куриными мозгами простые истины?! Я уже писала о своём отношении к религиозному вопросу в своих книгах, говорила на творческих вечерах. Попытаюсь ещё раз. Как говорил Высоцкий, «я популярно объясняю для невежд». Четверостишие, которое приводил Куракин – классическая формула богоборчества. Атеист не будет проклинать Бога, его для него просто не существует, нельзя проклинать ничто. Ренан писал: «Хула мыслителя угодней Богу, чем корыстная молитва пошляка». Моё эссе о богоборцах у меня сканировали, посылали в американскую церковь, передавали из рук в руки. Это исследование вызвало большой интерес в среде верующих. Кстати, в той же стихотворной подборке четверостиший у меня есть и такое:

Вся жизнь моя – это письмо
длиною в её дорогу,
кому-то, себе самой,
а в сущности – Богу.

Здесь нет никакого противоречия. В данном случае Бог – это эвфемизм, философская категория – олицетворение рока, слепой судьбы, высшей силы.

Я не верю в Бога, не хожу в церковь, не соблюдаю постов, для меня это не органично, и я не собираюсь перекрашиваться в угоду новой моде и новому времени. Девяносто процентов из верующих – именно из этих перекрашенных. И эти люди ничуть не лучше и не достойней тех, которые не верят.

Не спрашивай с Бога: Его в этом мире нет.
Небесное царство, небесный, нездешний свет!
Лишь отблески этого света даны земле.
Поэтому мир и лежит, в основном, во зле.

Поэтому зря окропляют святой водой
стволы орудийные, детский гвардейский строй,
в приветствии дружно, по-птичьи раскрывши рты,
большие сомненья по части святой воды.

Большие сомнения по поводу правых дел
и левых, лишь те, что нацелены за предел
земной, а таких очень мало, имеют смысл.
В бинокль разглядеть так случается дальний мыс,

облизанный солнцем, укутанный в пену сплошь.
А всё остальное – безумие или ложь,
и ты в полумраке, и я в темноте живу.
Лишь луч что-то значит, скользнувший по рукаву.

(А.Кушнер)

Достоинство, значимость человека определяется не тем, верит он или нет и во что, а тем, что он делает в этой жизни, что он может дать людям. Сними с них эту сусальную личину – что останется? «Что позолочено – сотрётся, свиная кожа остаётся». На чём основано это превосходство надо мной Кириллова – на том, что он, крепкий здоровый парень с высшим образованием устроился, как инвалид или пенсионер, церковным сторожем и при этом поучает меня, как заблудшую овцу? А что он сделал в этой жизни, чтобы иметь на это право? Дрянные песни – убогие слова, дешёвый мотивчик, – как не стыдно такое выдавать за искусство, пропагандировать по радио! Я бы не стала писать об этом, проще выключить динамик, но уж к слову пришлось.

Никакого богохульства в моих книгах нет. Есть сарказм в отношении тех, кто верит напоказ, для кого это мода, игра или выгодное предприятие. У каждого свои отношения с Богом, то есть с тем высшим, что есть в нас, свои поиски смысла жизни. Тот, кто обращается с молитвой к Богу, делает это в присутствии иконы, лампадки под ней, коврика у постели, ему милы и нательный крестик, и чётки... А если он говорит с Богом без этих подручных вещей, их заменяет ему ландшафт, дворовый тополь, ночные звёзды... А если он не говорит с Богом – всё равно добывается смысла на других путях, другим ему доступным способом, при том же молчаливом и сочувственном участии предметного и природного мира, их необъяснимой, загадочной красоты.

Бог – ничто. Струя песка.
Мои сны, моя тоска,
то, что шепчет нам листва
и рисует синева,
что воркуют сизари,
что болит у нас внутри.
Он – полуночная мгла,
волны света и тепла,
то, что нам в потоке дней
всего ближе и родней.
Он – изнанка наших слов,
содержимое голов,
наши страхи и мечты.
Бог – всё то, что я и ты.

В своё время Герцен, восприняв нравственные основы христианства, полагал, что всё это может существовать и без христианства. А Рильке говорил: «Бог – это направление. Глупо представлять себе кого-то бородатого, ждущего нас «там». Важно путешествие. Важна дорога, а не прибытие». И ещё мне близка формула Геннадия Русакова:

Отец, тебе не лгут. Перед тобой мы наги.
А есть ты или нет – вопрос страстей и вер.
Найти тебя, найти хотя бы на бумаге
и душу подогнать к тебе хоть на размер.

Атеист Борис Слуцкий в конце жизни написал такое стихотворение:

Сельское кладбище

На этом кладбище простом
покрыты травкой молодой
и погребённый под крестом,
и упокоенный звездой.

Лежат, сомкнув бока могил.
И так в веках пребыть должны,
кого раскол разъединил
мировоззрения страны.

Как спорили звезда и крест!
Не согласились до сих пор!
Конечно, нет в России мест,
где был доспорен этот спор.

А ветер ударяет в жезь
креста и слышится: Бог есть!
А жезь звезды скрипит в ответ,
что бога не было и нет.

Однажды мне приснилось, что Бог есть. Будто кто-то во сне мне это доказал неопровержимо. Кто, как, чем –

ничего не помню. Только проснулась с чувством непреложной уверенности: Бог есть. Что делать?!

Слушайте шёпот вашего высшего Я. Ведь за повседневными заботами и проблемами душа наша уже кое о чём сама нам нашёптывает.

ЧЕМ СОВРЕМЕНЕН НЕКРАСОВ

28 ноября 2006 года исполнилось 185 лет Николаю Некрасову. К моему изумлению, наше ТВ никак не отозвалось на эту дату, даже канал «Культура». Смотрю в календаре, кто родился в этот день: Блок, Цвейг, Симонов, Лихачёв. Всем им было воздано по заслугам. А где же Некрасов?!

Всю эту и предыдущую неделю по ТВ идёт документальный сериал И.Волгина о Достоевском. А ведь Достоевский чуть ни весь – из Некрасова! И «Еду ли ночью по улице тёмной», из которого впоследствии выросла история Сонечки Мармеладовой. В «Подростке» сцена с матерью в пансионе Тушара настолько некрасовская по тону, что в памяти сливается с его «Рыцарем на час» и всеми обращениями Некрасова к матери: «Повидайся со мною, родимая, появишься лёгкой тенью на миг!» Или некрасовский цикл «На улице», где во многих уличных сценках предвосхищены образы, сюжеты, мотивы будущего романа «Преступление и наказание». Так, знаменитый сон-наваждение Раскольникова навеян стихотворением Некрасова об избииении лошади. («Вот она зашаталась и встала.// «Ну!» – погонщик полено схватил// показалось кнута ему мало// – и уж бил её, бил её, бил!»). Кстати, А.Кушнер в одном из своих стихов отмечает, что слово «нервный» пришло в нашу речь именно из некрасовской музыки:

Слово «нервный» сравнительно поздно
появилось у нас в словаре –
у некрасовской музыки нервной
в петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
в его желчном трёхсложнике шла...

Или стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», на полемике с которым Достоевский построил всю вторую часть «Записок из подполья», цитируя его и в «Селе Степанчиково», и в «Братьях Карамазовых». Это же стихотворение предвосхитило и знаменитую «Яму» Куприна, его заключительные строки цитирует там один из героев.

Вообще из некрасовской музыки, как из гоголевской «Шинели», выросли многие великие русские поэты.

Л.Гинзбург отмечала влияние некрасовской любовной лирики на лирику Ахматовой. Ей она была очень близка – нервная, с её городскими конфликтами, с разговорной интеллигентской речью. В Пастернаке очень много некрасовской школы, особенно в цикле «Когда разгуляется»:

Широко, широко, широко
раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
заглядываться недосуг.

Так и тянет продолжить:

...не вся ещё рожь свезена,
но сжата: полегче им стало.
Свозили снопы мужики,
и Дарья картофель копала
с соседних полос у реки.

Из Некрасова вышли и Блок с его цыганским надрывом, с пронзительным осенним свистом ветра и поезда, и обэриуты с их пародийной торжественной важностью и нарочито сниженной лексикой, и футуристы с их карикатурами, прозаизмами и неологизмами. Маяковский, цитируя «Современников», вслух изумлялся: «Неужели это не я написал?»

И вот забыт. Стал не нужен. Не моден. Не вписывается в канву нового времени. Ну что за атавизм, в самом деле, это «Поэт и гражданин»? Кто всерьёз способен сегодня внять тем призывам кануна 60-х позапрошлого века: «Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь!» А ведь как не хватает нам сейчас этой высокой нравственной установки. Ибо у многих ныне, к нашему стыду, акцент в любви сместился на себя, вся активность направлена на загребание под себя, на самообогащение. И нас уже не раздражает чья-то циничная ухмылочка, с которой все превращают в расхожие – строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Так на наших глазах до протокольно-милицейского смысла низводится слово, которое обозначало высокое служение Родине и таковым было завещано нам.

Некрасова многие воспринимают с колоссальным предубеждением. Дескать, хрестоматийная фигура. А между тем это не хрестоматийный поэт, а явление куда более глубокое и масштабное.

Пускай нам говорит изменчивая мода,
что тема старая «страдания народа»,
и что поэзия забыть её должна.

Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы её могли состарить годы!
Процвёл бы Божий мир!

Да уж, действительно. Тема эта, видимо, никогда не устареет. И вообще многое в стихах Некрасова – как будто перекличка с нашими днями. Вырубаются леса, по которым мы уже не плачем. Всё так же стонут Орины, солдатские матери. Всё так же безуспешно ходоки обивают пороги Парадных подъездов.

Толпе напоминать, что бедствует народ,
в то время, как она ликует и поёт,
к народу возбуждать вниманье сильных мира –
чему достойнее служить могла бы лира?

Где они – наши народные заступники, наши новые Некрасовы? Хотя всё новое – это, как известно, лишь хорошо забытое старое. Поэзия Некрасова и сейчас – стоит лишь вчитаться повнимательней – ощущается как живое, насущное явление. Причин для этого много. И, может быть, главная – высота нравственного примера. Темы, как бы значительны они ни были, устаревают, отменяются. Но нравственные критерии, и, прежде всего, сострадание к чужим несчастьям – остаются. Вот послушайте, как современно звучат эти строки, вроде бы навязшие в зубах со школьных лет:

Средь мира дольного
для сердца вольного
есть два пути.

Взвесь силу гордую,
взвесь волю твёрдую –
каким идти?

Одна просторная
дорога – торная,
страстей раба.

По ней громадная
к соблазну жадная
идёт толпа.

О жизни искренней,
о цели выпреренней
там мысль смешна.

Кипит там вечная
бесчеловечная
вражда-война

за блага бранные...
Там души пленные
полны греха.

На вид блестящая –
там жизнь мертвящая,
к добру глуха.

Другая – тесная
дорога, честная,
по ней идут

лишь души сильные,
любвеобильные,
на бой, на труд.

Иди к униженным,
иди к обиженным,
по их стопам,

где трудно дышится,
где горе слышится,
будь первый там!

Пушкин любил блеск, полноту и радость жизни, он был певцом как бы освещенной солнцем части мира. Некрасов был певцом неосвещенной половины. Его, как и его ровесника и современника Достоевского, занимало несчастье людей, унижение и оскорбление человека. Он был защитником неудачливых, неустроенных, отчаявшихся. «Друг беззащитный, больной и бездомный», – вот к кому обращался поэт. Он жалел и любил робких, неловких, неуверенных, кто говорил о себе: «А вот я-то войду как потерянный, и ударится в пятки душа!» «Улыбнусь – непроторная, жёсткая, не в улыбку улыбка моя».

Дело не в том, что Некрасов сыграл в своё время определённую роль, а в том, что он жив до сих пор – как Пушкин, Лермонтов или Тютчев. Наша история – это наши художники, внушавшие и внушившие нам наш образ. Значит, и мы – это они. Так что возникающий время от времени бунт против них, обещания сбросить с борта парохода или приговорить к насильственному забвению – наивность и глупость. Как бы кто ни пытался – два пальца в рот и изрыгнуть: кто Чернышевского, кто Горького, кто Некрасова – поздно. Это уже вошло в состав нашей крови.

Дни идут... всё так же воздух душен,
дряхлый мир – на роковом пути...
Человек – до ужаса бездушен,
слабому спасенья не найти!

Но... молчи, во гневе справедливом
ни людей, ни века не кляни:
волю дав лирическим порывам,
изойдешь слезами в наши дни...

Это писалось в 1877 году. А как будто сейчас... Или это:

Горе! Горе! Хищник смелый
ворвался в толпу!
Где же Руси неумелой
выдержать борьбу?

...Плутократ, как караульный,
станет на часах,
и пойдёт грабёж огульный,
и случится – крррах!

Это из поэмы «Современники». А как будто о наших современниках речь.

Где вы – певцы любви, свободы, мира
и доблести? Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
провозгласил героем палача...

Толпа гласит: «Певцы не нужны веку!»
И нет певцов... Замолкло божество...
О, кто ж теперь напомнит человеку
высокое призвание его?

Прости слепцам, художник вдохновенный,
и возвратись! Волшебный факел свой,
погашенный рукою дерзновенной,
вновь засвети над гибнущей толпой!

И уж совсем в наши дни корнями уходит стихотворение о так называемых переменах:

Новое время – свободы, движенья,
земства, железных путей.
Что ж я не вижу следов обновленья
в бедной отчизне моей?

Многие строки Некрасова звучат удивительно современно. Вот, например, такой экспромт: «Плохо, братцы, беда близко: арестован наш Огрызко». Я прямо вздрогнула, когда прочла. Здесь-то имелся в виду видный деятель польского национально-освободительного движения, близкого к революционному демократическому лагерю. А у меня сразу ассоциация возникла с редактором литературного еженедельника «Литературная Россия». И на манер Некрасова в голове сложился такой перепев темы: «Плохо, братцы, беда близко: снова пишет наш Огрызко».

Словом, Некрасов – сегодня приходится это признать, – ещё один прекрасный забытый поэт – и хорошо, что забытый! С него сошёл хрестоматийный глянец, и он готов опять послужить поэзии, избавившись от литературных чинов и школьных ярлыков.

И ПЕРВЫЙ ПОДВЕРНУВШИЙСЯ ОВАЛ...

«...мысли мои полны одной //женщиной, чудной внутри и в профиль», – писал Бродский. Всю жизнь он любил одну женщину, которую он же называл врагиней, ягой, блудней с рыбьей кровью и которой посвятил все любовные стихи плюс одно антилюбовное («Дорогая, я вышел сегодня из дому...») Но как бы он её ни называл, ни оскорблял («развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком//, и, судя по письмам, чудовищно поглупела») – он любил лишь её одну. Все остальные были на одно лицо и серьёзного следа в его творчестве не оставили.

Так принято считать. Но мне хотелось бы разрушить этот укоренившийся в сознании большинства стереотип и познакомить с другими прототипами любовных стихотворений Бродского, многие из которых по глубине и силе поэтического воздействия ничуть не уступают Басмановским.

Он пытался её заменить другими.

Ведь каждый, кто в изгнание тосковал,
рад муку, чем придётся, утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.

В 60-е годы это была Настенька Томашевская. (Семейство Томашевских неоднократно оказывало Бродскому гостеприимство то в ленинградской квартире на канале Грибоедова с грандиозной библиотекой покойного пушкиниста, то на даче в Гурзуфе). Ей адресован полный неподдельной нежности очаровательный «Сонетик» («Маленькая моя, я грущу...»), послание «Настеньке Томашевской в Крым» («Но раз в году ты вспомнишь обо мне...»).

Придёт пора, и все мои следы
исчезнут, как развалины Атланты.
И сколько ни взрослей и ни гляди
на толпы, на холмы, на фолианты,
но чувства наши прячутся не там
(как будто мы работали в перчатках),
и сыщикам, бегущим по пятам,
они не оставляют отпечатков.

Поэтому для сердца твоего,
собравшего разрозненные звенья,
по-моему, на свете ничего
не будет извинительней забвенья.

Но раз в году ты вспомнишь обо мне,
берёзой, а не вереском согрета,
на севере родном, когда в окне
бушует ветер на исходе лета.

Потом, в начале 70-х, была Вероника Шильц, ставшая верным другом на долгие годы. Ей посвящено стихотворение 1977 года «Шорох акации», стихотворение 1993 года «Персидская стрела»:

Ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче – в чаще
настоящего. Ибо тепло любое
ладони – тем более преходяще.

Ещё раньше была профессор русской литературы Лондонского университета Фейт Уигзелл, которой посвящено длинное любовное стихотворение «Пенье без музыки», (названное так в противовес верленовским «Песням без слов»), где развивается геометрическая метафора двух «точек», то есть любовников, разделённых пространством, но соединённых линиями, которые пересекаются где-то над ними, образуя треугольник:

Вот место нашей встречи. Грот
заоблачный. Беседка в тучах.
Приют гостеприимный. Род
угла; притом, один из лучших
хотя бы уже тем, что нас
никто там не застигнет. Это
лишь наших достоянье глаз,
верх собственности для предмета.
За годы, ибо негде до –
до смерти нам встречаться боле,
мы это обживём гнездо,
таща туда по равной доле
скарб мыслей одиноких, хлам
невысказанных слов – всё то, что
мы скопим по своим углам;
и рано или поздно точка
указанная обретёт
почти материальный облик,
достоинство звезды и тот
свет внутренний, который облак
не застит – ибо сам Эвклид
при сумме двух углов и мрака
вокруг ещё один сулит,
и это как бы форма брака.

Приятельнице из Польши Зое Копусцинской посвящено стихотворение «Полонез: вариация»:

Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

В жизни Бродского было много женщин. (Строки: «в ночи не украшают табурета ни юбка, ни подвязка, ни чулок» – мягко говоря, поэтическое преувеличение). Говорили, что он не мог быть один. Это бывает при болезни сердца. Такой страх умереть, когда годится почти любая под рукой. Все его романы носили непродолжительный характер и подчинялись простому правилу: «зачем вся дева, раз есть колено». Связи были случайны, поверхностны, он всячески избегал повторений и продолжений. («В одну и ту же дважды? Да вы что! Я имею в виду реку»). Вот как он рисует портрет одной литературоведки, которую называл «моя шведская вещь» и которая скрашивала ему тоску ПЕНовского конгресса в Рио: «Помню очаровательное, светло-палевое с тёмно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру и – лютую ненависть животного, которое догадывается о том, что оно животное, в 2 часа ночи».

В 80-е годы в жизни Бродского появилась женщина, на которой он чуть было не женился. Это была юная, нежная полуитальянка-полугречанка Анна Лиза Аллево. Вот как описывает её внешность Евгений Рейн: «От неё исходила кротость, нечто даже фаталистическое. Тихий голос, ясный взгляд серых глаз. При всей миловидности в её внешности не было ничего вульгарного, затёртого, банального. Я ещё тогда подумал, что вот такая головка могла бы быть отчеканена на античной монете». Ей посвящена группа стихов в «Урании», стихотворение 1983 года «Сидя в тени»:

Так марают листы:
запятая, словцо.
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.

К этому стихотворению Бродским в экземпляре Рейна была сделана приписка: «написано на о.Иския в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево». Ей посвящено стихотворение «Ария»:

Оттого мы кричим,
что, дав простор подошвам,
рок, не щадя причин,
топчется в нашем прошлом.

Ей же адресовано и это пронзительное лирическое стихотворение 1987 года:

Ночь, одержимая белизной
кожи. От ветреной резеды,
ставень царапающей, до резной
мелко вздрагивающей звезды,

спи. Во все двадцать пять свечей,
добыча сонной белиберды,
сумевшая не растерять лучей,
преломившихся о твои черты,
ты тускло светишься изнутри,
покуда, губами припав к плечу,
я, точно книгу читая при
тебе, сезам по складам шепчу.

Под посвящением ей на этом стихотворении была сделана приписка (на экземпляре Рейна): «Анне Лизе Аллево, на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, ещё произойдёт». Не произошло. Из стихов, посвященных ей в «Урании», становится ясно, что она любила Бродского и, видимо, не безответно. Но почему-то этот союз не состоялся. Может быть, потому, что судьба уже готовила его к другому.

Потом шесть лет он жил с одной американской слависткой по имени Кэрол Юланд. Она вдохновила Бродского на эссе «Полторы комнаты». Он писал его о своих умерших родителях, чтобы доказать ей, что он не холодный и равнодушный человек, которым та его считала.

Актриса Елена Коренева, которая в это время работала в Нью-Йорке официанткой, рассказала в своей автобиографической книге «Идиотка» историю их короткого романа...

Случались и трагикомические любовные истории. Так, одна замужняя дама, жена живущего в Бостоне поэта М., приехала в один прекрасный день без всякого повода к Бродскому на Мортон-стрит «навсегда поселиться». Она позвонила в дверь, вошла с чемоданом и сказала: «Как хотите, Иосиф, а я без Вас не могу жить». Бродский любезно помог ей снять пальто, усадил в кресло, а сам заперся наверху и в панике позвонил своей давней приятельнице Людмиле Штерн: «Что делать?!» Штерн была хорошо знакома с этой дамой и с её мужем, коему и позвонила, чтобы он немедленно приехал и забрал свою жену вместе с чемоданом. Что тот и сделал. А пока муж ехал, Бродский сидел, запершись, в то время как дама выла под дверью.

Штерн пишет, что когда они с друзьями, вспомнив эту историю, отсмеялись, Бродский вдруг сказал: «Как это ни смешно, я всё ещё болен Мариной. Такой, знаете ли, хронический случай».

В одном из интервью поэт признался, что «всю жизнь ощущал себя исчадием ада. — Достаточно вспомнить, что я натворил в этой жизни с разными людьми».

Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Из рта
пар клубами, как профиль дракона.

Из стихов Д.Бобышева о нём:

Только ночью, себя от него отделив одеялом,
ты лежишь, семикрыл, рыжеват, бородат, космоват,
и не можешь понять, кто же ты – серафим или дьявол?
Основатель пустот? Чемпион? Идиот?

Но, подобно Есенину, который после страшных оскорблений любимой женщине вдруг срывается на рыдание («Дорогая, я плачу, прости, прости...»), Бродского тоже даёт порой неловкий жест незащищённого чувства:

Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы,
точно оспа, привиты
среди общей чумы.

Женитьба Бродского была скоропалительной, для всех – неожиданной, а для женщин, даже тех, кто не имел на него никаких видов – обидной. Ему даже пеняли, что не сдержал обещания, данного в день своего 50-летия, решительно отвергнув тост с пожеланием женитьбы и отцовства: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник», – заявил он тогда.

И в том же году женился на прелестной итальянской аристократке русского происхождения Марии Соццани. Говорили, что она была очень похожа на Марину Басманову. (Если бы той скинуть лет тридцать). К тому же – созвучие имён...

С Мариной Басмановой они так больше и не встретились. Она по-прежнему живёт в Петербурге. Ни разу не согласилась ни на одно интервью, не позволяет никому себя фотографировать. Об Иосифе Бродском вспоминать не любит. Никогда не интересовалась его творчеством, не читала его стихов. Вообще литература, поэзия не лежат в сфере её интересов. Они были слишком разные люди. Кажется, потом это понял и Бродский.

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше – дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т.п.,
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

О КРАСОТЕ И КРАСИВОСТИ

Вспоминается передача по саратовскому радио, где одна женщина (музыкальный педагог, дирижёр из Дома искусств), отвечая на вопрос ведущей о моих стихах, говорила: «Вот, например, у неё есть строки: «Ночи чёрный крепдешин в дырах звёзд». В них мало поэтического. А вот если бы «серебряные звёзды» были, я считаю, – для поэта, для музыки это бы лучше звучало».

Да, безусловно, «серебряные звёзды» – красивше. Красивее. Бессмертное «друг Аркадий, не говори красиво!» Уж на что – сноб и фат Тургенев, и то высмеивал эту извечную потребность неискущённых в литературном вкусе людей.

О подобном «Аркадии» рассказывал Георгий Иванов в своих мемуарах о Михаиле Кузmine. Был у Кузмина секретарь по имени Агашка, из семинаристов, но «эстет был отчаянный» и считал себя ужасно «порочным и тонким», в доказательство чего носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона. Как натура тонкая и изысканная, Агашка, писавший под диктовку Кузмина, не мог смириться с простотой его выражений и тайком «наводил стиль»:

– «Женщина подошла к окну», – диктовал Кузмин.

– «Молодая женщина волнующейся походкой подошла к венецианскому окну», – записывал Агашка. Прочитав то, во что превратился роман в результате «редактирования» секретаря, Кузмин пришёл в ужас и выгнал Агашку.

Многие неискущённые в поэтическом деле люди искренне полагают, что поэзия – это когда «красиво», «изячно», «утонченно», («в шумном платье муаровом Вы такая эстетная, Вы такая изящная»), принимая за красоту красоту, приторность, слащавость, что по существу – пошлость. «Довольно людей кормили сладостями, – писал Лермонтов. – У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины».

У Бориса Рыжего есть саркастическое стихотворение, навеянное строчками неизвестного автора, выложенными кремом на торте: «Перед вами торт «Букет». Словно солнца закат – розовый... Прекрасен, как сок берёзовый». Автор, видимо, думал, что выразился очень поэтично, не понимая, что эти тошнотворно-сладенькие вирши, адекватные своему сливочному содержанию – воплощение великой пошлости поэзии, вернее, её самозванной сестры, нередко успешно выдаваемой за настоящую. И это не так уж смешно и безобидно, как кажется на первый взгляд.

Вот и мучаюсь в догадках,
отломив себе кусок –
кто Вы, кто Вы, автор сладких,
безупречно нежных строк?
Впрочем, что я – что такого,
в мире холод и война.
Ах, далёк я от Крылова,
и мораль мне не нужна.
Я бездарно, торопливо
объясняю в двух словах –
мы погибнем не от взрыва
и осколков в животах.
В этот век дремучий, страшный –
открывать ли Вам секрет? –
Мы умрём от строчки Вашей:
«Перед вами торт «Букет».

«Но что есть красота? И почему её обожествляют люди?» Уж сколько лет этому стиху Заболоцкого, но многие упорно видят лишь сосуд, его цвет, состав, форму, стоимость и в упор не видят того, что в сосуде. В стихах они ищут не поэзии, а «поэтичности», не подлинной красоты, а эстетизма. Цветаева давно раскусила суть такого «эстетства»: «Эстетство – это бездушие, – пишет она в письме А.Бахраху. – Замена сущности – приметам. Эстетство – это расчёт. Взять всё без страдания, даже страдание превратить в усладу. Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок – глазами, звуков – ушами, любите всё душой. Эстет – это мозговой чувственник, существо презренное. Пять чувств его – проводники не в душу – а в пустоту».

У этого «эстетства» есть ещё одно название – снобизм. Есенин своей природной чернозёмной душой чуял подобных снобов за версту и частенько дразнил и издевался над ними в стихах.

Посмотрим – кто кого возьмёт!
И вот в стихах моих забила
в салонный вылощенный сброд
мочой рязанская кобыла.
Не нравится? Да, вы правы –
привычка к Лориган и к розам...
Но этот хлеб, что жрёте вы –
ведь мы его того-с... навозом...

Сколько сейчас развелось поэтических сборников, в которых лишь слова, слова, слова, стремление сказать красивовато и витиевато, так что возникает аллергия на «литературу» в рутинном смысле слова, которую имел в виду Верлен: «Всё прочее – литература». Взыскательный мастер

начинает тяготиться подобным «искусством», требует от себя и собратьев по цеху «почвы и судьбы», «дикого мяса стиха».

Вот перед нами лирический герой Геннадия Русакова:

Вот я – тёртый и битый, клекочущий горлом дырявым,
с липкой влагой подмышек, с облитым страстями лицом,
в этом воздухе вязком, во времени трижды неправом –
и чего оно жмётся, талдычит и смотрит скопцом?

«Не нравится?» – хочется спросить вслед за Есениным. Да, такой автопортрет лирического героя вряд ли придётся по вкусу любителям розовых кремовых строк. «Я осот обмолота, убогое семя, полова», «в сплошной затрапезе, в чумичкиной рвани-одежде». В стихе главное – то, что гораздо выше внешней красоты – это подлинность, правда. А она, как правило, не сладка, а горька на вкус.

...Я дожди мои слышу и пальцами перебираю,
будто вшей возле лампы у бабки в косицах ищу.
Будто я что-то вспомнил и сам из себя выдираю.
От харкотины пятясь, себя на задворках тащу.

Или взять лирического героя Вениамина Блаженного. Синонимы для обозначения этого героя тоже вряд ли порадуют тонкий эстетский вкус: «нищоброд, калека, юродивый, бродяга, блаженный, убогий, калика, изгой, оборванец».

Что же делать, коль мне не досталось от Господа Бога
ни кола, ни двора, коли стар я и сед, как труха,
и по торной земле как блаженный бреду босоного,
и сморкаю в ладошку кровавую душу стиха?

...Пусть устал я в пути, как убитая вёрстами лошадь,
пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
пусть истёрли меня равнодушные ваши подошвы, –
не жалейте меня: мне когда-то пригрезился Бог.

Поэзия – это не журнальные подборки, не «литература». Это жизнь, какой она бывает в лучшие мгновения – не важно, счастливые или печальные. Это то, что поэт вытаскивает нам из огня, в котором сгорают наши дни.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал – и видел ад воочью, –
и рвётся тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

(Борис Чичибабин)

Поэзия – это когда «полная гибель всерьёз», когда «на разрыв аорты», это та «волшебная скрипка», от которой «и невеста зарыдает, и задумается друг».

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
у того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

(Н.Гумилёв)

В числе моих любимых также стихи недавно умершей Татьяны Бек, стихи о людях, судьбах и чувствах, которые существуют не только в её душе, но и в реальной действительности, «в мире подлинном и злом». Этот мир «непогож и неудобен. //Не обойти его колдобин, //а ежели и обойдётся//, то это смерть, поскольку – ложь». Ее стихи честны и точны. Они вряд ли потрафят литературным «Аркадиям» и «Агашкам».

Вечно манили меня задворки
и позабытые богом свалки.
Не каравай, а сухие корки.
Не журавли, а дрянные галки.

Улицы те, которые кривы,
рощицы те, которые редки,
лица, которые некрасивы,
и – колченогие табуретки.

Я красотой наделю пристрастно
всякие несовершенства эти...
То, что наверняка прекрасно,
и без меня проживёт на свете!

Вызволить собственную речь из литературной неволи, не стать отголоском безличной литературной стихии, общим местом, культурным планктоном – вот задача, которую для себя решает каждый стоящий поэт.

ПОЭТЫ ОТЧАЯНЬЯ

*А я всё хмурю брови
и лезу напролом.
Поэзия без крови
зовётся ремеслом.*

В.Шемиученко

Однажды, когда я была в классе восьмом или десятом, отец привёл меня в гости к своему другу Иванову (к сожалению, не помню имени-отчества). Жил он на улице Пугачёвской, совсем рядом со мной. Это был известный в Саратове

библиофил, у него была огромная прекрасная библиотека. Я часто брала у него книги, которые нельзя было в то время достать нигде. Однажды Иванов показал нам с отцом самиздатовский сборник стихов – довольно большой фолиант в красном переплёте. Запомнила фамилию на обложке: Ярыгин. Он много читал нам в тот вечер из этой книги. Меня поразила непохожесть этих стихов на те, что тогда публиковались: в них билась и кричала боль, какое-то вывернутое наизнанку отчаянье. Запомнилась строчка: «Бритоголовое ходит страданье...» Поэт этот умер в сумасшедшем доме. Стихи были о том, о чём не принято было говорить и писать, о тщательно скрывавшейся от нас тёмной стороне жизни. Иванов, по-видимому, хорошо знал этого поэта и считал его гением. Бережно хранил каждую его строчку.

– Что же Вы собираетесь делать с этими стихами? – спросил отец.

– Ждать, когда наступит коммунизм, – серьёзно ответил тот.

В то время опубликовать подобное было, конечно, немислимо. Коммунизма Иванов не дождался, умер ещё до перестройки. Судьба стихов Ярыгина мне неизвестна. И сколько таких – подумалось – неизвестных миру ярыгиных дожидаются своего часа. Расхожее утверждение, что талант всё равно пробьётся – от лукавого. Может, пробьётся, как трава сквозь асфальт, а может, закатают вторым слоем. Извечный вздох Некрасова: «Придёт ли времечко, когда – приди, желанное! – мужик домой не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесёт?». Так и не пришло это времечко. Как несли блюхеров, так и несут, только называются они теперь по-другому.

Ну откуда эта тяга большинства к «глупым милордам»? Впрочем, понять не трудно. Всякий человек, и особенно уставший и ослабевший от жизненной борьбы, тянется к душевному покою, к упорядоченной картине мира, к чему-то простому, как мычание. И поэт, который не боится стать лицом к лицу с неведомым, разрушает этот покой. Он вносит в жизнь тревогу, неуверенность, страх. Но в этом и состоит мужество художника, этим он и волнует нас – и за это-то мы его порой отвергаем.

Обыватель всегда отмахивался от Поэта, улюлюкал над ним, оберегая устойчивость своего образа жизни. Вечный поединок Сокола и ужа, Буревестника и глупого пингвина, прячущего «тело жирное в утёсах». Ужи нутром чуют опасность, когда искусство приоткрывает перед ними иной, недоступный для многих уровень духовного существования.

Главное стремление обывателя – отвернуться, спрятаться от истины мира, в котором он живёт. И всякий раз, когда истина ему преподносится – он либо отмахивается от неё, либо начинает поэта, преподносящего ему эту – чаще всего горькую – истину – ненавидеть. Он отказывается вслушаться в поэтический голос сердцем – это тяжело, больно, опасно – и начинает проверять его критериями правильного и неправильного, доброго и злого, морального и аморального, одним словом, чёрного-белого.

Стремление к ясности, к благодности, к обязательному позитиву в поэзии – это рецидив прошлого, недавнего социального, утилитарного отношения к поэтическим текстам, когда от стихов требовали, чтобы они приносили пользу, просвещали, утешали, направляли, воспитывали. Поэтическое содержание грубо подменялось социальной задачей. Теперь от поэзии этого, слава богу, никто не требует. Она никому ничего не должна. У неё один долг: быть правдивой и свободной в своём самовыражении. В своём порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству – и тем зажигает в нас огонёк надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт не отводит свой взор от Бездны, что ему знакомы настоящее отчаянье, настоящая тоска, настоящий страх смерти. Поэт приобщает нас к тайнам мироздания. Он не может ничему учить, но он даёт нам пример отваги.

М.Цветаева, М.Шкапская, В.Блаженный, Б.Рыжий, И.Меламед, Е.Блажеевский, О.Бешенковская – это стихи для тех, кто не боится заглянуть в себя, в чёрные дыры души, в свои потайные шкафы в поисках скелетов, не боится правды и боли. Они наполняют нас леденящей, но очищающей тоской. По теории Кьеркегора, отчаяние есть условие человеческого существования.

Почему мы вновь и вновь слушаем музыку, от которой содрогается душа, читаем, забыв о молоке на плите, про разбитые сердца, исковерканные судьбы, смерти, трагическое одиночество? Мало нам своих неприятностей? Есть древнегреческое объяснение: катарсис – нравственное потрясение и просветление через переживание. Некое возвышенное удовлетворение, духовный оргазм – вот что даёт нам подлинное искусство. Даже самые печальные стихи дают людям счастье, потому что поэзия – это гармония, а каждое стихотворение – аккумулятор энергии, затраченной на его возникновение.

Кажется, нет в нашей поэзии более мрачного и трагического поэта, чем Баратынский («сумрачный гений» – называл его Гоголь), но звуковая гармония его стихов, прекрасное, полнозвучное дыхание едва ли не вопреки воле автора делает их утешительными.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
тяжёлое искупит заблужденье
и укротит бунтующую страсть.

Булат Окуджава верил, что «вечный мир спасут страдания, а не любовь и красота». Он понимал ценность трагического переживания в искусстве: «Поэты плачут – нация жива». Пронзительная, щемящая, проникающая в самую душу интонация его негромких песен: «Девочка плачет – шарик улетел», «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю»... После эпохи официального бодрчества в нашей поэзии появился романтический герой, не похожий на персонажей Багрицкого и Светлова. У тех романтизм был наступательный, победительный, как правило, исполненный исторического оптимизма. А Окуджава был романтик грустный, усмешливый, всё понимающий. Многие не любят грустной или мрачной поэзии, но вот Горький называл вечно смеющихся людей «жизнерадостными эмбрионами».

Мир разделён на тех, кто мучительно чувствует страдания мира и людей, и на тех, кто к этому равнодушен. Томас Манн писал: «Болезнь делает человека человеком, а те, кто хотят его оздоровить – превращают в скота. Дух – вот что отличает человека». «Художник бежит от здоровья», – вторит ему Чичибабин. В данном случае здоровье – это синоним толстокожего жизнелюбия, не способного и не желающего слышать чужую боль.

Марсель Пруст считал, что дарование людей боли – глубже и сильнее талантов людей здоровья. Бодлеру, Достоевскому в промежутках между припадками эпилепсии и прочими срывами удалось создать такое, чего не удалось бы и целому выводку авторов с отменным здоровьем. Обыденное понятие о психической норме и психическом здоровье несовместимо с законами творческого мира. Как писала Мария Шкапская, «куда-то ведут – куда?// слова на спутанном плане. //Безумье и жизнь всегда// на острой, как бритва, грани».

Многие поэты, о которых я рассказываю на лекциях и пишу в своих книгах, отнюдь не отличались оптимизмом. И И. Анненский, такой респектабельный и благополучный с виду – но кто измерит трагедию его души? Вспомните его

«мучительный сонет». Волошин называл Анненского «нерасточным поэтом», он даже слово Тоска писал с большой буквы.

И пессимистическая поэзия Георгия Иванова – достаточно вспомнить его «Посмертный дневник», который он вёл в преддверии смерти, где всё проникнуто ядом безысходности. И «трагический тенор эпохи» Блок с его «чёрной музыкой». Мрачный, желчный Ходасевич с его жуткой «Европейской ночью». Или Некрасов, которого К. Чуковский называл «гением уныния».

И Есенин не всегда умилялся берёзкам, но и жаловался: «Друг мой, я очень и очень болен». И Маяковский не всегда пел своё Отечество, но и горько исповедовался: «Грядущие люди, кто вы, вот я – весь боль и ушиб», «это душа моя ключьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни».

Брошусь на землю, камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая...

А стенания Тютчева в его денисьевском цикле: «Нет дня, чтобы душа не ныла, не изнывала б о былом, искала слов, не находила, и сохла, сохла с каждым днём...»

Любила ты, и так, как ты, любить –
нет, никому еще не удавалось!
О Господи! И это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

«Страдать нужно, молодой человек, а потом уже стихи писать», – наставлял юного Мережковского Достоевский. Этих поэтов учить страданию не надо. Они знают его азбуку назубок.

Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно, что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Отчего он кричит – им всё равно. Главное, что громко и выразительно. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В. Ходасевич. Между тем каждый стих поэта кричит об ужасе, нестерпимом и безысходном ужасе жизни.

Ведь если вслушаться в неё –
вся жизнь моя – не жизнь, а мука.

Поэзия И. Елагина, несмотря на свою предельную театральность, сильна не внешним эффектом, а внутренним драматизмом.

И, начиная кидаться
в прожекторную струю,
поэт в своих декорациях
ставит драму свою.

Скорее, покупатель мой, спеши.
Я продаю товар себе в убыток.
Не хочешь ли билет в театр души,
который я зову театром пыток?

Я режиссёра сколько раз просил
о том, чтоб мне переменили роль.
А эту исполнять нет больше сил,
не вынесу я больше эту боль.

«Какая боль ещё разбудит нас!» – прозорливо восклицал в одном из стихов Борис Рыжий.

Будет тёплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная –
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности,
больше чёрного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее о том, чего нет.

Ирония не спасает. Стихотворная легковесность оправдывается полновесностью страдания.

Ну что ж, что прекрасна погода,
что души витают, любя –
всегда ведь находится кто-то,
кто горечь берёт на себя, –

пишет Рыжий. Но этот кто-то – прежде всего он сам.

Ты меня отпусти, я живу еле-еле,
я ничей навсегда, иудей, психопат.
Нету чёрного горя, и черные ели
мне надежное чёрное горе сулят.

Да, такие стихи тяжело и мучительно читать и слушать, невесело, тягостно, люди часто инстинктивно отгораживаются от негативных эмоций, но нельзя отталкивать от себя в искусстве что-то только потому, что это причиняет нам боль. Это должно причинять боль, иначе оно не имеет права называться Этим. И надо уметь слышать чужую боль, учиться её слышать. В этом предназначение поэзии. Это входит в необходимый труд души, о котором писал Заболоцкий.

Истинная поэзия всегда трагична. Поэтому словосочетание «трагический поэт» тавтологично и бессмысленно. Поэт и есть сама трагедия, как бы внешне благополучно ни складывалась его жизнь.

И мне не нужно инквизиции,
когда и так на Страшный суд
стихи с истерзанными лицами
предсмертный крик мой отнесут.

(Л.Губанов)

Я умственный, конечно, инвалид.
Черты безумия во мне преобладают.
Как ни корми, душа моя болит,
когда другие жизни голодают.

(Ю.Мориц)

Как писал А.Кушнер, «исторически эти невроты //объясняются болью за всех, //переломным сознанием и бытом//, эти нервность, и бледность, и пыл, //что неведомы сильным и сытым».

«В роскошной бедности, в могучей нищете //живи спокоен и утешен», – вспоминается воронежский Мандельштам. «Это я, обанкротившись дочиста, уплываю в своё одиночество», – вторит ему И.Елагин. Красота поражения. Роскошь нищеты. Музыка неудачи. «Сильным и сытым» хозяевам жизни, врастающим в неё всеми четырьмя копытами, этого не понять. Это хорошо понимала Татьяна Бек:

У меня сарафан, у меня босоножки без пяток
и могучая странность – выпаривать счастье из бед.
...Да, была горемыкой. Но если рассмотрим остаток –
он блажной, драгоценный и даже прозрачный на вид.

Понимал Бродский:

Как велики страдания твои.
Но, как всегда, не зная, для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья своего.

И не надо бояться грусти. «Грусть мира поручена стихам», – писал Г.Адамович. Ему принадлежит одно из лучших определений поэзии, которые я когда-либо читала. «Какими должны быть стихи?» – пишет Адамович. А вот какими: «Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы всё было понятно и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?» И вообще, чтобы человек как будто пил горький, чёрный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвётся».

«Прекрасные стихи несчастий не боятся, //не портят слёзы их, безумье им идёт, как сладкий дух акаций», – пишет А.Кушнер. «Чуть-чуть они горчат – не стоит огорчаться...».

Поэт – всегда явление трагическое. А не те, кто играет в литературу. Какая там к чёрту игра! Это игра на разрыв

аорты. «Мы не врачи, мы боль» (Герцен). «Душа моя печальница» (Пастернак). «Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта (Гейне). А то, что порой выдаётся за гармоничность мироощущения – нередко не что иное как толстокожесть и равнодушие. Вот сделайте мне красиво, а до остального – мрачного и больного – мне нет никакого дела. Но жизнь вовсе не так благостна, как нам бы хотелось, она всякая бывает, и надо иметь мужество видеть и другую, тёмную сторону бытия.

Но эта грустная, горькая, тоскливая поэзия, которую раньше клеймили словом «упадочная», дороже дешёвого жизнелюбия иных авторов, не оплаченного ни страданием, ни болью, ни отчаяньем – оттого оно немногочисленно стоит. «Он покупает неба звуки, он даром славы не берет», – сказал Лермонтов о поэте. И цена бывает непомерно высока. «Дело поэта, – писал Г.Иванов, – создать кусочек вечности ценой гибели всего временного – в том числе нередко и ценой собственной гибели».

Мучения души присущи всякому истинному поэту любых времён и эпох. Но поэзия, как бы она ни была трагична и мрачна, дарит нам наслаждение своим фонетическим, интонационным, завораживающим обликом. Таково её свойство. Даже А.Кушнер, один из самых наших светлых и оптимистичных поэтов, о котором я рассказывала в своём эссе под названием «По здешнему счастью специалист», пишет: «Пространство стиха не обязательно должно быть залито светом. Ещё лучше, если оно погружено в полутьму. Плох только нарочитый, ни за что не отвечающий, кокетливый мрак». То есть не настоящее, не подлинное страдание, а рисовка, поза, игра в него – вот что недопустимо в поэзии. Сам же мрак имеет такое же право на существование, как и свет. Это как день и ночь. Свет не существует без тьмы, иначе ты не сможешь определить его как свет. Пастернак писал: «Я себе представить не могу // жизни, из которой сумрак вынут». И у Баратынского: «Две области – сияние и тьмы – исследовать равно стремимся мы». И солнечный дневной мир Пушкина был дополнен в нашей поэзии ночным, тёмным миром Баратынского и Тютчева.

«Я – пессимист в седьмом колене», – мрачно шутил Б.Рыжий. И доказал это своим самоубийством. Вместо погребальной записки на письменном столе в его комнате лежал томик А.Полежаева, раскрытый на стихотворении «Отчаяние»:

О дайте мне кинжал и яд,
мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь как на позор –
пора расстаться с своенравной
и произнести ей приговор
последний, страшный и бесславный!

Ортега-и-Гассет писал, что жизнь представляется ему в виде кораблекрушения: взмахи рук тонущего человека – это и есть культура, во взгляде этого человека – вся правда жизни. «Я верю только идущим ко дну!» – заявил он. Но само по себе творчество – это уже есть отрицание смерти, – говорил А.Тарковский. «Поэтому не может быть художника-пессимиста и художника-оптимиста. Есть только талант и бездарность».

Поступать, как все, жить по прописям – губительно для художника. Несчастливое счастье поэта позволяет ему жить, любить и умирать по иным законам, по которым не может существовать человеческое большинство. Судьба поэта – не в его жизни, она – в его творчестве. «Корень жизни – в стихах, – записывал в дневнике Блок. – А жизнь – это просто кое-как». («Остальное – неважно», – вспомнилось название последней книги стихов М.Борцовой). Как это ни ужасно звучит, но поэту хочется пожелать, чтобы ему жилось не лучше, а хуже. «Чем хуже – тем лучше, чем хуже – тем лучше!» – как заклинание, повторяла в стихах М.Петровых. «Одной надеждой меньше стало – одною песней больше будет», – писала А.Ахматова. Та высокая нота, которую может взять поэт – всё искупит и всё оправдает.

Поэту всё во благо, всё впрок. Только перегорев в огне своих бед и страстей, переплавив всё это в золото строчек, он становится тем, кем остаётся в благодарной памяти потомков. Как говорила Цветаева: «А зато... А зато – всё».

О ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕВНОСТИ

Миф о поэтическом братстве, о трогательной любви между поэтами – выдумка прекраснодушного литературоведения. Пушкин и Баратынский, Фет и Некрасов, Блок и Гумилёв, Маяковский и Пастернак... Какие это были напряжённые отношения! Какие страсти кипели!

Баратынского и Пушкина многое связывало, как в жизни, так и в поэзии. У них много перекличек в стихах, вольных и невольных совпадений, заимствований. Например, стихотворение Пушкина «Вновь я посетил тот уголок

земли...» кажется составленным из первых фраз стихов Баратынского: «Есть милая страна, есть угол на земле...» и «Запустение» («Я посетил тебя, пленительная сень...»). У Баратынского: «И брызжет мельница. Деревня, луг широкий...» У Пушкина: «Рассеяны деревни – там за ними скривилась мельница...» Очевидна связь между «Признанием» Баратынского («Притворной нежности не требуй от меня...») и пушкинской элегией 26-го года «Под небом голубым страны своей родной...».

У Баратынского: Напрасно я себе на память приводил
 и милый образ твой, и прежние мечтанья:
 безжизненны мои воспоминанья...

У Пушкина: Напрасно чувство возбуждал я:
 из равнодушных уст я слышал смерти весть
 и равнодушно ей внимал я.

И даже пушкинскому «для бедной легковерной тени» предшествовало у Баратынского: «уж ты жила неверной тенью в ней».

Совпадения Пушкина и Баратынского таковы, что становится очевидным: оба они были призваны решить сходные задачи, стоявшие перед поэтической речью. При этом Пушкин, делавший это более ярко и энергично, затмевал собрата по перу. Самолюбие Баратынского страдало. Гордость не позволяла ему подражать гению. Он стремится идти своим путём: начинает бороться с той лёгкостью и накатанностью поэтического стиля, для которых так много сделал вместе с Пушкиным в начале 20-х. От прелестной соразмерности и гармоничности стихотворной речи Баратынский переходит к грамматическим нарушениям нормативной лексики и синтаксиса, сознательно архаизируя и утяжеляя речь так, словно с гладкой наезженной дороги вдруг съезжаешь на обочину, где читателя трясёт на кочках и ухабах. Про него, как про Толстого, можно сказать, что он сознательно начинает писать «коряво». И только так, осмелев пойти против течения, Баратынский добивается того, что его стих уже невозможно спутать с пушкинским.

Это не зависть. Завистник мечтает поменяться судьбой и талантом с объектом своего страстного чувства. Баратынский не хотел бы поменяться с Пушкиным своим даром. Он слишком дорожит своей независимостью в литературе. Они очень разные. Как свет и тьма. Пушкину ночь внушала чувство подавленности и тоски («Всюду мрак и сон докучный»). Для Баратынского всё наоборот: «Видений дня боимся мы, людских суев, забот юдольных...», «На что вы, дни...»

Пушкин – «солнце русской поэзии», Баратынский – «сумрачный гений». Баратынский – поэт мысли («живых восторгов лёгкий рай я заменю холодной думой»), Пушкин ратует за «глуповатость» поэзии. (Конечно, Баратынского отличает от Пушкина не превосходство ума, а склонность к анализу. Пушкин слишком гармоничен, чтобы выглядеть поэтом какой-то одной черты).

Баратынский, обманутый лёгкостью слога, явно недооценивал интеллект Пушкина. Он был потрясён, заглянув в бумаги поэта после его смерти. И писал жене: «Ненапечатанные пушкинские стихотворения отличаются – чем бы ты думала? – силою и глубиною». Пушкин же оказался пронительнее Баратынского, он с самого начала оценил его самобытность и независимость, «стройность и зрелость необыкновенную» самых первых опытов, всегда восхищался его творениями в письмах друзьям. В письме П.Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни, и Батюшкова. Оставим ему его эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В письме А.Бестужеву: «Признание» – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий».

Сквозь восхищение отчётливо просвечивает поэтическая ревность. Это у Пушкина-то! Да, он был далёк от самодовольства «самодостаточных» виршеплётов, ничего не читающих и никем не интересующихся кроме себя, любимых. Баратынский тоже недоволен собой, в том числе и своим хвалёным «раздробительным» умом: «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова...» Он сетует, что «на грудь мне дума роковая гробовой насыпью легла», и удушает его этот дар, он чувствует, что из-за него не будет ему хмеля на празднике жизни:

Но пред тобой, как пред нагим мечом,
мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!

Они оба завидуют друг другу: Пушкин – простодушно-открыто, Баратынский – не признаваясь в этом даже себе самому. Но это плодотворная, поэтическая, а не житейская зависть, следствием которой были не желание строить козни сопернику, опорочить его творения, а требовательность к себе, стремление превзойти своего кумира, то есть зависть вдохновляющая, стимулирующая творческий импульс. Она не исключает симпатии к сопернику. Пушкин тянется душой к Баратынскому. Тот, напротив, старается отдалиться.

Но посреди печальных скал,
отвыкнув сердцем от похвал,
один, под финским небосклоном,
он бродит, и душа его
не слышит горя моего.

На самом деле Баратынский всю жизнь напряжённо думал о Пушкине, соизмерял с ним каждый творческий шаг. Книга «Сумерки», вышедшая в 1842 году, только формально посвящена Вяземскому, на самом деле – Пушкину. Постоянная мысль о нём пронизывает едва ли не каждое стихотворение. Но в целом их творчество – это переключка несогласия, спора. Например, любимому пушкинскому слову «пора» («Пора, мой друг, пора...», «Пора, пора! Рога трубят...» и т.д.) у Баратынского противостоит слово «поздно»: «Уж поздно. Встать, бежать готова с негодованием она», «Уж поздно. Дева молодая...» За этими двумя словами – всё различие их темперамента и мировоззрения. «Затем, что ветру и орлу// и сердцу девы нет закона» – с этими пушкинскими стихами спорят стихи Баратынского: «Бродячий ветер не волен, и закон //его летучему дыханью положён». И с ослепительной лучезарной «Осенью» Пушкина спорит «Осень» Баратынского, самое мрачное и трагическое стихотворение в нашей поэзии.

Да, Баратынский спорил с Пушкиным, но то был высокий, поэтический спор. Можно ли считать его проявлением низкой зависти и сальеризма? «Баратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него», – писал П.Нащокин. С.Соболевский, хорошо знавший и Пушкина, и Баратынского, называл это высказывание «сущей клеветой».

Баратынский был первым, кому Пушкин прочёл свои новые вещи, написанные им в Болдино в 1830 году, в том числе и «Моцарта и Сальери». А как слушал их Баратынский, мы узнаём из письма Пушкина П.Плетнёву: «Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся». Завистники так не слушают.

Но кто сказал, что одному поэту должно нравиться всё, что делает другой? Заболоцкий не любил Ахматовой, Ахматова не признавала Цветаеву, а позже – всех шестидесятников, в том числе и Ахмадулину. Мандельштам «не заметил» лучшей вещи М.Кузмина «Форель разбивает лёд». Ю.Карабчиевский ниспровергал Маяковского – да мало ли таких примеров.

Баратынскому не нравились «Сказки» Пушкина (в частности, «Сказка о царе Салтане»). Он вообще с сомнением

относился к необходимости дублировать фольклор и перекладывать его на современный поэтический язык. Сам, во всяком случае, этого никогда не делал. И это его право. Что же касается его критических замечаний по поводу «Евгения Онегина» в письме Киреевскому, упрёков в подражании Байрону, действительно несправедливых, – опять-таки это его частное дело. Пушкин, например, тоже в частном письме высказывает едкие замечания по поводу «Горе от ума». Более того, вполне вероятно и, по-видимому, неизбежна ревность одного поэта к другому, особенно когда один из них незаслуженно обойдён вниманием и славой. Это ревность, обида, горечь – но не зависть.

Два ведущих поэта эпохи – Фет и Некрасов – оказались родоначальниками двух противоположных тенденций современной поэзии. Некрасов определил свой путь как путь социального трагизма, а Фет отстаивал позицию «певчей птицы» («как птица, распевает Фет, стихи печатает Некрасов», – писал Некрасов в одном из стихотворений), права «свободной поэзии», свободной от всяческих житейских скорбей, в том числе и гражданских.

Оба они, хотя и в разных сферах, оказались самыми практичными людьми из всех русских литераторов, только самим себе, своей воле, хватке и деловому умению обязанными завоёванным в жизни местом и нажитым богатством: в сфере сельской, хозяйственной – у Фета, в сфере более «поэтической» – журнальной и газетной – у Некрасова. Хотя по духу они совершенные антиподы.

Молчи, поникни головою,
как бы представ на Страшный суд,
когда случайно пред тобою
любимца муз упомянут!

На рынок! Там кричит желудок,
там для стоокого певца
ценней грошовый твой рассудок
безумной прихоти певца. –

так отчитал Фет Некрасова в стихотворении «Псевдопоэту», в письме назвав его стезю «тесной и грязной». Говоря при этом, что он, Фет, выучил всех грустить, в то время как Некрасов – проклипать. Но у Некрасова была своя правда, которую он высказал в стихотворении «Блажен незлобивый поэт...» Он откликнулся им на смерть Гоголя, но, может быть, ещё больше говорил в нём о себе и о своей судьбе:

Блажен незлобивый поэт,
в ком мало желчи, много чувства:
ему так искренен привет
друзей спокойного искусства;

ему сочувствие в толпе,
как ропот волн, ласкает ухо,
он чужд сомнения в себе —
сей пытки творческого духа.

Любя беспечность и покой,
гнушаясь дерзкою сатирой,
он прочно властвует толпой
с своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
его не топят, не злословят,
и современники ему
при жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
тому, чей благородный гений
стал обличителем толпы,
её страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
уста вооружив сатирой,
проходит он тернистый путь
с своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
он ловит звуки одобренья
не в сладком ропоте хвалы,
а в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
мечте высокого призванья,
он проповедует любовь
враждебным словом отрицанья, —

и каждый звук его речей
плодит ему врагов суровых,
и умных, и пустых людей,
равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут,
и только труп его увидя,
как много сделал он, поймут,
и как любил он, ненавидя!

Высказывалось предположение, что под этим незлобивым поэтом имеется в виду Жуковский. Но это вряд ли. Жуковский не мог быть равновеликой Гоголю фигурой, чтобы быть противопоставленным ему. «В ком мало желчи» — какая желчь у Жуковского? хотя бы и малая. Некрасов имел в виду Пушкина. Но не буквально его, а, скажем, тип его

музы. Скрытую полемику с ним Некрасов продолжает и в стихотворении «Муза»: «Нет, музы, ласково поющей и прекрасной, не помню над собой я песни сладкогласной». (Предмет полемики – стихотворение Пушкина «Наперсница волшебной старины»). У Пушкина:

Ты, детскую качая колыбель,
мой юный дух напевами пленила
и меж пелен оставила свирель,
которую сама заморозила.

Образы пушкинского стихотворения Некрасовым привлечены и сразу же отвергнуты: не «детскую качая колыбель» – а «играла бешено моею колыбелью», не «меж колен оставила свирель», а – «в пелёнках у меня свирели не забыла». Образ некрасовской «кнудом иссеченной музыки» полемичен по отношению к гармоничному образу пушкинской музыки, девы-любвицы. Это разные типы мировосприятия.

Совершенно разные типы музыки были у Фета и его друга детства Аполлона Григорьева. Стихи Григорьева весьма уступали фетовским, и Аполлон нередко приходил в отчаяние от неуклюжести собственных виршей, особенно заметной на фоне благозвучия фетовских строф. Он даже выразил это в стихах:

Я не поэт, о Боже мой!
Зачем же злобно так смеялись,
так ядовито насмехались
судьба и люди надо мной?

Но чистая душа А.Григорьева не знала зависти, он бурно восторгался крылатой фетовской лёгкостью, отзываясь на неё с чуткостью эоловой арфы, проклиная корявую несладкую своих бедных и таких искренних стихов. Фет писал потом, что у него никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя его стихотворных набросков, как Аполлон Григорьев. Тот тщательно переписывал стихи друга в тетрадь, а позже, в 1840 году, издал первую книжечку стихов Фета. Он посвятил ему свою автобиографическую поэму «Встреча», рассказ «Человек будущего».

Такое чистое, бескорыстное отношение к превосходящему тебя по уровню таланту – большая редкость. Не знала зависти гениальная душа и муза Марины Цветаевой. Она не только оставила нам живые портреты знаменитых поэтов-современников, запечатлев их в слове, как в камне, но способна была воспеть и стихи безвестной монахини, признавая, что они вызывают у неё «чувство стыда за свои собственные». А её восхищённые письма Ахматовой, посвященные ей дивные гимны поклонения и любви!

А вот Ахматовой этого было не дано. Потребность ощущать себя королевой поэзии не допускала соперниц. Единственная поэтесса, которую она признавала, была Мария Петровых (мне кажется, что она любила её главным образом за скромность и нежелание печататься, стремление стушеваться на фоне мэтрши). Но и о тех немногих, кого любила – Петровых, Тарковском, Бродском – не оставила никаких благодарных воспоминаний.

Ахмадулина. Вот кто начисто был лишён зависти! Её смиренно-восторженные стихи о Цветаевой, Лермонтове, Пастернаке. Её сокровенные слова любви и верности поэтам-товарищам. Когда не «Платон мне друг, но...», а:

...всё это так. Но всё ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих!

Её любили помимо всего прочего ещё и вот за этот щедрый дар дружбы и бескорыстного восхищения. И как мерзко после всего этого читать злобно-завистливые строки Ю.Мориц об Ахмадулиной: «Я с гениями водку не пила и близко их к себе не подпускала...» Ну при чём здесь это?!

Есенин и Блок. Блок был «первым живым поэтом», к которому отправился Есенин со своими стихами, приехав из Москвы в Питер. По существу, Блок первым распознал исключительную одарённость молодого деревенского поэта. «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык», – записывает он в дневнике в день их встречи. Но продолжения их отношений не захотел, отклонял все попытки Есенина встретиться вновь: «Мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные». Есенин не забудет этого. И позже, оперившись, задиристо назовёт Блока «по недоразумению русским», который «на наших полях часто глядит как голландец». Что это – месть? Зависть к чужому, недоступному ему миру высокой культуры, куда не захотел его допустить Блок? Ущемлённость крестьянского происхождения? Похоже, по этой причине Есенин терпеть не мог Пастернака и Мандельштама, мотивируя свою враждебность их недостаточной «русскостью».

Непримиримость бывших друзей Пастернака и Маяковского. «Вы любите молнию в небе, а я её люблю в утюге», – кратко пояснил Маяковский суть их разногласий. Пастернак, в свою очередь, упрекал:

Я знаю, Ваш путь неподделен,
но как Вас могло занести
под своды таких богаделен
на искреннем Вашем пути?!

Многолетняя идейно-художественная вражда Гумилёва и Блока. И в то же время Гумилёв не может скрыть своего восхищения соперником: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек!»

Творческая зависть – это не огульное неприятие чуждого тебе автора. Подсознательно она таит в себе восхищение, сознание чужого превосходства. На каждого она действует по-разному: кого-то стимулирует, кого-то парализует, заставляя «кончить полной немотой».

Блоку «мешал» писать Лев Толстой. Толстому – Шекспир. Этим же чувством, видимо, был вызван возглас Мандельштама в «Бродячей собаке»: «Я не могу читать, когда там молчит Хлебников!»

Притчей во языцех уже стало враждебное отношение Бродского к Евтушенко. Это началось в 60-х годах, когда Евтушенко активно печатался, выступал, выезжал за границу и стал для Бродского воплощением ненавистного ему легализованного советского успеха. Сам он был лишён тогда возможности и публиковаться, и выезжать. И хотя Евтушенко всячески старался помочь Бродскому, пытался напечатать его в «Юности» (это не состоялось из-за нежелания Бродского идти ни на какие редакторские компромиссы), делал неоднократные попытки к примирению, но вся его доброжелательность разбивалась об утёс ненависти будущего Нобелевского лауреата. Это носило какой-то болезненный характер и продолжалось даже после того, когда слава Бродского стала мировой и намного перегнала Евтушенковскую. Шла ли речь об издании книги Бродского в Москве, когда ему прислали договор с указанием тиража: 50 тысяч экземпляров, – первый его вопрос был: «А какой тираж у Евтушенко?» Евтушенко оставался для него образцом преуспевающего поэта в России, и он, как ни странно, продолжал вести свой спор с ним, может быть, соревнование.

Когда Евтушенко приняли в Американскую академию искусства и литературы – Бродский в знак протеста вышел оттуда, объяснив это тем, что не хочет «хотя бы теоретически оказаться с ним в одном помещении». Застарелую антипатию Бродского к Евтушенко С.Довлатов впоследствии смешно обыграл в одной из своих юмористических зарисовок. Якобы он навещал Бродского в больнице, где тот лежал после операции совершенно серый, едва мог поднести стакан воды к губам. Чтобы как-то подбодрить поэта, Довлатов говорит:

– Вот Вы тут, Иосиф, прохлаждаетесь, а в России перестройка набирает силу. Сам Евтушенко выступил против колхозов.

Бродский поставил стакан и еле слышно произнёс: «Если он против, то я – за».

Евтушенко оказался благороднее, напечатав Бродского в своей антологии «Строфы века» после его смерти. Думаю, что Бродский никогда бы этого не сделал.

Зависть – чувство, которое человек обычно тщательно скрывает. Э.Лимонов в своей «Книге мёртвых» выставляет его напоказ. Так сказать, обнажение приёма. «Я считал себя талантливее Бродского, – пишет мемуарист, рассказывая, как завидовал благополучию поэта, его славе, премиям, и тут же иронически сопоставляя это соперничество с историей отца, карьере которого мешал некто капитан Левитин: «Я насмешливо думал, что это у меня наследственное, что мой Левитин – Бродский». Самоирония однако не мешает Лимонову называть Бродского «поэтом-бухгалтером», «крайне посредственным обыкновенным ленинградским поэтом», «средним среди кушнеров и рейнов».

Когда читаешь «Воскресение Маяковского» Ю. Карабчиевского, сталкиваешься с яростным неприятием поэта. Но это не зависть, не сведение счётов. Там всё настолько убедительно и доказательно, что даже я, например, всегда безумно любившая раннего Маяковского, невольно соглашаюсь с тем или иным авторским постулатом. Это критический взгляд, иная точка зрения. Это всегда интересно, даже если в чём-то несправедливо. Такие работы освежают мозги, проясняют замысленный взгляд, разрушают стереотипы, учат самостоятельному мышлению. Когда же читаешь Лимонова или В.Соловьёва, где они высказывают своё резко негативное отношение к Бродскому, А.Кушнеру – то видишь одну патологическую злобу, которая застит глаза, и – никаких аргументов.

В.Соловьёв в своём «Запретном романе о Бродском» высказывает такую фрейдистскую мысль, что Дмитрий Бобышев не просто «запал» на Марину Басманову, но рассматривал её скорее как трофей в поэтическом турнире с Бродским. Якобы Бродский был объектом его поэтической ревности, и Бобышев поединок с поля поэзии, где он был обречён на проигрыш, перенёс на любовное поле и там взял таки реванш за литературное поражение, уязвив и унизив друга, в котором видел соперника, а тот в нём – нет. Любопытно, но маловероятно. Соловьёв, как всегда, собственную патологию приписывает другим.

Из письма Н.С.Могуевой от 30 марта 2004 года: «Зависть. Страшное чувство. Кто-то здорово сказал: «Истинные таланты обладают печальным свойством вызывать ненависть серости». И, как это ни горько, но это почти наше национальное качество. Ещё давным-давно историк Катошихин написал: «И искони в Российской земле лукавый дьявол вселял плевелы свои, аще человек хотя мало придёт в славу и честь и в богатство, не возненавидите не могут». Относитесь к этому как к неизбежному, хотя понимаю, что это очень не просто».

Н.С.Могуева писала мне эти строки в ответ на газетную травлю, которую тогда, в 2003 году, организовал против меня Н.Куракин и К^о.

Из газеты «Расклад» от 19.02.04 (о нём же): «Оказывается, нет большего врага у талантливого саратовского поэта, чем другой саратовский поэт, считающий себя талантливым». Наверное, подобные местные аналогии – в свете всего перечисленного – смешны и неуместны, но раз уж пришлось к слову – выскажусь. Накипело.

Вот уже много лет меня преследует неотступная злоба этого «собрата по перу». Когда-то давно мы общались, ходили в одно литобъединение, встречались на литературных вечерах. Потом я «оторвалась» от коллектива: издала свою книгу – первая в Саратове без благословения СП, затем – вторую, третью, провела презентацию в Доме учёных (ныне Дом искусств). Куракин был на ней. «Какой успех! Вот это успех!» – восторженно повторял он тогда, потирая руки. Этот успех вдохновил его на повторение моих «подвигов». Он тоже издаёт книгу и тоже устраивает её презентацию в Доме учёных, с той лишь разницей, что меня тогда пригласила администрация, а он снимал зал в аренду. («Сколько ты платила? – деловито осведомлялся у меня по телефону. – Я?! Я никогда никому ничего не плачу»). На его презентацию были приглашены все друзья и знакомые Куракина вплоть до одноклассников и школьных учителей, не удивлюсь, если и воспитательниц детсада. Все должны были выступить и говорить о том, какой он гениальный.

Я на эту презентацию не пошла, хотя он меня упорно звал. Не желая его обидеть, сослалась на какое-то срочное дело. Но Куракину непременно надо было заставить меня стать свидетелем – а может быть, и участником – его триумфа. Он устраивает вторую презентацию – уже в нашей библиотеке, где я читаю лекции, и снова настойчиво приглашает. Я отвечаю, что сама никого за уши не тащу на свои презентации, и не люблю, когда меня тащат. Куракин не на

шутку взбешён. Свою презентацию он начинает с огульных слов в мой адрес. Каких именно – мне не сказали, но извинялись за них работники библиотеки («уж такой человек, не обращайтесь внимания»). Я и не обращала.

Но Куракин никак не мог успокоиться. Он постоянно звонил, громогласно читал в трубку свои стихи, включал кассеты с песнями на них и ждал от меня восторгов. А их всё не было. Жажда успеха гнала его по думским кабинетам, где он всем подряд раздавал свои книжки с непрошенными автографами, по редакциям газет, куда совал свои стихи и статьи о себе, по приёмным ГТРК, где настойчиво требовал эфирного слова. Он обивает пороги школ, где предлагает устроить свой творческий вечер, и всюду навязывается, навязывается – как самому не тошно?

В одной из школ спрашивает детей: «Кого из саратовских поэтов вы знаете?» («Кто, скажи мне, всех милее?»), ожидая, очевидно, что назовут его. Но дети вдруг ответили: «Кравченко». Разъярённый Куракин звонит мне: «Ты была в такой-то школе? – Нет. (Я действительно там не была). – А откуда же они тебя знают?!»

Отношения становились всё более напряжёнными. Как-то Куракин заявил мне: «Я бы не хотел, чтобы мы переходили друг другу дорогу».

– Успокойся, – ответила я ему тогда. У нас разные дороги. Мы не пересекаемся.

– Дорога у нас одна! – с пафосом провозгласил он.

(Невольно вспомнился Грушницкий: «Когда-нибудь мы встретимся на узкой дороге и одному из нас несдобровать...»). Видимо, действительно, одна. Только вот шёл он не навстречу, а следом, наступая на пятки и дыша в затылок, – так хочется догнать и перегнать! Ан не получается.

Я собираю полные залы на своих вечерах. Куракин обзванивает весь Саратов, стремясь добиться того же. Как-то подскочил ко мне и – с вызовом, на истерической ноте: «У меня тоже полный зал!!!» Да на здоровье. У меня на вечере прозвучали песни бардов на мои стихи. Куракин тут же начинает рыскать по городу в поисках композиторов, готовых увековечить его имя. (О том, как «изнасиловал» Бикташева – сам поведал в какой-то из своих книг). Я устраиваю вечер неизвестных саратовских поэтов. – Куракин следом срочно организовывает в соседней библиотеке клуб молодых поэтов «Диалог» (перекрещенный злыми языками в «Монолог»).

В «Полиграфисте» красиво издают мою книгу. Куракин немедленно заказывает такую же обложку: «чтоб как у Кравченко!» Но, оказалось, обложка – это ещё не всё.

Журналисты смеялись: «ему б ещё себе псевдоним «Кравченко» взять – тогда уж точно книжки бы раскупали!»

Посылаю Г. Явлинскому свою книжку с посвящёнными ему стихами, на которые он отвечает мне личным письмом и присылкой двух своих книг с дарственной надписью. Куракин пытается повторить мои действия, всучив прилюдно свой сборник Г. Зюганову.

Пишу «самоиронизмы» – Куракин тут же пытается подражать своими «щами» и «мужиком, несущим ахинею». Но никаким мужикам не унести того, что нёс Куракин, по его собственному признанию:

Намедни, чуточку робея,
я нёс под вечер ахинею.
Отменно ноша тяжела,
что спину аж сгорбатила.

Лучше самого себя о себе не скажешь.

После выхода моей автобиографической прозы как-то в шутку сказала Корнилову: «Теперь – вот увидите, Куракин тоже начнёт кропать нечто подобное».

– А уже! – Оказалось, он уже выступал в лито с какими-то попытками мемуаров, но это было так плохо, что его осмеяли. Просто какая-то Тень Шварца. В каком-то смысле я породила это явление – Куракин, и в этом чувствую некоторую свою вину.

Но это бы всё ничего, в самом деле, идёт и идёт себе по моим стопам человек («по горячим следам» Кравченко, как съязвил кто-то из знакомых), делает жизнь с меня – не жалко. Но Куракин, будучи не в силах меня догнать и перегнать честным путём, начинает мне всюду всячески пакостить. Продавец лотка, где продавалась моя книга «Письмо в пустоту», рассказывал, как подошёл к нему какой-то тип (по описаниям – вылитый Куракин, да и некому больше) и стал злобно орать, зачем он продаёт эту книгу, ведь её автор такая-сякая немазаная, и наговорил такого, что продавец испуганно спрятал эту книгу под прилавок.

Вдохновлённый успехом, Куракин продолжал мою дискредитацию: ко всем моим знакомым и друзьям он подходил с одним вопросом: «Зачем Вы дружите с Кравченко?» «Что у вас может быть с ней общего?» – пытался он отвалить от меня Валерию Соколову. «Она честная», – отвечала та. – Она... – Куракин аж зашёлся в негодующей речи. Предостерегал П. Шарова: «Учтите, дружба с ней может воспрепятствовать Вашему вступлению в Союз писателей...».

Сам Куракин спал и видел вступить в вожделенный Союз. Кусочек картона с печатью сделал бы его профессионалом. Кто бы тогда посмел сказать, что он не поэт! Вот тогда бы он уж точно обскакал Кравченко! Увы. Шумная активность Куракина пришлась не по нраву саратовским корифеям. Его прокатили раз, другой, третий. Не помогла даже кропотливая индивидуальная работа с каждым членом СП. «Не больно-то надо!» – запоздало плюнул Куракин, как лиса на виноград. И снова принялся – за недоступностью виноградных «корочек» – грызть Кравченко.

У меня выходит книжка лекций – он подсчитывает в ней количество поэтов еврейского происхождения – ага! Вот она, русофобия! «Ваш антипод», – как-то назвала Куракина одна из моих слушательниц.

Так вот, антипод, – хотелось мне ему сказать. – У нас не только дороги, у нас миры, измерения разные. Мы говорим на разных языках. Тебе моего никогда не понять и не освоить.

В 2003 году выходит моя книга «По горячим следам». В одном из памфлетов – «Немужская поэзия» – Куракин узнал себя. (Хотя я не называла там его фамилии). Получилось прямо по Пушкину: «Приятно, если он, друзья, завоюет сдуру: это я!» Другие герои памфлетов, не будучи названы, благо-разумно отмолчались. Куракин же поднял такой вой, что теперь о том, что это именно он – узнали все. С помощью Мартыновой, Зрякина и Амусина он выстреливает серией злобных газетных статей под звучными псевдонимами. Я не смолчала. Куракин не мог смириться со своим поражением и пытался взять реванш: целыми днями сидел на телефоне и поливал меня грязью всем знакомым и незнакомым. Люди кидали трубку, не дослушав. «Это твой Мартынов!» – сказал мне кто-то из поэтов.

Я обычно редко включаю местное радио, но как ни включу – там Куракин. Присоединяется к предыдущим ораторам, поздравляет друзей, «дарит» им свои стихи и при каждом удобном-неудобном случае поносит меня. То – за то, что критиковала его вирши («Это безобразие!» – гремел он в эфире. «Тенденциозно!» – поддакивала Макеева). То – за то, что не верю в Бога («В Библии сказано: «Не мечите бисер перед свиньями!») Я уж молчу по поводу того бисера, который мечет Куракин. Меньше всего это похоже на бисер. Желających узнать – на что именно – отсылаю к своим памфлетам «Бредит сивая кобыла», «Эксперименты и экскременты» («Ангелы ада», 2004).

То, что пишет Куракин – выходит за рамки литературных и любых приличий. Похабные куплеты о моей личной жизни, дурацкие частушки, грязная газетная клевета – он не брезглив в выборе средств. «Эта местная стиходама и литературоведица в своих лекционных изощренчествах, касаемых поэтов и поэзии, прямо-таки по-швыдкому трясёт грязным исподним...» – писал он в газете «Жизнь». Кстати, по поводу «исподнего». Вспомнилось, как одна слушательница возмущалась: «Представляете, прихожу я в этот клуб «Диалог», а руководитель снимает при мне ботинки, надевает какие-то другие ботинки (заготовленные специально для вечера с высокими каблуками – котурны поэта), переодевается, трясёт там своими носками, обувью – и это при мне, женщине, при даме!»

А чего стесняться? Там у них все свои. «Все из одной купели, все мы братья», – как пишет Ахмадулина. Так что про исподнее – это он со знанием дела пишет.

Когда я писала свои памфлеты – я была далека от мысли чем-то досадить Куракину. Я просто писала о том или ином явлении в литературном мире, а поскольку живу в Саратове, то иллюстрации к своим мыслям беру из саратовской жизни, невзирая, как говорится, на лица. Мне безразлично, прочтут эти люди или нет, я пишу для читателей, которые у меня в отличие от этой компании имеются. Они же пишут свои ответные опусы именно в расчёте на моё прочтение, мечтая этим меня «достать». Куракин на презентации своего «песенника» во всеуслышание заявил: «Вот эту дорогую книгу в твёрдом переплёте Н.М. не купит, но уж вот эту, в мягкой обложке...» Должна разочаровать. Ни одной из этих книг – ни твёрдой, ни мягкой – я не купила и не куплю, – с некоторых пор стараюсь не захламлять полки. Но мне их приносили, показывали.

Эпопею про «крылышко кролика» я даже не дочитала – маразм какой-то. Пытаясь подверстать себя под Дольского, приплёл какое-то «крылышко кролика», которым якобы я его кормила 30 лет назад. Размечтался. В своих виршах о «русских щах», в которых воспевается говяжье мясо, застрявшее в зубах Куракина, и которые он грозит съесть в одиночестве, он пишет: «Я кайфа щёв не упущу и ни-ко-го не у-го-щу. Пока не съем – не приходите!» Так что нечего собственное скражничество приписывать мне.

Нужно быть Куракиным, чтобы вычитать в моих книгах то, что он вычитал. К Дольскому я изменила отношение вовсе не из-за котлет, которыми когда-то его угощала у нас

дома и которых мне якобы спустя 15 лет стало жалко, и не понять этого из моего эссе («Не прошло и пятнадцати лет» в кн. «Ангелы ада») мог только идиот. Но думаю, что в данном случае эти подтасовки и подмены смысла делались сознательно, из подлого расчёта, что далеко не каждый будет находить мои книги (которые уже давно разошлись) и сверять то, что там действительно написано – с куракин-ской брехнёй. Как говорится, клеветайте, что-нибудь да останется.

Я думаю, что всех этих фактов и симптомов достаточно, чтобы поставить диагноз моему «антиподу»: сальеризм. Тяжёлый случай, думаю, неизлечимый.

Некая неведомая мне – но хорошо, видимо, знакомая моим оппонентам – Анна Хрусталёва как-то завозмущалась в мой адрес в подведомственной ей газетной колонке: «Называет себя «властителем дум»! Позволяет себе давать оценки саратовским литературным журналам!» И, как следствие – вынесенный ею вердикт по поводу моей новой книжки: «Читать не рекомендуется». А вот А.Кушнер прочитал. И написал мне: «Это лучшая Ваша книга».

Меня позабавила преамбула, с которой эта Хрусталёва исподволь подбиралась к моей особе в своей обзорной статье: «Есть любители изящной старины и андеграунд, есть поэты-песенники, народные сказители... Встречаются и авторы, совершенно стоящие особняком».

Да! Золотые слова. Стою особняком, дорогая Хрусталёва и ей подобные. И стою на этом. А если уж и буду к кому-то ревновать – то не меньше чем к Копернику, как писал Маяковский.

КАК НА ДУХУ

самоинтервью

С интервью в наших газетах мне всегда не везло: искажали мои мысли, слова, сокращали до бессмыслицы, приписывали то, чего я не говорила. И ни разу не удалось мне сказать, вернее, донести сквозь редакторскую цензуру до читателей всё, что действительно думаю и чувствую. Мне захотелось хоть один раз отыграться за все те опубликованные псевдоинтервью, после которых было стыдно выйти на улицу и долго потом приходилось доказывать друзьям и знакомым, что я «не верблюды». Попробую-ка я взять интервью у себя сама. Итак, что бы я ответила, если бы у меня спросили... А в качестве вопросов приведу те, которые мне чаще

всего задают на лекциях, в письмах и по телефону мои слушатели и читатели.

– **Как Вы относитесь к распространённому суждению, что поэзия умерла?**

– Помню, с этим риторическим вопросом корреспондент ТВ А.Веретенников приставал ко всем моим слушателям в конце лекций. Глупый вопрос, но, к сожалению, действительно, распространённый. Поэзия умирает только для какого-то конкретного человека. Для кого-то она, возможно, и вовсе не рождалась. (Ведь, как известно, поэзию у нас читают и любят лишь 2% населения). Говорить о смерти поэзии (культуры) – значит, быть солипсистом, для которого существует только реальность его сознания. Точно так же развратник будет говорить о смерти этики. Для него этика мертва. А для его соседа, скажем, она – в полном расцвете.

Пастернак считал, что поэзия – у нас под ногами. Бродский – что разлита в воздухе. Поэзия – это перевод метафизических истин на земной язык. (В одном из стихов я пишу: «с лунного – на человеческий»). Для кого этот перевод внятен, у кого имеется этот орган шестого чувства – уши души, если так можно сказать, – для того поэзия всегда будет «живее всех живых».

Поэзия – это Нечто, препятствующее превращению людей в носорогов (вспомним Ионеску). Это не только бальзам на душу, но ещё и кукиш подлому практицизму, который думает, что он всё знает. Но дышать ею могут лишь те, у кого есть этот второй (и основной) набор лёгких.

– **Как Вам удаётся собирать столько людей на своих вечерах? Кто обычно на них ходит?**

– Люди, которые не ленивы и любопытны, вопреки утверждению классика, страстно любящие поэзию и литературу. Многие ходят на мои вечера уже десятки лет, – я ведь читаю публичные лекции в Саратове с 1986 года. Придя однажды, потом приводят с собой друзей, коллег, соседей, детей, родственников, поэтому моя аудитория не иссякает, а приумножается. Но есть категория людей, которых вы никогда не увидите в этих стенах, по крайней мере, я ни разу их тут не заметила. Это члены Союза писателей, штатные газетчики и радиожурналисты, представители администрации, чиновники, начальники, ведающие культурой в нашем городе. Эти важные люди никогда не переступят порог лекционного зала, чтобы не дай бог их не заподозрили в том, что они чего-то не знают. Когда их кто-нибудь приглашает придти, они говорят: «А мы и так это всё знаем». Мне это

напоминает одну реплику Маяковского. Когда его из зала спросили: «Маяковский, Вы нас призываете отмываться от прошлого, а ведь если Вам надо отмываться – значит Вы грязный!». На что Маяковский ответил: «А Вы не моетесь, и на этом основании считаете, что Вы чистый?» Эти люди живут по принципу той же логики: не знать, не стремиться узнать, и на этом основании считать, что всё знаешь. Ведь, как правило, они сохранили в памяти лишь обрывки каких-то школьных знаний, ну, в лучшем случае, знакомы с чем-то в общих чертах по антологиям. Но когда речь идёт о таких малопопулярных поэтах, как Белый, Хлебников, Анненский, Ходасевич или о таких, как Парнок и Поплавский, которые вообще тогда не публиковались в России, когда я открыла их для Саратова – говорить, что всё это знаешь – чистой воды блеф. Спросите их, что они знают о Марии Шкапской, Ларисе Миллер, Борисе Чичибабине, Науме Коржавине, Иване Елагине, Владимире Нарбуте, Марии Петровых? Да ничего, я уверена. Хотя, я считаю, людям пишущим или по долгу службы связанным с литературой – стыдно не знать.

Чтобы всё это знать самим, о чём я здесь рассказываю, – надо заниматься этим так же длительно и скрупулёзно. Далеко не все имеют возможность отслеживать новинки по книжным и литературным «обозрениям», привозить из Москвы или выписывать из разных уголков страны книги, которых нет ни в продаже, ни в наших библиотеках. На вечерах вы можете увидеть компьютерные слайды с редких фотоснимков и картин художников, услышать уникальные записи стихов в исполнении лучших чтецов, знаменитых артистов и самих авторов, песни и романсы на эти стихи в исполнении мастеров искусств, бардов (в последнее время всё чаще – «вживую»).

Это не просто лекции, а моноспектакли, композиции, поэтические концерты. Много даётся краеведческого материала о пребывании великих поэтов в нашем городе, документальные свидетельства их впечатлений о нём, газетные рецензии на их выступления в Саратове. Это ведь всё надо раскопать. Нередко звучат записи моих интервью с поэтами и их потомками, родственниками, друзьями: интервью с дочкой Бальмонта, с дочкой и братом Галича, известными артистами, например, М.Козаковым, близко знавшим родителей Бродского. Где ещё вы это услышите? В наших газетах об этой моей работе – ни слова, люди сами по цепочке узнают друг от друга.



**На вечере «Заресничная страна»
(О.Мандельштам и О.Ваксель). 2003 г.**



**На творческом вечере Наталии Кравченко.
На сцене Феодосия Бырса и Светлана Лебедева. 2007 г.**

Всё это требует немалых усилий и затрат – и творческих, и временных, и материальных, но с лихвой окупается радостью творчества и самоотдачи. Не лишайте и вы себя этой радости и ценности: новых знаний, открытий, эмоций. Я-то переживу чьё-то отсутствие – зал у нас всегда полон, свято место пусто не бывает, а вот вы себя можете лишиться чего-то важного и эксклюзивного, что трудно будет где-то ещё восполнить.

– Некоторые считают, что два часа для лекции – это слишком много. Не трудно ли удерживать внимание слушателей в течение столького времени?

– А кто сказал, что должно быть легко? Хоть объявления на мои вечера и давались порой в рубрике «Где отдохнуть?», отдохнуть на них весьма проблематично. Мои лекции требуют определённой подготовки, сосредоточенного внимания и большой любви к поэзии. Это своеобразный тест на интеллект, на интерес к культуре, на потребность в новых знаниях. Если кому-то это тяжело, утомительно, значит, он ещё не готов, значит, ему ещё это рано. А может быть, уже поздно. Я не собираюсь адаптировать для этой части аудитории свои лекции или сокращать их, опускать планку. «Душа обязана трудиться», как известно.

– Как Вы пишете стихи?

– Есть поэты, которые придерживались девиза: «Ни дня без строчки», чтобы «форму» не потерять. Так писали Гумилёв, Бунин. Это, наверное, самое правильное, ибо, как говорил Заболоцкий, «надо писать чаще, удача зависит не от нас, и поэтому надо, чтобы у неё было, по крайней мере, больше шансов». Таким поэтам я завидую, но сама так не могу. Я не могу писать урывками, мне надо отдаться этому целиком, чтобы был целый день или хотя бы полдня, когда бы можно было ни на что не отвлекаться. Но тогда будут страдать дела, обязанности, лекции, быт, близкие люди и т.д. Поэтому все время наступаешь себе на горло и ждёшь лучших времён. Не могу позволить себе такую роскошь, как писать ежедневно.

Есть поэты, которые пишут по наитию, по вдохновению. Так писали Мандельштам, Блок. Это тоже не для меня. Кто это сказал? – «Какое вдохновение? Покрути бутылку – пробка вылетит». Моё вдохновение – это моё время. Полное отрешение от всего и вся. Я пишу запоями. Всё это копится, копится, по строчке, наброски, штрихи, а потом – взрыв – и

готово. Как говорила Цветаева, есть два рода поэтов: парнасцы и везувцы (от слова «везувий»). Годы работы, а потом сразу взрывается всем. Так и я. Классический «везувец». Коплю, коплю, потом месяца два-три запойной работы – и готова книга. Но в идеале, конечно, надо писать постоянно. Тогда, как правило, до чего-то допишешься. А.Цветков считал: «Таланту вредит многодневный простой, //ржавеет умолкшая лира».

Хотя настоящее стихотворение – это откровение, а не плод механического стихотворного усилия. Но откровение часто бывает спровоцировано впечатлением, движением чувства, словом, поводом, которые Гёте, а вслед за ним и Цветаева, например, считали необходимым условием рождения полноценного произведения. Стихи же, продиктованные просто игрой распаляемого воображения, как правило, второсортны.

– Как Вы относитесь к литературным сайтам со свободной публикацией? Можно ли назвать это особой субкультурой, отличной от бумажной литературы?

– Я воспитана именно на бумажной литературе. Возможно, поэтому литературные сайты кажутся мне клубом аутсайдеров. Тем более что каждый из публикующихся в Интернете тайно или явно мечтает именно о книге, простой бумажной книге, так что в силу хотя бы этого обстоятельства сетевая литературная субкультура неполноценна. Интернет-поэзия радуется преимущественно тех, кто размещает свои стихи в Интернете. Как правило, не читая стихи коллег по Сети.

Владение компьютером новейшей марки и усердное сидение в Интернете вовсе не гарантирует признания в современном литературном мире. Есенин называл себя «последним поэтом деревни», а признание обрёл у всех, почитай, сословий. Во все времена и на всех широтах новое теснит обжитое старое. И видеть это порой больно. Я человек городской, но с есенинской обречённой неприязнью смотрю на компьютер, которого, у меня, кстати, нет.

– Вы поэт, зачем же Вы критикуете других поэтов? Люди обижаются.

– Критикой я занимаюсь давно, как и стихами, ещё в школе прочла всего Белинского, Писарева. Меня увлекала в их статьях красота логики, построения доказательства, острота мысли, блеск фразы, точность аргумента. Критика не

может быть приятной для её объектов, она не для того пишется. Это естественная реакция раскритикованных, хотя и не самая умная. Умный человек просто сделает из критики выводы, она поможет ему взглянуть на свои творения со стороны. Критика не должна быть безобидной. («Нам нужны подорожее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали»). Она должна быть объективной, доказательной, убедительной, аргументированной, справедливой. Этим правил я всегда придерживаюсь. У меня не встретишь грубых подтасовок, неточностей и подмен смысла, как в статьях Мартиновой-Куракина, которые пишут с одной целью – свести счёты. Критика может быть пристрастной, запальчивой, острой – как всякая живая литература, этим отличаясь от мертворождённых заказных опусов, которые способен дочитать до конца разве что их заказчик.

Бывший редактор бывшей «Волги» Н. Болкунов увещевал меня по телефону: «Ну чего ты задираешься!», дав понять, что не напечатает моих стихов, пока буду «задираться». Так вот «популярно объясняю», это называется критика. Есть такой жанр. Его никто ещё не отменял. Критику писали многие достойные поэты, практически нет ни одного мало-мальски известного поэта, не говоря уже о классиках, у кого не было бы критических статей. И всякие попытки как-то принизить, «дисквалифицировать» этот жанр я категорически не принимаю. Писала и буду писать. Потому что чувствую себя ответственной за современный литературный процесс – как бы это ни казалось кому-то самонадеянным. Потому что мне не безразлично, что происходит в саратовском литературном мире. И потому, наконец, что я умею это делать.

– **Почему Вы до сих пор не член Союза писателей?**

– Да кто же меня примет? Родину не люблю, в Бога не верю, банкетов не устраиваю. Не подхожу по всем статьям. Да ещё 16 книг выпустила! Да ещё лауреат Международного конкурса в Нью-Йорке – не только губернию, Россию прославила! А.С. Кушнер «настоящим поэтом» назвал. Разве такое можно простить? Господь с вами. Не убили – и то спасибо.

– **Кого Вы выделяете из современных молодых поэтов?**

– Для меня не существует современных и несовременных, молодых и немолодых поэтов. Есть поэты – любимые и

не очень – и непоэты. Я их даже не делю на умерших и ныне живущих, ибо те, кого любишь – живы всегда, а бездарности мертвы изначально. У поэтов нет возраста, они выше, вне этой категории. Для меня такие поэты как Б.Рыжий и В.Блаженный – ровесники. Поэт старше всех. И моложе всех. Потому что всегда только родился.

– **Ваше мнение о стихах С.Кековой?**

– Это песнь механического соловья. Есть блестящая нарядная оболочка, но под ней – никакой сердцевины. Ларошфуко писал: «Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца». На меня её гипноз не действует. И потом я не люблю невнятицы. Поэт не должен говорить очевидных вещей, но сказанное должно быть ясным. Поэзия – искусство точное. Неточность – это неправда. У неё красивые стихи. Но разница между подлинной поэзией и красивыми стихами так же велика, как между цветами и парфюмерией. Они услаждают слух, одурманивают мозг, но до сердца не доходят. Источник поэзии – боль, чувство, а не олимпийское спокойствие, вечный покой седых пирамид. Это взгляд из кельи. Поэт не может быть «над схваткой» так же, как роженица не может быть над схваткой, мы все рожаем эту жизнь, все участвуем в ней.

Стихи должны заставлять сильнее биться сердце. Здесь же всё слишком гладко, ровно, ограничено кругом библейских тем. О таких стихах говорят: «холодное совершенство». Гармония их создана не вдохновением, а навыком и мастерством. Гладкопись, музыкальность – техническая сторона успеха, вернее, эффекта, внешнего эффекта. Искусное плетение словес – вот что для меня эта поэзия. «Изысканная галиматья», как сказал о ней кто-то.

– **Что Вы думаете о нынешней саратовской поэзии?**

– Она меня удручает. Засилье невежд. «Прирождённые нечитатели», – как называет таких А.Кушнер. «Нечитатели, следовательно, и свои стихи пишут плохо». Отупевшие от своего мнимого избранничества жители поэтического Олимпа, снабдившие свои книги «охранными грамотами» попечительских советов, чувствующие себя под лучами их благословения уверенно и нагло. «Вот, мол, кто за нами стоит! Попробуй тронь!» Или так называемая «поэзия новой волны», ищущая «новых форм», чтобы оформить несостоявшееся содержание. Я критиковала Болкуновскую «Волгу», но новая «Волга» – в том, что касается поэзии – это уже за

гранью всякой критики. Какие-то фокусы и прибабасы. Ни чувства, ни переживания, ни судьбы. Эх, до чего же им нечего писать!

Таланты есть, но они сидят по углам. У них нет никаких шансов быть услышанными, если они не входят в амусинские и александровские тусовки, в число друзей саратовских СМИ или ГТРК. Даже во времена безвременья, в 70-80-е годы было лучше, хотя тогда и никого не издавали, кроме членов СП, но были подборки в газетах, обзорные статьи, честные, объективные областные конкурсы (на которых я, кстати, побеждала трижды в студенческие годы). Сейчас об этом говорить не приходится. Критика обслуживает свои кланы. Талант писания подменили таланты находить спонсоров и благодетелей. Одним словом, бывали хуже времена, но не было подлей.

– **Ваше отношение к нашему времени?**

– «Это время – не моё», как я писала в одном из стихов. Но время – категория относительная. Каждый выбирает своё время, то есть своё я во времени. В одно время жили Ахматова и Жданов, Сталин и Пастернак, Брежнев и Высоцкий, но это были разные времена. Важно то время, которое я ношу в себе, а оно – вне времени. Идти «в ногу со временем» сейчас – это подделываться под убогие вкусы, пошлые взгляды, это значит – превращаться в то быдло, которое стремится сделать из нас современное телевидение, книгоиздание, попкультура. Интеллигенция пока ещё есть – этих людей «с хорошими лицами, с искренними глазами» ещё можно встретить на моих вечерах поэзии в немалом количестве, но не она определяет, к сожалению, стратегию пути, не она «заказывает музыку». Но под музыку нынешних хозяев жизни, под их дудку я плясать не хочу и не буду.

– А вот вопрос к этому ответу я затрудняюсь подобрать. Может быть, это ответ на то, так ли я живу, удовлетворена ли своей жизнью, чего хочу от неё? Ответ, который держишь перед своей душой, совестью, если угодно, Богом...

Всё реже мне хочется идти куда-то – на концерт, в театр, на природу, предпочитаю остаться дома наедине с книгой или тетрадкой. С годами понимаешь: для души книга так же важна, как Волга или лес. Всё труднее находить собеседников, круг их сужается. Люди живут другим, внешним, тем, что мне неинтересно. Подчас чувствую, что это какая-то

нежизнь, вспоминаю ахматовское «ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, тёплый и весёлый», но сама уже не могу жить этой жизнью. Разучилась. Я не кичусь этим, напротив, мучаюсь и угрызаюсь, но не могу по-другому. «Нота, взятая выше», взята слишком высоко, нет уже хода назад в эту «простую» жизнь с её «весёлым светом», и остаётся, как тому ястребу с перехваченным дыханием, ёжиться в холоде метафизики. Отовсюду сквозит небытие. Страшно будущего. Страшно жить. Хочется спрятаться, укрыться, забыться. Словно на тебя уже перестают действовать законы земного притяжения и начинаешь подчиняться другим космическим законам. «Обречена на вечную надежду, не на земле, не в облаках, а где-то между».

ПАМФЛЕТЫ

Я не люблю громких слов вроде «сохранение культуры»... Но тем не менее это сидит в тебе: то, что ты должен как-то оградить культуру от идиотов, защитить ее основы...

И.Бродский (Большая книга интервью)

*Что мне угодно? – Все негодно.
Зеваки просят: «Распотешь,
на площади прямоугольной
затей классический мятеж».
Им нужно музыку и пенье,
совсем не бунт – кордебалет.
Но, трепеща от нетерпенья,
я поднимаю пистолет.
Я навожу литое дуло
на императорский плюмаж,
я прошепчу: «Ну, пуля-дура,
будь умница и не промажь».*

Т.Галушко

О ПРАВДЕ И ФАЛЬШИ

Это было очень давно, задолго до перестройки. Мне тогда было 19 лет, я училась на филфаке и работала в молодёжной редакции областного радио. Меня послали взять интервью у матери Героя Советского Союза А.Хользунова, чьим именем названа саратовская улица. Надо было сделать одну из тех парадных показушных передач, которыми пестрел наш местный эфир в те годы.

Я застала старую, одинокую плачущую женщину, которая сидела уже несколько дней голодная, без молока и хлеба. Она жаловалась мне на пионеров школы имени её сына, которые забыли про неё и давно не навещали, выска-

зывала ещё какие-то обиды. Я пошла в магазин и купила ей продуктов (потом моя начальница мне выговаривала, что я не должна была этого делать, что это не моя обязанность. Вроде как я этим – в её глазах – подрывала авторитет редакции).

Поев, женщина немного успокоилась, и я включила «репортёр» (так тогда назывались громоздкие, в 5 кг весом, редакционные диктофоны). Она стала вспоминать свою жизнь, погибших на войне мужа и троих сыновей. Они все были для неё равны – и герои, и негерои. Вспоминала и плакала. Я запомнила один эпизод: как младший сын всегда дарил ей весной сирень – её было полно в окрестных двориках. Когда шла война, сирень, ничуть не считаясь с этим, цвела особенно пышно – рвать её было некому. Весной 45-го мать получила последнюю похоронку. Когда мы разговаривали, кусты сирени кудрявились и колыхались за окном. Она всхлипнула: «Теперь мне уже мой сыночек сирень не принесёт». Меня поразило тогда: ведь больше 20 лет прошло, а для неё всё было словно вчера...

Я не могла делать из её рассказа «парадный» репортаж, я написала всё как есть. Мой материал исчеркали, заставили всё переписывать. Но самое дикое было на монтаже, когда звукорежиссёр, ругаясь, вырезал каждый всхлип женщины на плёнке, убирая, по его выражению, «сопли». Тогда делали так называемый «кровный» монтаж, то есть вырезали слово (даже междометие), если оно в чем-то противоречило идеологии. Все передачи должны были кончаться оптимистически. Матери героев плакать не должны, они должны были гордиться своими сыновьями. Меня жёг стыд за ту искорёженную редакторами передачу, где правду заменили фальшью.

Как я ненавижу этот тупой, самодовольный, толстокожий оптимизм, не желающий слышать чужую боль, равнодушный и нетерпимый ко всему, что нарушает его сытое благополучие. Извечное «сделайте мне красиво». Главное, чтоб мой взгляд, мой слух ничто не оскорбляло, не тревожило, не царапало, а что там, как там на самом деле – наплевать. «Кто плачет там? Мне слёзы не видны...»

Сколько сюжетов было под запретом! Я часто ходила мимо интерната слепых, который был тогда в подвале на Вольской, и мне захотелось сделать передачу о его обитателях. Моё начальство пришло в ужас. Нельзя! Негатив. На такие вещи было Табу. О старой, больной брошенной всеми женщине, которая ведёт себя не как мать героя –

нельзя. Надо врать. О каком-нибудь идиоте-передовике, который двух слов не свяжет, надо писать, приукрашивая, сочиняя ему «образ», подгоняя под модель «нашего современника». Мне стало тошно, и я ушла с радио, хотя в принципе очень любила эту работу. Мне нравилось записывать людей, как бы фотографировать их голоса, их неповторимые интонации. Мне даже расшифровывать записи нравилось, хотя это была очень кропотливая, нудная работа: каждое слово с плёнки надо было переносить на бумагу, чтобы потом из этой «прямой речи» выбрать нужное.

В своих лекциях (это уже было перестроечное время) я могла говорить всё, что думаю и что хочу сказать. Никто мне не зажимал рот, не ловил на слове (недостаточно идеологически выверенном), не вычёркивал и не запрещал моих мыслей и чувств. Это была моя свобода. И мои слушатели это ценили и отвечали мне такой же искренностью и откровенностью (я много лет храню их исповедальные письма, эмоциональные отклики). Но встречались и другие. Те самые любители фальши и лакировки, хрестоматийного глянца. С такими у меня возникали, как и встарь, «перпендикулярные» отношения. Один из таких случаев произошёл совсем недавно.

Однажды в конце вечера о Н.Рубцове ко мне подошла женщина и представилась: «Елена Сапогова». До этого я не видела её, только читала о ней статьи в газетах. Она восторженно отозвалась о лекции и пригласила меня на свой концерт в консерватории. Мы с Давидом пошли, нам понравилось, как она пела. Я пригласила её спеть на вечере Некрасова, который готовила. Она охотно согласилась.

Потом я разбила эту лекцию на две части (по два часа в каждой): ранний Некрасов петербургского периода 40-х годов и поздний – 50-60-х. Сапогова вызвалась спеть на обоих. На первом вечере это должны были быть «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной» и «Двенадцать разбойников». Предупредила её за четыре месяца (она просила сказать заранее). Раз пять перезванивались, уточняли, где и когда она вступает, после каких моих слов, на какой примерно минуте. За день до выступления спрашиваю: «Может быть, Вам нужен зал – порепетировать? Может, придёте пораньше?» – «Нет-нет». Ну, думаю, наверное, дома репетировать будет.

И вот объявляю Сапогову. Она выходит и, спев несколько строк «Тройки», обескураженно замолкает. «Забывала!» – с детской непосредственностью – залу. Достает записную книжечку со словами, пытается их разобрать, но не

видит без очков. «Ничего не вижу!» – с раздражением. Сцена не освещена – никто не думал, что она будет петь по бумажке. А ведь знала за несколько месяцев! Какой позор. Какое неуважение к публике, к Некрасову, наконец. Но зал всё это ей простил, даже наградил аплодисментами, когда она с грехом пополам спела.

«Ладно, – подавила я в себе зреющий протест. – Всё-таки народная артистка. Иногда посматривала в ее сторону – у нее было злое, раздраженное лицо. «Наверное, злитесь на себя, на свою оплошность», – смягчилась я. «Надо будет как-то успокоить, мол, ничего страшного», – мелькнуло в мыслях. Но оказалось, она злилась не на себя – на меня. Когда я объявила следующую песню, – вышла на сцену, как на баррикаду.

– У каждого свой Некрасов. У меня – Некрасов-гражданин! – с пафосом провозгласила она. И стала с вызовом читать «Назови мне такую обитель», нарушив таким образом композицию, канву моей лекции. Ведь я исподволь подводила свой рассказ к её песне «Двенадцать разбойников», читала «В больнице», «Влас» – о том, как героев переломила болезнь, как они пришли к Богу, знакомила с народной легендой о раскаявшемся разбойнике. Она всю логику мне поломала, так как после стиха без всякого перехода и связи с предыдущим запела «Разбойников». Едва спев, не дослушав аплодисменты, размахистым шагом вышла из зала. «Я такой злой её ещё не видела. Что это с ней?» – недоумевала библиотекарьша.

Звоню ей на другой день:

– Ничего не изменилось, будете у нас петь?

– Нет, не буду, Наталья Максимовна (хотя везде уже развешаны объявления с её фамилией. И договорённость была заблаговременной и неоднократной).

– Я буду в этот день в командировке.

– Ясно. Это официальная версия. А на самом деле? Вас, кажется, что-то смутило в моём рассказе?

– Очень смутило, Н.М. Даже возмутило. Я даже нитроглицерин пила.

– Что же?

– Я уже говорила, что для меня существует только Некрасов-гражданин. И мне дела нет, с кем он там жил в гражданском или негражданском браке.

– То есть как, это до Панаевского цикла Вам нет дела, этой жемчужины русской поэзии? Ведь Некрасов же писал не только крестьянские стихи, как мы учили в школе. У него

прекрасная любовная лирика, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна. А что Вас смутило в гражданском браке? Брак действительно был гражданский, она не была разведена с Панаевым, тогда развод получить было трудно, почти невозможно. Рубцов, кстати, который Вам так понравился в моей интерпретации, тоже не был зарегистрирован с Дербиной.

– Мне нет до этого дела, – с гордым целомудрием заявила народная певица. – И мне жаль, что там было много молодёжи, что они слышали всё это.

– Что – это?! – взорвалась я. – Эта молодёжь подходила ко мне и спрашивала, где напечатаны эти стихи, где их достать, восторженные отзывы писали. Вы хоть бы почитали в тетради, что люди пишут.

– Ну, это Ваши поклонники, – с пренебрежением бросила она.

– Не многовато ли поклонников – триста человек? Молодёжь не увидела в этой истории любви ничего грязного, не говоря уже о том, что таким фактом, как гражданский брак, сейчас шокировать никого невозможно. Это ханжество.

– Так значит, я ханжа? – саркастически рассмеялась она.

– Получается так. Я не понимаю, Вы же смотрите канал «Культура», надеюсь. Сейчас там идёт документальный сериал И.Волгина о Достоевском – ровеснике Некрасова, который, кстати, чуть не весь вышел из этого поэта. Вы ведь не станете Волгина обвинять в пошлости? А он говорит и об Апполинарии Сусловой, и о картёжной игре Достоевского, – как же это можно отделить от его творчества? Или Вы в эти моменты зажимаете уши?

Но моя оппонентка, видимо, смотрела другие телепрограммы.

– Вот как-то выступал Бари Алибасов, говорил о Пушкине, то у него там мат-перемат. Зачем мне это знать?

– Но как же Вы можете сравнивать? Где Вы слышали у меня мат? Я рассказываю о Некрасове как о живом человеке, да, не ангеле с крыльями, но я это делаю на достаточно высоком уровне, чего не заметили и не поняли только Вы. И, чтобы противопоставлять своего Некрасова моему, надо всё-таки знать о нём, простите, побольше школьной программы.

– Я не знаю Некрасова! – опять саркастический смех. – Но Вы тоже, я думаю (со злостью) – не всё досконально знаете о нём.

– Я не говорю, что всё досконально, но я прочла о нём всё, что смогла достать в нашей и университетской библиотеке, я занималась им несколько месяцев. А Вы какую литературу о Некрасове читали?

Молчание.

– И Ваше представление о Некрасове ничем не выше моего. Просто я говорю о нём не замшелыми казёнными фразами – «Некрасов – патриот, Некрасов – гражданин», подменяя ярлыками человеческую суть, а на конкретных примерах его жизни, судьбы, поступков, стихов доказываю это.

– Знаете что, Н.М., я уже взрослый человек, и мне поздно менять свои взгляды.

– Не взгляды, а стереотипы восприятия. А узнавать новое никогда не поздно.

Хотя ничего нового в принципе я на этой лекции не открыла, всё давно опубликовано, давно стало достоянием нашей культуры: и воспоминания современников о Некрасове, и мемуары его «гражданской жены» (какой ужас!) А. Панаевой, и ЖЗЛ Скатова, Жданова, и статьи К. Чуковского, и 15-томное собрание сочинений с подробными комментариями специалистов. Но не у всех, к сожалению, есть время, возможность, желание прочесть всё это.

На моей лекции люди с замиранием сердца следили за перипетиями судьбы поэта – как в 16 лет пришёл в Петербург без гроша в кармане, как выживал в подвале, пройдя все круги городского дна («Еду ли ночью по улице тёмной» – это ведь про себя, Некрасов ни о чём не писал понаслышке). Кстати, пела Сапогова эту песню, на мой взгляд, эксплуатируя одну и ту же тональность, выезжая на штампе, на технике, чувства не было. Я была поражена: ведь народная артистка должна прожить, прочувствовать, пропустить всё это через свою душу.

Люди плакали над лошадьёу, избиваемой извозчиком («Под жестокой рукой человека...»), и режиссёр телевидения из другого города строго выговаривала мне: «Вы не должны сами плакать (у меня был минутный горловой спазм, когда я это читала), мы можем плакать, а Вы не должны!» Но мне кажется, уж лучше плакать, чем бездушное и формальное исполнение, демонстрация лишь голосовых данных. Два часа просидеть в мире Некрасова, в мире его стихов, песен, снимков, иллюстраций знаменитых художников – и не дать в себя проникнуть ничему, кроме злости – это надо умудриться.

Вторую лекцию о Некрасове я читала без её песен. Их пели на плёнке Л.Харитонов, И.Архипова, И.Кобзон – думаю, не хуже. И закончила я так: «Я не буду говорить официозных фраз о «Некрасове-гражданине». Для меня он – тот чеховский человек с молоточком, напоминающий, что есть те, кому плохо, кому нужна твоя помощь, кто будит твою совесть».

В конце того вечера мне на стол легла записка с таким четверостишием-экспромтом:

Явился к Вам на лекцию хоть мент,
которому с вчерашнего хреново, –
и он бы понял то в один момент,
чего не поняла Е.Сапогова.

Некрасов-гражданин... Некрасов не укладывается в это понятие, не умещается в него. Истинный Некрасов не имеет ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Да, народный заступник (никогда принципиально не пользовался плодами крепостного труда, не владел людьми), но и барин (лакеи любимому псу прислуживали), и эстет (простонародное имя «Фёкла» жены переменял на более благозвучное «Зинаида»), и, между прочим, западник, игрок, делец, великий предприниматель, человек необузданных страстей, с поэтическим бесстрашием и беспощадностью изображавший в стихах самого себя («погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»). И при этом – Поэт, благороднейшая душа, нежное страдающее сердце, «галлюцинант человеческих мук», «гений уныния», неделями одержимый хандрой (как сказали бы сейчас – депрессией), вечно казнимый терзаннями совести, гложимый чувством неизбывной вины.

В 1855 году он писал Боткину: «Во мне всегда было два человека, один – вечно бьющийся с жизнью и с тёмными силами, а другой – такой, каким меня создала природа». Ему была доступна одновременно и самая высокая, и самая циничная мысль о каждом предмете. В 1857 году, возвращаясь из-за границы, Некрасов восторженно приветствует родину: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» И в то же самое время в стихотворном послании другу пишет о том же возвращении на родину:

Наконец из Кенигсберга
я приблизился к стране,
где не любят Гуттенберга
и находят вкус в говне.

Выпил русского настою,
услыхал ... мать,
и пошли передо мною
рожи русские писать.

Наверное, если б эти стихи прочли или услышали некоторые наши ортодоксальные патриоты – в обморок бы упали от такого Некрасова. Если человек долго сидел в подвале и вдруг вышел на свет божий – он может ослепнуть. Вот так и тот, кто имел скудные знания и вдруг узнал столько нового, впадает в состояние ступора. При малейшем отступлении от замшелых хрестоматий он делает стойку: стоп! Мы это не проходили – щёлкает у него в голове. Это какая-то отсебятина. Почему я этого не знал? («Что это ещё за литература? – взывал ко мне Зрячкин в своей анонимке. – Покажите нам её! Мы её не съедим»). Не знал – значит, нет, не должно быть. – Такая вот в небогатом мозгу выстраивается цепочка.

А если ещё человек с амбициями, претендующий на то, что он знает многое, если не всё, – во всяком случае, до моей лекции он был в этом совершенно уверен, – то смятение от неведомых знаний переполняет, он не может примириться с мыслью, что полный профан, и – грудь вперёд, ноздри раздуваются от праведного негодования – в природе которого он себе не может признать, и – к спасительной двери. Вот так однажды ринулась с моей лекции о Цветаевой чтица Лавринович, не вынеся услышанного. А потом мне усиленно предлагали её услуги на вечерах с чтением стихов.

– Но ей же не нравятся мои лекции?

– Ну, ради такого дела она закроет на это глаза.

Нет уж. Постараюсь впредь избавить свои вечера от таких исполнителей, которые «любят свою родину с закрытыми глазами и запертыми устами».

29 января 2007 года по каналу «Культура» идёт передача «Пленницы судьбы» об Авдотье Панаевой. Куча авторов и ведущих: историк Анатолий Марголис, поэтесса Татьяна Вольтская и др. Поразила пошлость и поверхностность передачи. Подробно – о похождениях Панаева, о том, что «супружеский долг он выполнял разве что в медовый месяц», – с удовольствием поизгалявшись по этому поводу. В пренебрежительном тоне – о Панаевой: неграмотная, в мемуарах от неё досталось и Тургеневу, и тем, и другим – но ни слова о том, почему, за что. Пренебрежительно-снисходительно о Некрасове: делец, игрок, «злой советчик» Панаевой в «огарёвском деле» (десять минут из тридцати –

об этом тёмном запутанном деле – зачем? Ведь ничего толком неизвестно, одни домыслы). А лексика! «Финансовая пирамида»! «Современник» – проект, который кормил Некрасова»!

Акценты!!! Безбожно смещены акценты в этой передаче с главного – на второстепенное, побочное. В результате у зрителя создаётся впечатление, что эти Некрасов и Панаева – обычные люди со своими слабостями, ничем не лучше нас, и телеведущие, снисходительно рассказывающие нам о них, – неизмеримо их выше, моральнее и умнее. Да они недостойны у той же Панаевой ботинок зашнуровать!

Ради чего была сделана эта передача? Да, я тоже стремлюсь показать на своих вечерах живых людей, но я отбираю наиболее характерные факты, а не случайные, «жареные», для меня главное – показать, за что мы ценим ту же Панаеву, почему она осталась в благодарной памяти потомков, в чём её след в истории. Ни слова – о прекрасной любовной лирике Некрасова, вдохновительницей которой была Панаева (только с ухмылочкой: «Он был настоящий Отелло!»)

А этот эпизод, когда она, старая, больная, нищая, пишет письмо Чернышевскому, жалуясь на безденежье, отовсюду изгнанная, и вдруг – в раскрытое окно – романс о ней, положенный на музыку уже десятками композиторов. Люди в зале плакали, когда я рассказывала об этом. В этом штрихе – вся она. И в мемуарах её главное – не ошибки, а её посмертная верность Некрасову, то, что она в них ругала тех, кого ругал бы он. Она ни разу ни в чём его не упрекнула.

Муза поэта. Это не прозвучало ни разу. Зато пренебрежительно: «Да, она была соавтором Некрасова, но вы почитайте эти романы! Это же слабая литература!» Зачем же советовать читать, раз слабая. Почему бы не посоветовать почитать любовную лирику, адресованную ей? А ведь в неё были влюблены не только Панаев и Некрасов – и Чернышевский, и Достоевский, и даже Дюма. Фет посвящал ей стихи. Вместо всего этого – упор на трудное детство, на то, что простая, неграмотная, недалёкая. Если не знать ничего о Панаевой, возникает недоумение – а зачем вообще было о ней рассказывать? В чём её заслуга?

Когда хороший актёр готовится к роли, он перевоплощается в своего героя, он старается прочесть о нём как можно больше, понять мотивы его поступков, оправдать, показать лучшее, что в нём было. Лектор, автор передачи тоже должен мысленно прожить его жизнь, пропустить «через себя». Ничего подобного в телевизионной халтуре этих

снисходительных снобов от литературы не было. Они не любят своих героев, не увлечены ими, они походя касаются их жизней, пачкая их своими грубыми прикосновениями.

«Люби – и говори всё, что хочешь. Любовь расставит верные акценты», – писала Лариса Миллер. Я всегда делаю акценты на главном. Любовь за меня расставляет их правильно. Я не изображаю поэтов святыми, но и не перехожу ту грань, за которой поэт будет вызывать антипатию. Я даю ровно столько, чтобы мы почувствовали его живым человеком из плоти и крови, с болью, ошибками, страданиями.

В поэтической колонке, которую ведёт (или вела) С. Кекова в газете «Малиновый родник», все поэты в её изображении – благостные, все за уши притянуты к православию, выбираются только такие стихи и факты, всё подгоняется под эту модель. В книге А. Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина» (Москва 1998) – другая крайность. Я – не то и не другое.

После вечера о Некрасове ко мне подходили со словами:

– Вы так рассказали о Некрасове, словно он здесь, сейчас, с нами.

– Как называется поэма? «Рыцарь на час»? В каком она томе?

Вот это – главная награда, задача, цель.

Я стараюсь на своих вечерах воссоздать личность поэта, дать его психологический портрет в контексте эпохи, творчества и частной жизни. Ибо ещё Лермонтов писал, что история души человеческой едва ли не любопытней и полезней истории целого народа. Тем более если это душа великого поэта.

А всем, кто выражает недовольство тем, что я как бы спускаю с котурнов классиков и нарушаю некие хрестоматийные каноны, то есть не лакирую и не приукрашиваю, как это делали раньше, а даю полнокровный, живой, правдивый образ поэта, – таким бы я хотела напомнить слова Марины Цветаевой, которая сравнивала своё творчество с водой: кто-то зачерпнёт море, а кто-то – лишь стакан, всё зависит от вместимости сосуда – головы, сердца – и от степени жажды. Точно так же каждый берёт от этих лекций ровно столько, сколько хочет и способен почерпнуть. У кого-то застревает в сознании только тот «вопиющий» факт, что Бодлер болел сифилисом, а Некрасов – о Боже! – жил «с кем-то» в гражданском браке, а кому-то открываются целые миры, прекрасные стихи, новые знания. Одни видят, как Могуева, оранжевую сказку, другие – грязь под ногами, одни – лужу,

другие – звёзды, отражённые в ней. Одни звонят: «Как можно Ахматову показывать обнажённой! (на слайдах с рисунков Модильяни). Это порнография!» «Неужели это правда, что Лорка любил Сальвадора Дали? Какой кошмар!» А другая пишет прекрасные стихи, которые назвала «На вечере Лорки»:

Как меня поразила вблизи
эта светлая бездна глаз.
А сияние Вашей души
освещало и грело нас.
Тёк рассказ певучей волной,
закипая гитарным звоном,
повествуя о сердце чужом,
неизведанном, незнакомом.
И взволнованная душа,
растревожена чудным пенъем,
мне плеснула кружевом слов,
что застыло стихотвореньем.

Это мне написала тогда Надежда Шаховская. А вот листочек, который я бережно храню с того вечера, от Нины Сергеевны Могуевой:

На пороге вечности

Федерико Гарсиа Лорке

Умирающий вечер и плач гитары,
и так печален Дон Ящер старый.
Распахивают веер свой маслины,
луна серебрит холмы и долины,
над рощами Андалузии милой
свой вечный круг совершают светила.
Заря разгорается ярче и краше,
и разбивается утра чаша,
и веет мятою с покоса,
и солнце – косточка абрикоса,
благословляя землю покоем,
всё заливают жёлтым зноем.
Вся ты прежняя и – другая,
Андалузия дорогая.
Федерико стоит у порога.
Грустный взгляд. Тяжела дорога.

Н.С.Могуева

(Стихотворение состоит из образов стихов Ф.Г.Лорки).

Наталье Максимовне

– Спасибо за Лорку!

Н.С.

Каждый видит то, что хочет видеть. Поэзия – это увеличительное стекло, которое усиливает чувства человека. Но если усиливать нечего – тут она бессильна. Тут можно только посочувствовать.

У меня была лекция, опубликованная в двух моих книжках: «Публичная профессия»(1998) и «Звезда или хлеб?» (1999), с которой я выступала в библиотеке в те годы. Лекция называлась «Живое и мёртвое» и была посвящена критериям оценки современной поэзии.

Так часто приходится читать стихи, в которых вроде бы есть всё: ум, аллюзии, всё модное слововерчение, а душа к ним не лежит. Они мёртвые. Ко всем тем критериям я бы отнесла ещё такое качество, как юмор. «Все глупости на земле творятся с серьёзными лицами. Улыбайтесь, господа!» – призывал Мюнхгаузен из знаменитого фильма. У глупых стихов и статей о поэзии тоже, как правило, «серьёзные лица». Нудные и вялые. Критик-шестидесятник Станислав Рассадин давно и безуспешно борется с излишней серьёзностью в литературоведении. Вот и недавняя его книга «От Фонвизина до Бродского» продолжает полемику с теми, кто «умерщвляет живую жизнь литературы».

К числу его примеров я привела бы ещё и свой, по поводу юмора Некрасова. Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:

Где твоё личико смуглое
нынче смеётся, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!

А ведь, бывало, охотно
шла ты ко мне вечерком.
Как мы с тобой беззаботно
веселы были вдвоём!

Как выражала ты живо
милые чувства свои!
Помнишь, тебе особенно
нравились зубы мои?

Как любовалась ты ими,
как целовала, любя!
Но и зубами моими
не удержал я тебя...

(Считается, что это, предположительно – А. Панаева, но я уверена, это другая женщина, с которой Некрасов жил до неё, – здесь совершенно другой характер, чем у Панаевой, и другой характер отношений). Стихотворение шутовское, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.

И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались непоэтичным, неэстетичным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтичное «очи» (см. моё эссе «О красоте и красивости»). Ну и соответственно последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло. Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина – если, конечно, он не Нарцисс и не Куракин – не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно искажать и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи – этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.

В августе 2000 года О. Барабанова пригласила меня на обсуждение в СП только что вышедшего седьмого номера альманаха «Саратов литературный»: «Может быть выступите?» Я решила, что раз обсуждение – то от меня ждут какого-то анализа публикаций, критики, оценки. Добросовестно проштудировала номер, набросала себе кое-что, стараясь

избегать резких красок и выражений, – презентация всё-таки. Но, как оказалось потом, никакой критики от меня не ждали, у них для критического обзора была Тяпугина, а под выступлением Ольга Егоровна подразумевала моё прочтение одного-двух стихков.

Тяпугина говорила ровно 20 минут, умудрившись за это время ни-че-го не сказать (перечисляла авторов публикаций, не поскупившись на льстивые слова корифеям, не упомянув только одного автора – меня, говорила, что как-то покритиковала кого-то и эти кто-то с ней пять лет не разговаривали, что когда-нибудь она, несмотря на это, снова кого-то покритикует...) Поражаюсь, как можно так строить свои выступления. Протянув положенное время, она тут же ушла. Я поняла, что должна взять на себя этот обещанный «критический обзор», которого не было и в помине. (Если не считать криков Байбузы с места о новом романе Корнилова: «Это маразм! Маразм!!!» Но в чём этот маразм, так и не смог сформулировать).

Меня задела публикация одной юной особы, Ольги Черногаевой, её эссе о письмах Пушкина Н.Гончаровой «Жёнка, мой ангел!», которое она, как говорили, написала ещё в школе. Все шумно восхищались и умилялись «вундеркиндкой». А меня это её эссе насторожило и оттолкнуло каким-то самоуверенным безапелляционным невежеством и поверхностным взглядом на семейную трагедию Пушкина, в которой Черногаева видела идиллию: «Я о прекрасных письмах великого поэта к прелестной Натали, к той, о которой говорил: «Чистейшей прелести чистейший образец». Намеренно не читала литературу об эпистолярной стороне творчества Пушкина. Мне не нужны посредники... Письма Пушкина убедили меня в том, что М.Цветаева была предвзятой по отношению к Н.Н.Пушкиной. Любовь в этой семье была взаимной. Не мог гений русской словесности писать столь доверительные письма женщине, в чём ответном чувстве не был бы уверен, если мы, конечно, признаём, что он гений».

Всё в этих благоглупостях было неправдой, причём давно уже опровергнутой современной пушкинистикой. И – сказала я девушке – ей не мешало бы почитать всё-таки эту литературу о поэте, чтобы яснее представлять себе взаимоотношения Пушкина и Гончаровой, о которых она берётся писать. Может быть, юный возраст извиняет в какой-то степени её «розовые очки», но она печатается во взрослом

журнале и должна соответствовать этому статусу. Говорила я всё это в предельно мягкой форме, даже похвалив её за какие-то частности, моей целью было – не раскритиковать начинающую эссеистку, а предостеречь от верхоглядства, защитить поэзию от неправды, отделить истину от мифов.

Миф №1. «О прекрасных письмах Пушкина к прелестной Натали». Возьмите письма Пушкина к самым близким его людям, к друзьям, к Нащокину... Сколько в них игры, культуры, знаний! Сколько там глубины, сколько там Пушкина! И вот его письма к жене. Он, как всегда, пишет стилистически блестяще, он не может иначе, но о чём он пишет? Он передаёт ей сплетни, какую-то чепуху. Конечно, ему было что ей сказать, но ей было это не нужно, и Пушкин это понимал. Это шло бы в пустую, холодную, поверхностную душу.

Черногаева пишет, что мечтала бы, если б кто-нибудь писал ей такие письма, как Пушкин Натали. Сомневаюсь, что восемнадцатилетняя девушка может говорить это искренне. «Жёнка безалаберная», «ты опять брюхата», «какая ты дура, мой ангел» – в таком возрасте мечтают о других словах любимого. Письма Пушкина Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Сабаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: «платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не ездят – это не место для тебя». Пушкин не говорит с женой в письмах ни о литературе, ни о творчестве, а пишет о том, что ей может быть интересно, что доступно её разумению: сплетни, деньги, куда ехал, что сломалось в экипаже, кого встретил, что съел и был ли понос.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. «Письма Ваши короче визитной карточки», – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: «Что у неё за сердце? Твёрдою дубовою корою, тройным булатом грудь её вооружена».

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько Пушкину за них платят, вмешиваясь в разговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что,

с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. Ведь «счастье – это когда тебя понимают».

Миф № 2. О «взаимной любви в этой семье». То, что Гончарова не любила Пушкина, уже общеизвестный факт. Цветаева пишет: «Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодоухотворённой плоти – шаг куклы! – а может быть, и с тайным содроганием». Как жена она лишь добросовестно исполняла свой супружеский долг, но чувство, страсть дремали в её неразбуженном сердце. Ей тоже было несладко в этом браке. Пушкин с эгоизмом человека, всей душой живущего в другом деле, старался оградить себя от семейных волнений, уезжал из дома накануне родов жены и приезжал, когда всё было уже позади. Он не был однолюбом, всегда был готов увлечься понравившейся ему женщиной, и женитьба его в этом плане не изменила. С Натали ему было скучно, он искал общества других женщин, а ей было скучно дома. Свет, балы, танцы были её самовыражением, способом существования, как для него – стихи.

Несколько лет назад в парижском архиве Дантеса, у его правнука барона Клода нашлись уникальные документы. Это 25 писем Жоржа Дантеса, которые он писал Геккерену в течение двенадцати месяцев, начиная с весны 1835 года. Позже эти письма были опубликованы в книге итальянской исследовательницы жизни и творчества Пушкина Серены Витале «Пуговица Пушкина». В одном из писем Дантес приводит слова Натали: «Я люблю Вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем моё сердце, ибо всё остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства. Пощадите же меня, и любите всегда так, как теперь, моя любовь будет Вам наградой».

Скорее всего, Натали открылась мужу и рассказала ему о преследованиях Дантеса только после получения анонимного пасквиля. Призналась, что встречалась с Дантесом у Полетики, что получала и хранила его письма. В этот день – 4 ноября 1836 года – Пушкин узнал о романе жены, начавшемся ещё осенью прошлого года. Это был для него страшный удар. За два года до этого он писал ей: «Кроме тебя в жизни моей утешения нет». Теперь не оставалось и этого утешения. Ещё вчера он думал, что у него есть дом, семья.

И вот этот дом рухнул. Он не мог с этим примириться. Он не хотел больше жить. Он искал смерти.

Именно это предательство самого близкого человека стало для Пушкина решающим, а бумажка ордена рогоносцев – лишь мелкая деталь в веренице событий. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. Он даже, отправляясь на дуэль, не взял свой перстень-талисман, оставил его дома сознательно. Пастернак, размышляя о смерти Пушкина, писал, что финал очень похож на самоубийство. Пушкин метил не в Дантеса, не в царя, он метил в самого себя. Дантес был загнан в угол, он не хотел убивать поэта. Но Пушкин срежессировал всё так, что под видом благородной дуэли, защищающей честь, Дантес вынужден был выступить в роли киллера. Давид Самойлов писал:

Он заплатил за нелюбовь Натальи,
всё остальное – мелкие детали:
интриги, письма, весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
а истинное к жизни отвращенье,
и страсть, и ярость, и души разор.

Я говорила где-то минут пятнадцать. По-моему, достаточно убедительно. Ольга не обиделась, слушала с интересом, даже что-то пыталась потом сказать мне шёпотом в своё оправдание (мы сидели рядом). Я уж хотела взять над ней в некотором роде «шефство», снабдить литературой о Пушкине, пригласить на свою лекцию о нём, как вдруг в атаку на меня ринулся Удин. Оказывается, Ольга была его протеже, это он устроил ей публикацию в альманахе, и я теперь своей критикой задела как бы и его профессиональную честь. Он сказал буквально следующее: «Я вот не читал Ваших там – пренебрежительный жест рукой – что Вы там пишете, но то, что написала Ольга – намного живее. Она не роется в грязном белье. Она видит только чистую сторону отношений. И ведь это девочка написала, девочка, в 9 классе! Я, помню, в 9 классе дубиной был...». («Каким ты был, таким остался», – хмыкнул кто-то в сторону).

Черногаева, услышав слова поддержки от своего покровителя, гордо распрямилась, победоносно оглядываясь на «посрамлённого» критика. Бедная девочка. Теперь из неё уж точно ничего не выйдет, если за её «воспитание» взялся Удин. Впрочем, не так уж она и наивна. Вспомнился принцип «У-2», по которому писали сочинения в «Доживём до понедельника». Угадать и угодить. Угадать, какие мысли понравятся взрослым, угодить учительнице... Может быть, как раз наоборот – далеко пойдёт.

«Грязное бельё». Сколько лет я читаю лекции, столько слышу это обвинение от грязных людей. Людей с грязными мыслями и грязным воображением. К счастью, таких немного. Мои лекции – это не ликбез, там даётся не школьный минимум знаний, не хрестоматийное изложение общеизвестного. У меня театр души поэта. Вы, как в театре, следите за перипетиями его жизни, за тем, как «душа меняла имена». Это не байки Вячеслава Недошивина, которые одно время звучали по радио и ТВ, где собраны одни обывательские сплетни и совсем нет творчества. Но при этом я стремлюсь показать поэта как живого человека, его характер, личность, судьбу. Эли Фор писал: «Нам не найти поэта в поэте, если мы не будем искать в нём человека». Личная жизнь не может быть отторжена от творчества, она неминуемо становится его частью.

Я всегда стараюсь увязать свой рассказ с современностью. Ведь каждый подсознательно задаётся вопросом: а какое это имеет отношение ко мне лично? Одним словом, что ему Гекуба?

Вспоминается вечер о Елизавете Кузьминой-Караваевой. Смерть Блока. Я повторяю знаменитые фразы: «Его убило отсутствие воздуха... Он перестал слышать музыку...». И вдруг чувствую – не могу. Надоело лицемерить. Какое к чёрту отсутствие воздуха! У нас у всех отсутствие воздуха. Когда он был в России, этот воздух?! Живём как-то, приняхались. От этого ещё никто не умирал. Тем более поэт. Он во всём найдёт свою музыку, увидит и услышит то, что захочет.

На этом вечере я впервые сказала, что Блок умер от сифилиса. (Об этом пишет Ефим Эткинд, ссылаясь на Корнея Чуковского). «Блок страдал от той болезни, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель, болезни, которая так страшно сочетала в себе связь любви и смерти». Не думала, что это вызовет такой шок у некоторых слушателей. Подходили после вечера: «Неужели?!» Звонили домой. Сетовали, сокрушались, негодовали. Ссылались на мемуары Бекетовой. Но тот благообразный респектабельный буржуазный господин, которого изображает в своих записках тётка Блока, стремясь «не выносить сор из избы», не имеет с реальным Блоком ничего общего.

Да, он ходил в публичные дома (об этом его пронзительно: «Разве так суждено меж людьми?») Но кто тогда

не ходил в публичные дома? Среди поэтов редко бывают праведники. Поэт – это стихия, он должен перегореть в огне своих страстей, чтобы переплавить потом всё это в свои творения. Не бывает так, чтобы прожить жизнь и нигде не оступиться, не запачкаться. Есть чистота и есть чистоплюйство, ханжество, дистиллированность души. Я много думала об этом, у меня даже стихотворение есть на эту тему:

Пройти по жизни невидимкой,
чистюлей, льдинкой, нелюдимкой,
неузнанно скользящей мимо
того, что быть могло любимо.
Не запятнав ни рук, ни платья,
презрев объятья и проклятья,
не знавшись с болью и тоскою,
во имя воли и покоя
парить в своём высоком небе,
где пусто, холодно, как в склепе.
Парить безбрежно, белокрыльно,
с душой, где снежно и стерильно,
где, только Богу потакая,
живёт лишь Муза, и людская
нога там не ступала сроду...
Переборов свою природу,
и славы ангелов алкая,
кому нужна она, такая?

Косные ортодоксы не признают сложностей жизни и всё делят на чёрное и белое. Но образ гения не может поблёкнуть от правды.

Я ясно вижу всё плохое и вокруг, и в себе. И эта ясность зрения – огромное бремя. Но не пытаюсь его себе облегчить какими-то шорами, иллюзиями. Лучше быть зрячим, чем слепым, даже если видишь много мерзкого. Правда лучше самообмана, хотя и не всем достаёт мужества её выдерживать. Ложь надо обличать хотя бы из соображений социальной гигиены.

Тем, кто склонен иметь просто красивую легенду о поэтах, какие мы знали из школьных учебников, а не правду жизни, лучше на мои вечера не ходить во избежание стрессов и нервных потрясений. Ибо это мой принцип, которым я всегда руководствуюсь в подготовке материала: рассказать о поэте так, чтобы он предстал перед людьми не мёртвым классиком с наведённым на биографию глянецом, а «живым и только, до конца». Творчество и жизнь неразделимы, одно вырастает из другого. И я всегда видела свою задачу не в

том, чтобы пропеть очередной дифирамб гению русской словесности, а в том, чтобы проследить подлинный путь его судьбы. Да и в стихах открываешь новый, глубинный смысл, когда прочитаешь их в контексте жизни, видишь, «из какого сора» они выросли.

Это не только моя точка зрения, но и, например, В.Ходасевича. В своём «Некрополе» он пишет: «Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нём было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порою даже за самые эти его слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Эта мысль Ходасевича мне очень близка, и я стараюсь всегда в своих поэтических портретах придерживаться этого правила. При подготовке я использую не общеизвестные, а новейшие материалы, последние монографии специалистов, которые ещё не дошли до Саратова, труднодоступную литературу, многое беру из зарубежных источников, из Интернета, из личной переписки с писателями и их родственниками. И не боюсь каких-то шокирующих фактов, которые раньше от нас старательно скрывались.

Однажды на лекции о Борисе Чичибабине, когда я говорила о его неприятии сталинизма и читала его антиантисемитские стихи – несколько человек демонстративно вышло. «Так-так, – подумала я. – Аудиторию надо чистить время от времени. Воздух освежать. Ещё не хватало, чтоб на мои лекции сталинисты и националисты ходили. Для этого есть СП и «Земское обозрение».

Вспомнились слова библиотечарши: «Да у меня полно тех, кто не хочет ходить на Кравченко!» А вот это уже интересно. Давайте разберёмся – кто же «не хочет»? Отметём сразу тех, кто «ленивы и нелюбопытны», и снобов, пребывающих в приятной иллюзии, что они «всё это знают». – Эти вообще не ходят никуда. Остаются следующие подгруппы:

1. Сталинисты, антисемиты, невежды и ханжи, которым нестерпима всякая смелая мысль, неожиданный факт, всё, что отходит от шаблонных прописей, заплесневелых

клише и стереотипов, засевших в их заскорузлых мозгах со школьных лет. Им уютно в своей косности и неприятно открывать под старость лет, что они, оказывается, ничегошеньки не знают.

2. Те, кто был задет моей критикой, их дружки и знакомые, пылающие жаждой мести – таких за 20 лет литературной деятельности накопилось немало.

3. Завистники и «конкуренты», чьи книги не покупают, на чьи творческие вечера и лекции не ходят, кто занимается тем же, чем я, но с меньшим успехом. Естественно, они не признаются в истинных причинах своей «нелюбви» к моим лекциям и будут бубнить всё про ту же «личную жизнь», «грязное бельё» и «жареные факты». Ничего этого никогда не было и в помине. В моих лекциях нет пошлости и обывательщины Недошивинских рассказов, нет инфантилизма и косноязычия телепередач Вульфа, нет занудности документальных сериалов И.Волгина, поверхностности лекций М.П.Беловой (за 40 минут она умудряется рассказать и о Тютчеве, и о Фете), которая, как мне говорила председатель клуба ветеранов СГУ Киселёва, была яростно против того, чтобы пригласить меня читать в их клуб лекции.

– Почему? – вяло полюбопытствовала я.

– Ну как же, говорит, – она же моя ученица, неужели она лучше меня прочтёт?

Увы. (Для неё – увы, но не для моих слушателей). В этот клуб Киселёва усиленно зазывала меня года два. Просила прочитать лекцию о Заболоцком, о которой слышала восторженные отзывы. Но я не люблю мероприятий «для галочки». Я всегда отношусь к этому ответственно. Стала выяснять, есть ли экран, проектор?

– Нет. А нам не надо.

– Магнитофон? – «Не обязательно».

Но это уже не тот вечер, я так не читаю. Почему бы вашим ветеранам не прийти послушать в библиотеку? Здесь всего два квартала. Или вам это для галочки нужно?

Взрыв возмущения.

– Вы же кончали наш университет и не хотите для своего же университета... Светочка Кекова и то у нас читала, не отказывала.

– Я тоже могу почитать вам свои стихи. Даже провести творческий вечер – тут не нужен магнитофон и экран.

– Нет, у нас есть свои поэты. У нас Кекова...

– Ну пусть вам тогда и лекцию Кекова прочтёт. Тем более что она, кажется, защищалась по Заболоцкому.

Но им нужна была именно моя. В отместку, что не удалось меня тогда склонить к выступлению в необорудованном зале, Киселёва теперь меня порочит на всех углах и заявляет в библиотеке, что все её ветераны «принципиально» на меня не ходят. Что абсолютное враньё. Войцеховская, преподаватели СГУ говорили мне, что после каждой лекции в их клубе по субботам они в полном составе сломя голову бегут на мои в библиотеку, боясь опоздать (у них начинается в 15 часов, а у меня – в 17), а тем, кто не ходит к Киселевой, та выговаривает с детской обидой: «К Кравченко вы ходите, а к нам нет!»

Кто ещё остаётся из тех, что «не ходят»? Лавринович, которая ушла с лекции Цветаевой, хлопнув дверью, но которая тем не менее рвётся у меня выступить, и я устала отбивать её атаки? Сапогова, которая пила нитроглицерин, не выдержав груза новой информации о Некрасове?

А теперь спросите всех тех, кто ходит (в моих списках постоянных слушателей их 758 человек), спросите этих учителей, профессоров, кандидатов наук, людей разных профессий – что их привлекает в моих лекциях? «Клубничка», как бесстыдно врал в газете «Жизнь» Куракин в анонимной заметке? «Грязное бельё»? Спросите их и послушайте, что они вам скажут. Или почитайте в книге отзывов в областной научной библиотеке, что люди пишут о моих вечерах. Есть там хоть один негативный? То-то. А правда – она многим глаза колет.

РУСОФРЕНИЯ

В день рождения Есенина по ТВЦ демонстрируется фильм Семёна Рябикова «Золотая голова на плахе». Чудовищная ложь и пошлость. Это ещё хуже Бурляевского «Лермонтова». Хотя идея та же: евреи убивают гордость и славу России. Бурляев писал потом статью, где с торжеством докапывался до корней родословной Мартынова, уцепившись за отчество Соломонович, – вот оно, где собака зарыта! Хотя и ежу ясно, что Мартынов был русский и все его предки из села. Но эта «Золотая плаха» – в сто раз подлее и глупее. Всё так картинно, нарочито, утрировано, так снимали в 50-х годах, а ведь он сделан в наши дни. Чудовищные подтасовки, искажения фактов.

Есенин (кстати, не с золотой головой, а тёмно-каштановой), постоянно курит с мировой скорбью в глазах (тёмных и маленьких, отнюдь не голубых), ходит под про-

ливным дождём, рвёт рубаху на груди в кабаке, кормит бездомных собак и смотрит вдаль с обрыва. Говорит матери: «Мои стихи, как стихи Пушкина, будут изучать в школе», на что мать отвечает: «Как же, сейчас! Разбежались!» Современная мамаша.

Бениславская – прожжённая чекистка и стукачка. Трепетная и вечно плачущая. В то время как в действительности Есенин ей говорил: «У Вас мужской склад ума и мужской характер. Вам надо было родиться мужчиной». В жизни это была сильная женщина, здесь же – трусливая слюняйка. Знакомятся они на улице. Она первая подходит и, тесня его грудью, говорит, что обожает его стихи и мечтает познакомиться. И тут же с ходу предлагает свои услуги секретаря-машинистки. На самом деле Бениславская просто ежедневно ходила с подругами в «Стойло Пегаса», пока Есенин не заметил её и не выписал на неё и подруг специальный пропуск. Она долго скрывала от него свои чувства, их долго связывали лишь деловые и дружеские отношения, пока это не переросло в нечто большее. Помощь Бениславская поэту не навязывала, просто помогала, взвалив на себя добровольно обязанности прислуги, няньки, секретаря. В её доме Есенин поселился, когда вернулся из Америки и ушёл от Дункан и ему негде было жить. Как можно было позволить так опорочить эту благороднейшую женщину, очернить её память? Они читали хоть её дневник?! Невозможно вести такой дневник и одновременно стучать на Есенина, чем Бениславская регулярно занимается в фильме. И убили его якобы за телеграмму Каменева, которую Бениславская должна была выкрасть и отдать чекистам. И застрелилась якобы по указу чекистов. (В момент её самоубийства за памятником прятался чекист, можно подумать, что он её убил, когда у неё вышла осечка).

Есенин в фильме – сама добродетель. Единственный дебош, который показали – в грязном притоне, где он читает «Сыпь, гармоника...», будто бы адресуя проститутке («пей, выдра, пей»), хотя известно, что этот стих адресован Дункан (сохранился экземпляр с надписью его рукой: «Айседоре Дункан»; в том, первом варианте, были строки: «пусть целует она другого, изжитая красивая б...», позже кем-то отредактированные в «молодая красивая дрянь»). Это не может быть адресовано случайной собутыльнице, так как там слова: «до печёнок меня замучила», «дорогая, я плачу... прости... прости...» – это явно о близкой женщине.

«Мне бы лучше вон ту, сисястую», – читает Есенин, и крупным планом показывают эту «сисястую», которая начинает по-современному возмущаться языком интердевочки: «а что? мы с таким товаром дороже стоим!» Но слово «сисястая» ей не понравилось, и она толкает локтем собутыльника: «Дай ему в морду!», повторив это трижды. Есенин его играючи откидывает прочь со словами: «Я с собой не покончу, иди к чертям!» Тут на него наваливаются со всех сторон всякие подонки, похожие на евреев, а он, как Шварценеггер, всех раскидывает в разные стороны. Но, в конце концов, кому-то удаётся бутылкой по голове его уложить (сцена напоминает финал из фильма «Коммунист»).

Следующий кадр – Есенин в кабинете чекиста. Как партизан на допросе, мужествен и суров. Желваки на скулах.

– А в чём моя вина? Что меня подстрекают эти...? (Зритель легко домысливает, кто). – Я ни в чём не виноват! (с интонацией партизана-героя: «больше не скажу ни слова»).

Входит Дзержинский (Лановой). Есенин нехотя встаёт (по приказанию, а так бы – ни в жизнь).

– Феликс Эдмундович, а я Вас знаю (непринуждённо, без страха). Дзержинский, взяв в руки его «Дело», вынуженное из сейфа, и, раскрыв:

– Нет, это я Вас знаю!

И, без всякой связи с предыдущей фразой, обращается к Есенину с задумчивой нежностью:

– Почему такая незащищённость?!

В устах Дзержинского это звучит настолько нелепо, что даже на пародию не тянет.

Следующая сцена – вечер у художника Яковлева. Дункан выходит из зала, ей подадут на подносе рюмку водки. Она залпом выпивает – и глаза лезут на лоб. Переводчик подбегает: «Она водку не пьёт!» (Это Дункан-то?!). Но уже поздно – Айседора заходится в кашле. На самом деле Дункан тогда поднесли стакан водки, а не рюмку, она спокойно выпила и прилегла на кушетку. Пить она умела. «На лимонаде хорошо не станцуешь», – её известная присказка. И, уезжая из Америки, говорила: «Лучше я буду в России на хлебе и водке, чем у вас».

В это время в салоне появляется Есенин, для приличия спросив куда-то в пространство: «А где Дункан?» Хотя на самом деле он вихрем ворвался в зал с этим криком, с размаху упав к её ногам. Здесь же он соблюдает достоинство и фронду первого русского поэта. Увидев кашляющую от русской водки Дункан, Есенин кидает ей яблоко (из другого

конца зала!), которое Дункан с завидно быстрой реакцией благодарно ловит (якобы на закуску), и тут же картинно читает: «Не каждый умеет петь (кажется, он произнёс «пить»), не каждому дано яблоком падать к чужим ногам». С этими словами он как бы нехотя опускается «к чужим ногам» Дункан, а она погружает пальцы в его волосы. Тут она должна произнести знаменитое: «За-ла-тая га-ла-ва», смешно коверкая русские слова. Но поскольку голова у Есенина тёмная (несмотря на название фильма), Дункан произносит эти слова по-английски. («Что она говорит? – Она восхищается Вашими стихами»).

Потом – эротическая сцена в постели. Дункан, голая по пояс, обнимает поэта, а тот наливает рюмку за рюмкой и икает (надо думать, чтоб показать, как он её не любит).

Постепенно над Есениным сгущаются тучи в виде евреев-чекистов. Раз пять крупным планом показывают «Дело Есенина». За что заводят это дело – неизвестно, поэт – сама добродетель. Вся его вина в том, что он любит Родину. Ходит под проливным дождём и любит. Курит и любит. Пьёт и любит. С тоской в глазах. Намекается на козни врагов. А то, что Есенин учинял дебоши, стаскивал скатерти, бил посуду и кричал: «бей жидов – спасай Россию», за что его судили товарищеским судом, – в фильме умалчивается. А ведь в действительности 13 дел было заведено, и ни одному не был дан ход! У поэта были мощные покровители – Блюмкин, Троцкий. Милиции был дан приказ отвозить его в вытрезвитель и мирно отпускать. Все московские милиционеры знали Есенина в лицо. И он этим пользовался. (Маяковский пустил остроту: «шумит, как Есенин в участке»). Странно не то, что заводили «дело», а то, что прощали и спускали. Не хотели показывать, что у первого крестьянского поэта разногласия с советской властью. Это ведь начало 20-х, а не 37 год.

В фильме же Есенин – ярый антибольшевик. С Дункан они расстаются именно на этой почве. Она, одетая в красное платье и будёновку, пытается изобразить перед ним революционный танец. «Эт-то что такое?!» – грозно кричит Есенин. «Это будущее Рашен», – растерянно отвечает Дункан. Есенин срывает с её головы будёновку и яростно топчет, с отвращением произнося: «Какое будущее!» Айседора горько и пристыжённо плачет. Всё. Никакой поездки в Америку, никакого брака с ней – всё это за кадром. Надо же найти что-то крамольное, за что большевики-евреи его убьют. А как же революционные стихи и поэмы Есенина, его «Инония»,

«мать моя – родина, я – большевик», Ленин в «Анне Снегиной» и прочее? Отсекают всё, что не вписывается в их канву.

Кончилось тем, что на улице на Есенина налетают 5-6 молодчиков, заталкивают в машину, а потом в кабинете чекиста Блюмкин или кто там докладывает Бениславской, которая пришла с очередным донесением, что «Есенин повесился». И корит её, что она не доставила им телеграмму Каменева. После чего кладёт на стол перед ней «револьвер Есенина» и намекает, чтобы Бениславская из него застрелилась. У неё, мол, один выход. А то, мол, будет хуже. Что Бениславская и делает с помощью чекиста, прячущегося за памятником на кладбище.

Подтасовка с Софьей Толстой. Она в фильме – пышная и красивая в духе толстовской Элен, хотя в действительности была очень похожа на деда, Мариенгоф узнал её «по портретам Льва Николаевича». В фильме Бениславская ревниво спрашивает Толстую: «Вы действительно выходите за него замуж?» И пытается отговорить: «Но для него главное – поэзия». А Есенину внушает: «Не может крестьянский сын жить с графиней и внучкой Толстого». На самом деле Есенин познакомился с Толстой в доме Бениславской, и она не препятствовала их браку, слабо надеясь, что, может быть, новой жене удастся спасти его от пьянства, дать ему то, что не могла дать она. Она думала только о Есенине, о его благе. Но создателям фильма, видимо, претило это благородство и самоотречение в еврейской девушке (это ведь привилегия только русских), и они предпочли её опорочить, подогнав под модель «эсерки Каплан», заставив её расплатиться за свои козни (или слабость). Нет предела подлости человеческой (или глупости) этого Рябикова.

Но куда же смотрели консультанты, литературоведы, люди культуры? Как это можно выпускать на экраны, пусть даже в дневное время? Как можно показывать это подлое и пошлое враньё? Кто разрешает эти фильмы, фальсифицирующие нашу историю?

Следом – детективный лубок с Безруковым-сыном в роли поэта, поставленный по роману отца с выдуманными диалогами и фактами и всё с тем же убийством Есенина в финале. «Это версия, – оправдывается сценарист В. Валущкий после демонстрации сериала. – Она может и не соответствовать реальности...». «Это – роман отца, – вторит ему актёр Безруков, – искать тут правды не стоит». Но если для вас, авторов, ваша версия об убийстве не абсолютна, то какого чёрта вы снимаете её как абсолют и заталкиваете в

сознание зрителя, как кость в горло?

В прошлом году я подготовила и провела в библиотеке два вечера о жизни и творчестве Есенина. Второй вечер был целиком посвящен опровержениям всех этих лживых версий, которые заполнили экраны, книжные прилавки и мозги неискушённых доверчивых читателей и зрителей. А уж сколько заезжих лекторов-гастролёров спекулируют на этой теме, потрафляя алчущим крови жидо-масонов русолюбам и русохвалам! Даже в нашей филармонии какая-то местная дама отметилась, читая лекцию об убийстве Есенина иностранцами, – жаль, не удалось мне узнать её фамилию.

Считаю своим долгом поделиться с саратовцами теми фактами и истинами, которые открылись мне в итоге кропотливого исследования всех материалов и документов, связанных со смертью поэта. А главный документ – сами стихи. Стихи Сергея Есенина – это не только литературные, но и житейские человеческие документы.

Все его последние стихи («стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою») стояли как бы траурными шеренгами, среди которых он неуклонно продвигался к трагической развязке. Поэт предсказывал конец свой в каждой своей теме, кричал об этом в каждой строчке.

Надежда Вольпин говорила ещё в 1920 году, что ей всегда страшно за Есенина. «Такое чувство, точно он идёт с закрытыми глазами по канату. Окликнешь – сорвётся». Однажды – осенью 20-го – он заговорил с ней в первый раз о неодолимой, безысходной тоске. О том, что у римлян называлось «томление жизнью».

– А у Вас так бывает? Пусто внутри? и вроде как жить наскучило?

– Нет, мне это незнакомо, – ответит она.

Одной из главных причин самоубийства Есенина Г.Бениславская называла болезнь. «Такое состояние, – жаловался он ей, – когда временами мутнеет в голове и всё кажется конченным и беспросветным». Короче об этом состоянии можно сказать: смертная тоска. Это был комплекс болезней: унаследованная от деда (по матери) эпилепсия, припадки которой у Есенина начались в Америке, плюс хронический алкоголизм и порождённая им белая горячка. В известной доле стихи последнего периода жизни Есенина являются уже материалом для психиатра и клиники.

Такова в особенности его поэма о чёрном человеке. «Чёрный человек» даёт ясную картину алкогольного психоза, которым страдал поэт. Это типичный алкогольный

бред со зрительными и слуховыми галлюцинациями, с тяжёлыми состояниями страха и тоски, с мучительной бессонницей, с тяжёлыми угрызениями совести и влечением к самоубийству», – писал психиатр Галант.

Это не значит, что Есенин писал её в состоянии белой горячки, он всегда писал стихи трезвым, и написана она мастерски, это самая сильная, самая исповедальная, может быть, лучшая поэма Есенина. Но симптомы белой горячки здесь переданы с медицинской точностью: бред, галлюцинации, бессонницы, тяжёлое состояние депрессии с чувством вины, беспросветной тоски, манией преследования. Содержание поэмы – крах жизни. В ней отражен душевный разлад поэта, его страх перед тёмными сторонами собственной души.

Многие стихи Есенина проникнуты мотивом смерти, который нарастает с каждым годом. Ещё в 1915 году, в 20 лет он написал: «В зелёный вечер под окном на рукаве своем повешусь». А в последнее время чуть ли не каждое стихотворение стало кончаться предсказанием близкой гибели:

Ну целуй же! Так хочу я!
Песню тлен пропел и мне.
Видно смерть мою почуял
тот, кто вьется в вышине.

Догорит золотистым пламенем
из телесного воска свеча,
и луны часы деревянные
прохрипят мой двенадцатый час.

Я устал себя мучить бесцельно
и с улыбкою странной лица
полюбил я носить в лёгком теле
тихий свет и покой мертвеца.

«Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь», – писал он Мариенгофу. Этот взгляд внутрь себя открывал ему трагическую невозможность дальнейшего бытия на этой земле.

Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
закрывает одна лишь смерть.

Литературоведы подсчитали: за последние два года у Есенина 400 раз встречается слово «смерть», причём в половине этих стихов поэт говорит о своей смерти, о само-

убийстве. Он начал умирать задолго до своей гибели, он неуклонно шёл к этому.

В 1925 году на одном из литературных вечеров у Есенина произошла еще одна встреча с Блоком. Блоку дали альбом с просьбой написать туда что-нибудь, и, открыв его, на первой странице он обнаружил стихотворение Есенина:

Слушай, поганое сердце,
сердце собачье моё.

Я на тебя, как на вора,
спрятал в руках лезвиё.

Рано ли, поздно всажу я
в рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
в вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
что их загрызла мечта.
Если и есть что на свете —
это одна пустота.

Все есенинские экспромты последних месяцев объединяет предчувствие близкой смерти. «Мчится на тройке чужая младость. Где моё счастье? Где моя радость? Неудержимо, неповторимо всё пролетело... далече... мимо...». «Кругом весна, и жизнь моя кончается...». Временами ощущение близкого конца нагнетается и становится почти осязаемым:

Снежная равнина, белая луна.
Саваном покрыта наша сторона.
И берёзы плачут в белом по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

В ответном письме к матери он жалуется, как ребёнок:

Родимая! Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно и так протяжно стонет.
Захочешь лечь, но видишь не постель,
а узкий гроб, и что тебя хоронят.

В «Письме деду» голос поэта звучит ещё надрывней:

А если я помру? Ты слышишь, дедушка? Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
чтобы присутствовать на свадьбе похорон
и спеть в последнюю печаль мне «аллилуйя»?

«Письмо от матери», «Ответ», «Письмо деду», «Метель» — самые пессимистичные, самые безнадежные строки

в поэзии Есенина. «Себе, любимому, чужой я человек». «И первого меня повесить нужно». «И эту гробовую дрожь как ласку новую приемлю». «Себя усопшего в гробу я вижу». Дальше идти некуда. Дальше смерть. Мариенгоф пишет: «К концу года решение «уйти» стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колёса дачного поезда, он пытался выброситься из окна 5-этажного дома, пытался перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом». Таких попыток было множество на протяжении его короткой жизни.

В 1912 году травился уксусной эссенцией (из-за насмешек Анны Сардановской, как он объяснял в письме Мане Бальзамовой. И ещё одна причина была: неудавшаяся попытка издать в Рязани свой первый сборник «Больные думы». Отсюда его строчки: «Пускай я сдохну, только – нет, не ставьте памятник в Рязани!»).

В 1912-13 годах пишет «Исповедь самоубийцы» (в 18 лет):

Простись со мною, мать моя.
Я умираю, гибну я!
Безумный мир, кошмарный сон,
а жизнь есть песня похорон.

В 1913 году пишет в письме другу Грише Панфилову, что родственники хотели показать его психиатру.

В 1919-м пытается выброситься с 5-го этажа (в воспоминаниях журналиста Георгия Устинова). В 1921-м друзья-имажинисты едва удерживают его при попытке выброситься с балкона 4 этажа. В 1923 году в Америке на вечере еврейских поэтов хотел выброситься с 5 этажа. По воспоминаниям А.Дункан, в 1923 году в Париже на званом обеде пытался повеситься, сняли со шнура от люстры. О попытке выброситься с балкона в 1924-м в Тифлисе вспоминал Георгий Леонидзе. Внук художника Перова вынимал Есенина из петли в 1924 году в гостинице «Европейская» в Ленинграде. В феврале 1924-го резал вены левой руки, так что пришлось везти в Кремлёвскую больницу. В первую неделю ноября 1925-го пытался утопиться в Неве.

В психиатрической больнице Есенину был поставлен диагноз: «врождённая психопатия, ярко выраженная меланхолия, осложнённая алкоголизмом и алкогольным психозом». По современным понятиям – это депрессивный тип маниакально-депрессивного психоза. В 20-е годы врачи были в худшем положении – тогда не было антидепрессантов. Когда Есенин досрочно покинул клинику, врачи предупреждали

дали близких о грозящей ему опасности, о том, что он, в сущности, обречён. Предупреждали, что не проживёт и года, так как одержим манией самоубийства.

Есенин предчувствовал свой близкий конец. Почти физически ощущал его неумолимое приближение. Из воспоминаний В.Эрлиха: «Июнь 1925 года. Мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка: «Видал ужас? Это – мой закат...».

Из воспоминаний литератора А.Воронского: «На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошёл и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Всё лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались лишь одни стихи. Я всё отдал им, понимаешь, всё. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это всё отступилось от меня.

Он плакал больше часа. «Пусть вся жизнь за песню продана», – это из последних его стихов».

А вот свидетельства В.Наседкина: «Есенин ночевал у меня, придя пьяным в три часа ночи. Утром, проснувшись, он как-то безучастно ждал завтрака. Вид у него был ужасный. Передо мной сидел мученик.

– Сергей, так ведь недалеко и до конца.

Он устало, но как о чём-то решённом, проговорил: «Да... я ищу гибели». Немного помолчав, так же устало и глухо добавил: «Надоело всё».

27 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» Есенин кровью написал стихотворение, посвященное его другу Вольфу Эрлиху, передал ему и попросил прочесть дома, когда останется один. Но Эрлих забыл о стихах Есенина. Утром, узнав о самоубийстве, достал листок и с ужасом прочёл: «До свиданья, друг мой, до свиданья...».

Что это было – осознанное самоубийство, трагическая случайность или неудачная шутка, окончившаяся трагически (Пастернак писал, что Есенин хотел испугать, но не смог вовремя остановиться), – по большому счёту всё это не так важно. «Любовью, грязью, иль колёсами она раздавлена – всё больно». Однако многочисленные воспоминания друзей и близких женщин Есенина – Анны Берзинь, Василия Наседкина, Галины Бениславской, Вольфа Эрлиха, Анато-

лия Мариенгофа, Вадима Шершеневича, Надежды Вольпин, показавших поэта без ретуши, без хрестоматийного глянца, не вписывались в есенинскую биографическую легенду, лепившуюся с конца 50-х годов казённым литературоведением, представлявшем канонический образ поэта, лишь лицевую сторону его жизни. Согласно этой официальной легенде национальному поэту надлежало быть безупречно здоровым, его самоубийству – чисто случайным, и даже упоминать о его алкогольной зависимости считалось неуместным и предосудительным. Воспоминания эти публиковались с пространными купюрами, подвергались цензуре. Тем самым создавалась почва для мифов.

Четыре дня и три ночи, проведённые Есениным тогда в Ленинграде, известны едва ли не по минутам. Это не считая слухов, сплетен, домыслов и вымыслов, выдаваемых за так называемые версии убийства поэта. Все они абсолютно несостоятельны и нелепы, не выдерживают никакой критики при ближайшем рассмотрении. Тем не менее, я их назову.

ВЕРСИЯ №1, высказанная Виктором Кузнецовым в его книге «Тайна смерти Есенина». Убийство поэта, по его же утверждению, организовано Троцким из ревности. Якобы некая знаменитая певичка, выступавшая в Питере в 20-х годах, любовница Троцкого (фамилии автор не помнит), была также тайной любовницей Есенина. И Троцкий, узнав об этом, вызвал к себе верного чекиста Блюмкина и его сподвижника чекиста Леонтьева и отдал им приказ прочить поэта, а именно: «набить Есенину физиономию и кастрировать». С этой целью чекисты заманивают Есенина в гостиницу, но тот оказал сопротивление, вырубил Блюмкина, и Леонтьев был вынужден его застрелить. Троцкий на это сказал им словами Сталина: «Нет человека – нет проблемы», после чего велел инсценировать самоубийство. Весь этот бред излагался на 500-х страницах книжного боевика – именно в этом жанре сляпано сие творение. Книга эта довольно активно раскупалась в Саратове, может быть, есть наивные люди, которые поверили той ахинее. Н.Сванидзе в своих «Исторических хрониках» опроверг эту версию. В декабре 25-го года Троцкий был уже лишён всех постов и не мог давать таких распоряжений, быть режиссёром убийства.

ВЕРСИЯ №2: Есенин был убит за персональное оскорбление Троцкого, разоблачение его сионистских взглядов на Россию. Троцкий якобы не мог простить Есенину строк в «Стране негодяев», где упоминается подлинная фамилия

комиссара чекистов Лейбман, а это намёк на имя Троцкого Лейба Бронштейн-Троцкий. Отвечаю: незаконченная «Страна негодяев» при жизни Есенина не была напечатана. Лысцов пишет, что «более чем смелые отрывки появлялись в списках». Но никаких списков не было. Во всяком случае, никто из современников о них не вспоминает. А вот иные – восторженные отзывы Есенина о Троцком – хорошо известны. Троцкий очень любил Есенина. Его статья «Памяти Есенина», по мнению Горького – и я с ним совершенно согласна – лучшее, что написано о нём.

ВЕРСИЯ №3. Будто бы поэта убили за телеграмму Каменева с его приветствием царя, отрёкшегося от престола, которая, как прихвостнул кому-то пьяный Есенин, находится у него. Убили, чтобы не допустить его выступления на съезде с антитроцкистскими и антикаменевскими разоблачениями. Какая чушь! Есенин всегда был далёк от политики. Да и кто бы пустил его на этот съезд? Каким компроматом на Троцкого и Каменева он мог обладать? И как это совместимо с тем, что Есенин положительно отзывался об обоих вождях в стихах, а Троцкий искренне хвалил поэзию Есенина? Уж скорей по этой логике в устранении поэта должны быть заинтересованы противники Троцкого и Каменева – Сталин и Бухарин. Но практически все приверженцы версии убийства Есенина с большим пиететом относятся к Иосифу Виссарионовичу и считают кощунственной саму мысль о том, что он мог быть причастен к убийству великого русского национального поэта. Нет, это должны быть троцкисты, масоны, сионисты, инородцы.

(И действительно – в данном случае трудно представить, чтобы в 25-м, а не в 37-м году Сталин вдруг озаботился убийством крестьянского поэта, ни в каких политических интригах не участвовавшего и никакой угрозы ему не представлявшего).

В сериале Безруковых и в фильме Рябикова Есенину усиленно клеится ярлык «врага советской власти». Но как же этот «враг» в последние годы постоянно печатается в самых видных советских журналах («Красная новь», «Прожектор», «Огонёк»)? Как это врагу советской власти государственное издательство предложило выпустить четырёхтомное собрание сочинений – роскошь, даже для самых «партийных» писателей, кроме Маяковского, невозможная? Да и оплата строк шла по самой высшей в то время ставке. На Есенина было заведено 13 уголовных дел, но ни одно не было доведено до суда. Д.Бедный говорил: «Такое ему спус-

кали! Меня бы уже десять раз из партии выгнали. А его – холили, берегли». Есенина любили, прощали. Понимали, что он болен, относились снисходительно из уважения к его таланту.

Все приверженцы версий убийства Есенина – ярые антисемиты, и с пеной у рта настаивают, что поэта убили люди, конечно же, вполне определённой национальности. Пушкин, как уверял В.Кожин на страницах «Правды», убит в действительности выкрестом Нессельроде, Лермонтова прикончил скрытый еврей Мартынов, чьё отчество – ага! – Соломонович, как торжествующе раскопал в его родословной Н.Бурляев, Маяковского погубили Брики, а уж кто Есенина убил – ясное дело – троцкисты, сионисты, масоны, жида. И выбирают на роль убийцы того, кто подходит по национальности: Троцкий, Эрлих. Всё это мы уже проходили.

Шквал сенсационных публикаций: Горький отравлен, Маяковский застрелен, Есенина, стало быть, повесили. Впрочем, повесили уже мёртвого, чтоб инсценировать, а убили его загодя. И авторы криминальных версий наперебой предлагают свои варианты, демонстрирующие незаурядное воображение: задушили подушкой, удавили пиджаком, проломили череп рукояткой револьвера, нет, канделябром, да так, что мозг выступил на лбу. И, наконец, застрелили выстрелом в глаз. Но зачем же подвешивать труп с пулей в голове? Логичнее тогда уж было бы подбросить револьвер.

Тщательно исследуется посмертная маска Есенина, хранящаяся в Пушкинском доме в Петербурге, самая качественная из всех прочих. Авторы версий насильственной смерти Есенина (а это – бывший следователь Э.Хлысталов, журналист Сергей Куняев, поэтесса Наталья Сидорина, врач-психиатр Черносвитов, патологоанатом Морохов и – первым заявивший о том, что Есенин был убит – писатель Василий Белов) увидели на лбу поэта: Черносвитов – вмятину, Сидорина – след от пули, Хлысталов – шишку, полученную в результате удара.

Дочь Татьяна пишет, что она, как и многие родные и близкие, склонялась над гробом отца – но никто ничего этого на лице его не увидел: ни раскрытого черепа, ни вытекших глаз, ни других следов избиений. В годы перестройки трижды создавались комиссии Есенинского комитета, в 89, 90 и 93 годах, в работе которых принимали участие судебные медики, криминалисты, специалисты-есениноведы, журналисты, причём судебно-медицинские и криминалистические исследования проводились экспертами Москвы,

московской области и России параллельно, независимо друг от друга. Было изучено пять посмертных масок Есенина – и никаких следов действий колюще-режущих предметов, следов огнестрельных повреждений не выявлено. А пресловутое углубление – вдавление на лбу – по данным медэкспертизы образовалось в результате контакта с трубой парового отопления, это ожог раскалённой трубы, к которой несколько часов труп был прижат лбом. Это повреждение поверхностного эпителия, лишь на глубину кожных покровов, повреждений в лобной кости не было, кости черепа целы, и мозг весил, как и положено, 1929 граммов, а не 20 граммов, как читалось в первоначальном повреждённом тексте (отсюда домыслы, что мозг вытек). Особенность фотоплёнки тех лет была такова, что малейший прыщик выглядел как тёмное пятно, namного увеличивая незначительные дефекты и повреждения.

Специалисты медленно отбрасывали одну версию за другой. Никаких данных, подтверждающих убийство, не было выявлено. Объективная реальность такова, что поэт сам ушёл из жизни. Конечно, поклонникам Есенина не хочется верить в такой уход. Конечно, романтичнее видеть тайны ОГПУ, битву с суперагентами – эдакий боевик в американском духе. Не получается боевика.

Не один писатель вылез на свет божий благодаря скандалам и сенсациям. Бульварное чтиво охотно раскупают. Кто и когда знал бы о каком-то писателе, не напиши он о том, что раскрыл «тайну смерти Есенина»? Никто и никогда.

Комиссия Есенинского комитета СП по выяснению обстоятельств смерти Есенина в декабре 1990 года единодушно пришла к выводу, что в настоящее время объективно нет материалов, которые могли бы документально опровергнуть судебно-медицинскую экспертизу 1925 года. Протокол места происшествия составлен по тем правилам, которые существовали на то время. Труп нашли в том положении, в каком он и должен был находиться в результате самоубийства. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» написано Есениным, а не Эрлихом и не Блюмкиным, как утверждают досужие писаки. И кровь, которой оно было написано, это кровь именно Есенина, и именно кровь, а не чернила.

Родные поэта категорически возражали против экзугмации, которой требовали сторонники версии насильственной смерти, видя в этом глумление над его памятью. Возражала Татьяна, дочь Есенина, его племянницы, сын Алек-

сандр Вольпин считал это совершенно ненужным, так как в самоубийстве отца не сомневался. Надежда Вольпин 27 сентября 1994 года написала: «В убийство Есенина не верю. Эксгумацию считаю кощунством». Казалось бы, чего ещё? Ведь никаких следов убийства и даже намёков на него не выявлено.

Однако сторонники заговора с целью убийства поэта продолжают тиражировать свою версию. Они утверждают, что выводы современных экспертов подтасованы, ложны, как был когда-то якобы сфальсифицирован акт вскрытия. Но элементарный здравый смысл подсказывает, что практически невозможно такому количеству независимых друг от друга экспертов сфальсифицировать свои заключения в пользу одной версии. Получается, что все свидетели трагедии, все врачи-эксперты, друзья, родные, журналисты, сотрудники милиции – все они участники всеобщего многотысячного заговора молчания. Но подобных заговоров никогда не бывало, исторический опыт показывает, что нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Однако сторонники версии убийства давно уже никаких разумных доводов не желают слушать. Поэтесса Сидорина недавно заявила по ТВ: «А нам, в сущности, и эксгумация не нужна, мы и так убеждены, что его убили». Эта версия давно уже превратилась в миф, который никакие факты не способны поколебать. Сгубили русского национального гения тёмные масонские сионистские силы, и всё тут. Ну хочется им так думать!

Единственной тёмной силой, приведшей Есенина к печальному концу, был тяжелейший алкоголизм. Нравится кому-то это или нет. «Осыпает мозги алкоголь», – кратко сформулировал своё состояние сам поэт. Осыпал мозги, осыпал жизнь. К тому же после лечения в психиатрической клинике, полученной там лекарственной антиалкогольной терапии, Есенин, сбежав оттуда, не долечившись, продолжал пить и в Ленинграде – всё это могло усилить приступы депрессии и ускорить трагический финал, который был неотвратим.

В качестве доказательства убийства Сидорина и Куняев приводят факт отпевания Есенина в церкви по христианским обычаям, что недопустимо по отношению к самоубийцам. Однако этот запрет не распространялся на тех, кто лишил себя жизни в безумии или беспомощности от болезненных припадков. Если такое свидетельство предоставлялось (а Есенин несколько дней как выписался из психиатрической

больницы), то погребение совершалось по христианскому обряду с отпеванием.

Мать Есенина Татьяна Фёдоровна слишком хорошо знала о тяжёлой болезни сына, частично наследственной, и для неё смерть эта не была неожиданностью. На сороковой день смерти сына ей приснился сон, в котором к ней явился Сергей и два часа с ней разговаривал. Этот сон мать, простая крестьянка, попыталась выразить стихами (это единственное её стихотворение, записанное с её слов):

Он во сне ко мне явился,
со мной духом поделился.
Он склонился на плечо,
горько плакал, горячо:
«Прости, мама – виноват!
Что я сделал – сам не рад».
На головке большой шрам.
Мучит рана, помер сам.

(«помер сам» – то есть совершил самоубийство, убил себя сам).

Ещё Демокрит сказал, что нет истинного поэта, не имеющего проблем с психикой. Это никак не умаляет гениальности его творений. Не скрывать стыдливо эти факты от потомков, как будто в этом есть нечто позорное, а быть предельно деликатным и великодушным при встрече с таким гением – вот единственный урок для всех смертных, – всегда помнить, что душевная организация гения гораздо тоньше и ранимее, чем у человека обычного, рядового, и требует очень чуткого, предельно бережного к себе отношения.

Есенин настолько велик, стихи его так основательно вошли в наш духовный мир и заняли там свою нишу, что нисколько не нуждаются ни в идеализации, ни в каких бы то ни было приукрашиваниях и умолчаниях. И беды его, и несчастья, как бы они ни были велики, не заслонят его светлый образ и не преуменьшат народной любви к нему.

Не любить Есенина для русского читателя – противорестественно, невозможно, это признак нравственной слепоты, моральной дефектности, душевной недостаточности. На любви к Есенину сходятся люди самых разных взглядов, вкусов, возрастов, профессий, культурных уровней. Те, между кем, казалось бы, нет ничего общего, сходятся на Есенине, то есть сходятся на русской поэзии. Это ли не великая объединяющая национальная идея?

Но на этой высокой оптимистической ноте поставить точку не удастся. Слишком много накопилось «но». Когда в своей книге 2003 года «По горячим следам» я написала об

антисемитизме в саратовских писательских кругах, прикрытом, как фиговым листком, лозунгом борьбы с русофобией, мне казалось, что я, что называется, «закрыла тему». Оказывается, нет. Это какое-то подобие дракона Шварца, у которого вместо срубленной головы тут же вырастает две новых. Потом был второй памфлет под названием «Пакостная газета» («Ангелы ада», 2004), где я писала о «Сталиниане» «Земского обозрения», в каждом номере которого прославлялось имя Сталина, публиковались портреты усатого генералиссимуса и призывы всем миром собирать деньги ему на памятник на Соколовой горе в парке Победы. После моего публичного выступления – уж не знаю, случайно или нет – но эта позорная вакханалия, длившаяся несколько лет, прекратилась.

И по поводу другой «пакости» – регулярных антисемитских выпадов – тоже удалось добиться принятия мер, когда министр области – председатель комитета по информации и печати И.В. Никифоров сделал газете «Земское обозрение» первое предупреждение о недопустимости разжигания национальной розни (достаточно двух предупреждений, чтобы закрыть газету). На какое-то – очень короткое – время они поутихли. Но потом гидра снова подняла свои головы. Так, что это, наконец, заметила не только я, но и Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин, который в ежегодном докладе о своей деятельности написал следующее: «...Многие периодические издания, в том числе федеральные, регулярно упоминают национальность подозреваемых в совершении преступлений, изображают отдельные этнические группы как чуть ли не генетически склонные к преступным проявлениям, сообщают об открытых призывах к насилию в отношении их представителей, не сопровождая подобные призывы осуждением. По данным Московского бюро по правам человека (МБПЧ) в России издаётся свыше ста газет, открыто пропагандирующих расовую, национальную или религиозную ненависть, отстаивающих ксенофобские лозунги («Чёрная сотня», «Русская правда», «Эра России», «Я – русский» (Москва), «За русское дело» (Санкт-Петербург), «Земское обозрение» (Саратов)...».

Прокуратура Саратова, озадаченная докладом Лукина, запрашивает подшивки «Земского обозрения» за 2006-07 годы «для изучения». Кресло под главным редактором означенного издания И.Сухаревым качнулось. Тщательно маскируя взбешенность, он публикует в «Земском обозрении» (от 9 мая 2007) заметку, где разыгрывает из себя оскорблён-

ную невинность: «Прочитав, что наше «Земское обозрение» вошло в число избранных главным официальным правозащитником страны 15-ти газет России, сначала просто удивился...». (Мне сразу вспомнилась моя заметка об И.Сухареве «Удивительное рядом» («По горячим следам» стр.238), где он вот так же удивлялся тому, что Северянина зовут, как и его, Игорем, фразе Заболоцкого «огонь, мерцающий в сосуде» – ну сама непосредственность!)

От удивления Сухарев переходит к возмущению, отрицая очевидное: «Хочется посоветовать – даже чиновникам столь высокого ранга: прежде чем судить о прессе без лукавства, надо бы её почитать. Иначе бы знал высокий столоначальник, что никогда никакой ненависти «Земское обозрение» не пропагандировало и не будет пропагандировать. Напротив, наша принципиальная позиция заключается в необходимости национального равноправия...»

Да. Бумага, конечно, всё стерпит, не покраснеет. Ну а как же подшивка-то? Или Сухарев надеется, что прокуратура Саратова в упор не увидит того, что увидели даже в Москве? Чтобы не быть голословной, привожу выдержки из номеров «Земского обозрения» за несколько лет.

«Сплотим ряды в борьбе с масонской силой тёмною, с проклятою ордой! Журнал Болкунова – на переднем крае этой войны». (20.10.04).

«Автор текста пишет: «Особая роль в развращении русских людей принадлежит деятелям культуры и телевидения... Среди её представителей редко встретишь людей с нормальной психикой и сексуальной ориентацией». Следует добавить: и с русскими родителями.

Автор журнала «Волга – 21 век» призывает предоставить массонам-пидерасам (кстати, хоть бы кто-нибудь объяснил Б.Глубокову, который употребляет это слово из номера в номер, что «масон» пишется через одно «с»!), поющим «хава нагила», один из островов Земли Франца-Иосифа для создания их автономии – Пидерасии...» (17.05.06).

«С экранов телевизоров русских в России продолжают «плющить» аншлагами-форшмаками, в которых резвятся лица другой малой национальности» (31.01.07).

«Есть ведь и в Саратове люди здравомыслящие. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой с масонской силой тёмною, с поганою ордой!» (16.05.07). (Глубоков, видимо, забыл, что уже печатал эту хрень в 2004 го-

ду. Но себя любимого и повторить не грех. Тем более, если тогда всё сошло безнаказанно).

В Саратове вышла книга юмора и сатиры «Смешно сказать...». Глубоков недоволен тем, что в этой книжке высмеиваются грузины, цыгане, чукчи, русские (всё скрупулёзно подсчитал), а вот евреев практически нет! Намекает на злокозненность в этом вопросе главного составителя еврея Льва Горелика. Прочитовав отрывок из книги, где приводится шуточный монолог о пьянице-муже жительницы села с русской фамилией Богдалова, ядовито комментирует: «Так и представляешь тут Клару Новикову (Герцер) в образе тётки Сони из «Аншлага-форшмака». Почему в книге никто не потешается над евреями, позиционирующими себя в России как самые большие юмористы? Неужели если публично над ними посмеяться – сразу бдящие власти «впаяют» разжигание национальной розни? Алкогольная тема в книге почему-то привязана именно к русским..» (21.03.07).

Всё дело в том, что нормальным людям, читающим анекдоты и юморески, не придёт в голову подсчитывать, сколько раз «обсмеяли» русского, а сколько – еврея. На это способны только мозги, зацикленные на этой теме.

(Вспомнилось кстати, как Н.Куракин подсчитывал, сколько у меня в книге лекций («Звезда или хлеб?» 1999) упоминается поэтов еврейского происхождения: Пастернак, Мандельштам, Парнок, Ходасевич, Галич, Бродский... Нашёл, что непозволительно много: на одно-два имени больше русских. Непорядок! Да, его бы воля – он бы всех их запретил, «инородцев», чтоб не засоряли собой «русью» чистоту патриотизма).

Из статьи Б.Глубокова о новой книге стихов В.Кремера: «Средствами гротеска Кремер выявляет диссонанс между душой поэта, гражданина России, и промасоненной нечистью: соросятами, ельциноидами, демососами..» (2.05.07). Дальше следуют стихи Кремера, в которых и близко нет ничего подобного. Такой же фокус Глубоков провернул и со стихами Н.Ивлиева, В.Андрюнина и многих других авторов, которым он приписывает свои патологические идеи и шовинистические пристрастия.

В начале мая в Саратове прошла акция молодёжи: покраска заборов, закрашивание всяких экстремистских лозунгов. На заборах, на стенах покрасили, а в душах, в мозгах? Кто покрасит «Земское обозрение» – «Туземское оборзение», как его окрестили в народе?

После каждого номера хочется вымыть руки. Зачем читаю? А вот для того и читаю, чтобы предъявить вам, чтобы поняли наконец и ужаснулись, какая мерзость насаждается в нашем городе. Невольно напрашивается вопрос: куда смотрит интеллигенция, культурная элита Саратова? Почему молчит?

А она не молчит. Вот что пишет в очередном номере «Земского обозрения» профессор кафедры социальных коммуникаций, кандидат наук (в прошлом – преподаватель исторического материализма), автор нескольких поэтических сборников Т.П.Фокина о том же Б.Глубокове в любезно предоставленном им ей для этого «подвале», в статье под аршинным заголовком «Приносящий культуру»: «Если говорить о Борисе Глубокове, то он представляется мне, прежде всего, культуртрегером: и несущим культуру, и являющимся её яркой, своеобразной составляющей. Моё знакомство с ним – достаточно давнее. В 1998 году Борис был первым, кто заметил мои поэтические опыты и дал им достаточно благосклонную оценку в печати. Он и сейчас следит за моим творчеством и весьма строг к нему...» (О поэтических опытах самого Глубокова можете прочесть в моём памфлете «Эксперименты и экскременты» в книге «Ангелы ада», 2004). «Но главное, что позволяет назвать Бориса культуртрегером – это его любовь ко всем мало-мальски талантливым людям и стремление помочь им состояться, оказаться «на свету», войти в круг саратовской культуры, сохраниться в памяти, с почётом отойти в мир иной и т.д. Борис как журналист и организатор неутомим и, как сейчас говорят, креативен. Он всегда в новых задумках и новых хлопотах. И чаще всего не о себе, а о других. Вернее, о другом, о Культуре!» (18.01.06).

Да, вот это панегирик. И о ком?! О безграмотном журналисте, авторе невразумительных статей, горе-поэте, обожающем Сталина и зоологически ненавидящем евреев, не пропускающем ни одного номера, чтобы не подбросить хоть малую искру в костёр национальной розни. Bravo, Тамара Петровна. Вы воспитали достойную смену.

Предвижу праведное возмущение Глубокова: «Я?! Да никогда! Да у меня друзья-евреи...». У каждого антисемита есть про запас, в качестве алиби на Страшном суде, приятель-еврей. Но это не меняет дела.

Ко всем этим выпадам и нападкам Б.Глубокова читатели уже привыкли и не реагировали. А зря. Не так уж это безобидно. Сон разума рождает чудовищ. В номере газеты от 20 июня 2007 года дописались до того, что стали защи-

щать убийц лишь на том основании, что они «славянской наружности». Вернее, возмущались, что убийцами зарезанного «инородца» назвали именно их. Вы только вчитайтесь в эти кощунственные строки: «Тут, главное, не перепутать: когда убивают Таджикскую Девочку (орфография автора), и начинаются крики о русском фашизме – это никакую рознь не сеет. Или когда убивают еврейского студента – и раввин Берл-Лазар требует немедленно найти и обезвредить проклятых русских националистов – возьми с полки пирожок. А вот если вам придёт в голову такая откровенная глупость, что «кавказцы», видите ли, «зарезали русских парней» – статья 282 не дремлет».

Эта статья по «Земскому обозрению» плачет уже давно. Ну как объяснить этим людям, что у бандитов, убийц, преступников не бывает национальности! В ответ на упрёк Лукина Сухарев с вызовом заявляет: «Да, мы сообщаем о национальности преступников, как бы это ни нравилось В.П.Лукину, потому что в криминологии национальность, возраст, пол, профессия, образование преступника со времён Ломброзо, Топинарда и Гарофало – существенные характеристики для уяснения этиологии и методов борьбы с преступностью. Почему кто-то желает скрывать эту важную информацию от граждан?» Видимо, понимая неубедительность своих оправданий, Сухарев обрушивает своё раздражение на Лукина, – ты, дескать, правозащитник, ну и защищай, чего суёшься не в своё дело?

«Владимир Лукин изобрёл новый метод правозащитной деятельности: вместо защиты граждан от государства, наоборот, натравил государство на газеты! Странный какой-то защитник». Странные редактора работают в саратовских газетах, – сказала бы я. Взрыв в синагоге 7 мая – одно из следствий проводимой ими политики.

Когда я победила на Международном конкурсе поэзии «Пушкинская лира», заняв 2 место, мне вспомнилось пророчество И.Малохаткина 1995 года, когда он, отвечая на мои строки о родине

Всю тебя изграбили,
но, и обвиняя,
на луну Израиля
я не променяю, –

писал: «Обмен на Израиль не состоялся – наверное, из-за малости луны Израиля. А вот на американскую луну обмен бы произошёл» («Саратовская мэрия» 14.04.95). Я, помню, тогда ответила ему пародийными стихами в своей книге

«Публичная профессия», в эссе «Люблю я критиков моих»:

Родину едва не променяла
на Израиль, хоть его луна
по сравненью с нашей весит мало,
там не больше шекеля она.

В США она поболее будет всё же.
Если так прикинуть на зубок –
то на доллар там луна похожа...
Но я чист душою, видит Бог!

Необъятна – не окинешь оком –
русская луна, я в том клянусь!
И за это верно и глубоко
я тебя люблю, родная Русь.

– Вот она, американская луна! – подумала я, получив из Нью-Йорка сертификат международного общества пушкинистов. Правду говорят – пророчества поэтов сбываются. Кстати, о Малохаткине и о его патриотизме очень смешно пишет Игорь Ефимов в своей книге о Бродском «Нобелевский тунеядец» (Захаров. Москва 2005). Оказывается, известный издатель, друг Бродского и С.Довлатова, И.Ефимов учился когда-то вместе с И.Малохаткиным на литературных курсах и жил с ним в одном общежитии. Жизнь студентов была довольно бурной и насыщенной событиями, то есть пьянками, драками, разборками, в том числе и на национальной почве. Об одной из них Ефимов повествует на страницах 64-65:

«Человек десять беспорядочно махали руками, хватили друг друга, материли, давили, падали, отползали, вскакивали и снова кидались в свалку. Бывший взрывник, а ныне саратовский поэт Малохаткин, отсидевший в лагере за то, что взорвал своего начальника, порывался покончить раз и навсегда с казахским поэтом Файзуло Хабибуло за проявленную тем неблагодарность, за недооценку влияния русской культуры. («Мы вас, дикарей, ложку учили держать, а вы, суки-падлы...»). За неимением взрывчатки он махал пудовыми кулаками, расшвыривал тех, кто пытался остановить его. Я прыгнул на него сзади, вцепился в локти, потащил прочь. Хабибуло бился в руках армянского поэта Саакяна, пытаюсь дорваться до горла своего врага. Откуда-то выпрыгнула Тамара и вцепилась Саакяну в волосы. Мелькнуло минутное изумление: «Почему на Саакяна? Она же должна быть за своего собутыльника, за Малохаткина, против Хабибуло?» Но ещё через минуту я понял: она была против тех, кто разнимал.

Не выпуская дёргающегося Малохаткина (у него уже был разбит нос, и, кажется, он не очень рвался продолжать драку), я зарычал и...». Обрываю цитату на самом интересном месте и отсылаю любопытствующих к книге. В другом месте там упоминается Малохаткин уже в более спокойном контексте как сидящий тихо на лекции о Пушкине. Лекция была так хороша, что «даже Малохаткин и Хабибуло забыли свои историко-национальные распри и сидели тихо». Жаль только, ненадолго. Перечитывая фразу Малохаткина: «Мы вас, дикарей, ложку учили держать», я вспомнила фильм Э.Рязанова «Небеса обетованные», тот эпизод, когда герой В.Невинного, задуренный идеями общества «Память», разъярённый, распаренный, с огромной толстой ряхой во весь экран, тыча пальцем в маленького скорбного еврея Карцева со скрипочкой, вопил: «Они убили нашу культуру!!!» Всё это было бы смешно, когда бы не было так гнусно.

Просматривая саратовскую прессу, находишь массу примеров подобной русофрении, приобретающей уже в известных кругах, «близких к писательским», характер эпидемии. Особенно позабавила меня заметка в «Богатее», где рассказывалось о судебном процессе между двумя саратовскими национал-патриотами В.Сосниным (в своё время осуждённым за «разжигание межнациональной розни») и А.Зазыбиным, его общественным защитником. Соснин, будучи в тюрьме, написал доверенность Зазыбину на своё имущество, а вернувшись, обнаружил в квартире пропажу редких книг, одной из коллекций и крупной суммы денег. Зазыбин, оказывается, засчитал себе всё это в качестве гонорара, с чем Соснин не согласился. Казалось бы, обычная, говоря эковским языком, «бытовуха», распря на тему «вор у вора дубинку украл». Но нет. Дело получило политическую окраску, так как, цитирую: «в качестве подоплёки данного конфликта каждая из сторон видит связи оппонента с евреями. В одном случае речь идёт о «еврейских корнях» в родословной, в другой – о тайной финансовой поддержке «патриотической деятельности оппонента». Одним словом, если в кране нет воды...

А вот ещё смешнее. «Земское обозрение» вдруг решило усомниться в происхождении Александра Пушкина. Ну не могут они примириться с тем, что у «нашего всего» – нерусские корни! И начинают копать: «Тревожит однобокое изучение родословной А.С.Пушкина, где выделяется более всего генеалогическое древо по линии матери... Для широкой общественности малоизвестна линия отца... Также не изу-

ченным остаётся вопрос отцовства Осипа Абрамовича Ганнибала. Существуют письма, в которых Ганнибал доказывал Императрице и Сенату, что Надежда – НЕ ЕГО ДОЧЬ (орфография автора). Как говорят в народе, – только женщина знает, от кого родила...» (22.06.05).

Бедный Пушкин. «Земское обозрение» предпочло бы видеть его скорей незаконнорожденным, но со «славянским типом лица», который у него якобы был в действительности, нежели «ненашим» потомком. Вспоминается, как Пушкин жаловался Дельвигу: «Бывало, что ни напишу – всё для иных не Русью пахнет...».

Неловко напоминать этим людям общеизвестные истины: русская литература – понятие не национальное, а сверх-национальное, не этническое, а полиэтническое, не племенное, а кафолическое. Великие писатели России несут в генах вселенское взаимодействие: Толстой, Блок, Цветаева знали о своих немецких корнях, Достоевский – о литовских, Пушкин – об эфиопских, Державин – о монгольских, Жуковский – о турецких, Лермонтов – о шотландских, Тютчев – об итальянских, Некрасов – о польских, Ахматова – о татарских... Суть, смысл, пафос русской культуры выше национальных перегородок. Этого никак не могут понять и принять наши русофрены. П.Вяземский писал: «У многих любовь к Отечеству заключается в ненависти ко всему иностранному». Патриотизм «Земского обозрения» – именно тот случай. А между тем Е.Евтушенко в своём знаменитом «Бабьем яре» писал:

О русский мой народ! Я знаю, ты –
по сущности, интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.
Как подло, что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!

Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.

Но произойдёт ли это когда-нибудь в России? Сомневаюсь. Пока любовь к Родине будет восприниматься через призму шовинизма, пока под видом национального самосознания, поисков русских корней будут проповедоваться расистские взгляды, пока культурой будут ведать такие как Су-

харев и Глубоков, пока будут процветать и бесчинствовать черносотенные газеты, а народ – безмолвствовать, а интеллигенция – потакать...

Не так давно я получила письмо от одного заключённого колонии строгого режима. Он пишет, что когда они готовились к встрече со мной и репетировали стихи из моей книги, у них возник спор, как их читать: «Мы поспорили о том, как следует читать последнюю строку третьего столбца. Я читал её с сарказмом, а мои оппоненты – с пафосом:

Некогда бескрайняя, безбрежная,
а теперь сужаются края.
Бедная, безбожная и грешная,
родина кромешная моя.

Говорят, кишишь ты инородцами,
сбилася с особого пути,
наводнилась Галичами, Бродскими,
так что даже вброд не перейти.

Самое последнее прибежище
для того, кто пьёт и кто убьёт.
Пусть для заграницы ты посмешище,
а для нас – держава и оплот.

Боль незаживающая, мутная
и ежеминутная в груди.
Родина, беспутная, валютная,
ты за всё, за всё меня прости.

Вы правы, говоря: «И то, что я сказать хотела, вы понимаете не так». Крепко живёт в людях великодержавное... Невольно вспомнишь Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающая ложь».

Пушкина мой эпистолярный собеседник слегка переврал, но стихи мои о родине понял верно, – ну разумеется, с сарказмом! – ответила я ему. На бумаге интонацию передать трудно. Я даже изъяла потом эту строфу из стихотворения именно из опасения, что строки об «инородцах», о «державе и оплоте» могут понять «не так», то есть вне их саркастического смысла. А так, как, скажем, у Куракина: «Москва, Москва, столица россов, погрязла в инородстве ты!» Хороший скинхед из него бы получился, будь помоложе. А ещё раньше – член общества «Память», где свято блюли чистоту родословных. Квасной патриотизм по Куракину:

Счастливый, словно дар Валдая,
сижу, в зубах я ковыряю.
Промеж зубов застряла масса –

из русских щей говяжье мясо!

Как же можно выковыривать – ведь русское же! Это ж святое.

В своей давней заметке «Русские идут» («Ангелы ада» 2004) я прошла по поводу неумеренного употребления этого слова в названиях книг саратовских авторов («Русский вопрос», «Русский день», «Русский бал», «Русское небо»). Надо ли объяснять, что патриотизм не измеряется количеством употребления слова «русский» на единицу текста, которое в ином контексте звучит неуместно, нелепо, смешно: «Я сын отца, я русский слишком», «небо тревожное, русье», «славянское небо – не знаю бездонней», «почему эскалоп и лангет не заменят мне русский обед» и т.д.

В одном из интервью Инна Лиснянская вспоминала о своём детстве, о том, как приехала в пионерский санаторий, и там был начальник, который всё время говорил: «Вы не просто дети, а вы – наши, советские дети. Вы едите не просто капусту, вы едите нашу, советскую капусту. Вы нарушаете не просто тишину, а нашу, советскую тишину». Кто-то написал слово из трёх букв в уборной, и начальник сказал на митинге: «Дети, вы портите не просто уборную, а нашу, советскую уборную». И тогда из шеренги вышел мальчик: «Дядя, Вы не просто идиот, Вы наш, советский идиот!» Устами младенца... Поставь вместо «советский» – «русский» – суть от этого не изменится. Здесь точно такая же история. Только тот дядя говорил те слова от избытка патриотического идиотизма, а эти квазирусские писатели – чаще всего из прагматического расчёта: вступить в Союз, напечататься в альманахе, – это слово для «СП-шников» как пароль – свой, дескать, пустите. Как «Сезам, откройся».

Булат Окуджава говорил, что считает свои произведения частью русской культуры, но это вовсе не значит, что он относит себя к числу тех, кто убежден, будто русская культура превосходит другие. Такие взгляды он никогда не принимал. Его патриотизм – камерный, негромкий:

Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,
а нежный взгляд, а поцелуй – любви сладкое коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём.

Одно время Окуджава дружил со Станиславом Куняевым, но когда однажды за границей в среде бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменях в журнале «Наш современник» и о том, как благотворно сказались на его литературно-философском уровне мудрое

руководство нового главного редактора Куняева, Булат опешил: «Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все бандиты!»

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили —
два праведных знака в судьбе.
Когда же он стал «патриотом»
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло — смешался с толпой.

К так называемым «национал-патриотам» Окуджава относился с большой настороженностью и недоверием. Как-то, отложив просмотренные номера российских газет, он заметил: «Кошка — тоже патриот. Это же в конце концов биологическая особенность — «русский». Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?» Патриотизм Окуджавы — не казённый, не государственный, — личный, человеческий.

Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок.
Я отверженных вдоволь встречал, я встречал победителей.
Но люблю не столицу, а Пески, Таганку, Шипок,
и люблю не народ, а отдельных его представителей.

В.Фрумкин вспоминал, как они прощались с Булатом перед его отъездом в эмиграцию в 74-м: «У меня была с собой моя убогая шестиструнная советская гитара, на которой Булат начертал: «Родина, к сожалению, везде». Надпись загадочна и многозначна, как и его лирика. Вначале я воспринял её как грустный намёк на то, что человек слишком уж легко привыкает к новым местам и забывает о местах родных. Много позже понял, кажется, истинный смысл булатовского напутствия: от России не скроешься, не убежишь, так и останется она с тобой, в тебе...».

Ничего, что поздняя поверка.
Всё, что заработал, то твоё.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про неё.

А А.Городницкий вспоминал, как Окуджава рассказал ему однажды кавказскую притчу о существовании патриотизма: «Пришли к сороке и спросили, что такое родина? «Ну как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое родина. «Не знаю, — сказал волк, — я об этом не думал». А потом взяли обоих,

посадили в клетки и увезли далеко. И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну как же, – ответила сорока, – это родные леса, поля, горы...». Пришли к волку, а волка уже нет – сдох от тоски».

Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слёзы лью,
что я люблю отчизну бедную
как маму бедную мою.

Истинный патриотизм – некликлив, ненавязчив. Это целомудренное чувство. Им не размахивают, как флагом на демонстрации. Подобно поэту Роману Тягунову, сказавшему: «Я никогда не напишу о том, как я люблю Россию», Борис Рыжий писал:

Как некий, скажем, гойевский урод
красавице в любви признаться, рот
закрыв рукой, не может, только пот
лоб леденит, до дрожи рук и ног
я это чувство выразить не мог,
ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
ладонь прижав к лохматой голове,
о страшном нашем думаю родстве.
И говорю: люблю тебя, да, да! –
до самых слёз, и нет уже стыда,
что некрасив, ведь ты идёшь туда,
где боль и мрак, где илистое дно,
где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем – всё одно.

Вот это истинное чувство любви к родине. Что у него общего с напыщенным краснобайством Куракина: «Ты ещё нужен России – взвихривать вёрсты дорог!»? И так уже напылил достаточно.

Е.Мартынова разразилась огромной статьёй в «Деловой газете» во славу куракинского гения «На просторах русского вопроса», которую потом продублировала в «Литературной России», значительно расширив за счёт поношения Кравченко. (Одна колонка – о Куракине, и три – обо мне). Начинается она пафосно и проникновенно: «Ценность патриотического начала... видится мне неоспоримой. Ведь патриотизм – это тоже талант, по нынешним временам редкий. Вроде бы и спорить не о чем. С талантом не спорят. Его признают. Ан нет... Вышедшая в минувшем году книга Николая Куракина «Русский вопрос» («Саратовский писатель»

2004) вызвала бурю в супротивном лагере».

Вся «буря» – это мой памфлет о стихах Куракина «Бредит сивая кобыла» (у страха глаза велики). Не буду повторяться – я уже всё сказала, что думаю об этих велеречивых виршах. Но вот только один примерчик: строки, над которыми проливает слёзы умиления Е.Мартынова, можно сказать, программные строки Куракина, увековеченные в патриотической песне:

Я иду по Руси.	
Отыщу ли тот дом деревенский?	(Давно, стало быть,
Воспалённая память	не был на родине –
давно и надсадно болит.	Н.К.)
И раскрывши глаза	
всякий раз как-то очень по-детски,	
тут и там узнаю мне родные черты.	

Как хотите, но я не могу удержаться от смеха над этой фразой: «и раскрывши глаза всякий раз как-то очень по-детски...». Так и видишь этого калику перехожего, одним глазом восторженно обзирающего родные просторы, а другим – не забывающим при этом украдкой смотреться в карманное зеркальце: «очень по-детски я раскрыл глаза на этот раз или не очень, ах ты, мордашка этакий!» У Куракина, впрочем, это фирменное, – о чём бы он ни писал, о любви к Родине ли, к женщине ли, на кого бы и на что бы он ни смотрел – он во всём видит себя, любимого: «Гляжусь я в твой профиль ахматовский», «и в светлый глянец локонов гляжусь я зачарованно»... Одним словом, «гляжусь в тебя, как в зеркало» (привет певцу Ю.Антонову).

Верная сподвижница и ученица Куракина Е.Мартынова рьяно бросается на защиту любимого учителя от моих насмешек. Лучшая оборона, как известно – нападение.

«Гражданское начало поэзии Н.Куракина встречает у Кравченко решительный отпор. Оказывается, пугают её исконные русские ценности. Та самая триада «Соборность. Православие. Народность» вызывает у критикессы прямо-таки припадок оскорбительного сарказма. Главное для неё – камня на камне не оставить от патриотической поэзии».

Термин «патриотическая» для Мартыновой – прямо охранная грамота какая-то, фетиш, священная корова. А что, «патриотическая» поэзия не может быть бездарной? А вот Михаил Кульчицкий писал: «Я б запретил декретом Совнаркома писать о Родине бездарные стихи». Да не русскую нацию я высмеиваю, а безграмотных виршеплётов, не Россию

я ненавижу, а антисемитов и националистов. Это далеко не одно и то же.

Уважаемые профессиональные патриоты Саратова, бряцающие этим словом на каждом шагу, как шпагой, теперь вот добившиеся своего официального праздника «День патриота» 31 июля, на котором опять будете произносить слова, слова, слова... А где же ваши дела? А что вы сделали для своего города? Для тех людей, которые в нём живут или жили когда-то? Кому помогли, кого поддержали? В чём на деле проявляется ваш хваленый патриотизм? Давно ли вы были – и были ли вообще когда-нибудь – на могиле вдовы великого русского поэта Н. Некрасова, которая находится на Воскресенском кладбище в самом плачевном состоянии? Я звонила в музей Чернышевского – там открестились: мы не ухаживаем, не должны. А мне казалось, что именно этому музею логично было бы позаботиться о могиле вдовы («жены и друга Некрасова», как значится на табличке) поэта, который всегда помогал жене, а потом вдове Чернышевского, всю жизнь слал ей деньги, поддерживал его семью. Может быть, это должно стать заботой местного Союза писателей? Куда там. «Для этого нужны средства». Да руки нужны всего-навсего. И совесть. И часа три свободного времени – оторвать его от выпивки на благое дело. На словах-то легче родину любить.

А могли бы – хоть раз в месяц! – проводить творческие вечера поэтов в своём просторном помещении. Да не для собственного развлечения, с банкетом в конце, а для всех саратовцев, с объявлениями в прессе. Чтобы каждый имел шанс показать людям своё творчество. А слушатели – любители поэзии, а не ангажированное жюри – могли бы сами для себя решить, кто действительно поэт, а кто лишь патриот. Ведь есть очень талантливые авторы – и я знаю их, – которые к своему несчастью – или счастью – не входят в тусовки Амусина, Александрова, Куракина, в число друзей Макеевой и Ёлшиной, и потому им никогда не пробиться ни на сцену, ни на страницы альманахов, ни в местный эфир. А может быть, они-то как раз и составят гордость русской культуры. Дайте им эту возможность – хотя бы раз в году! Вот это и было бы патриотическое дело.

Пишу и сама понимаю тщетность и наивность своих слов.

Россию любит – кто ей служит,
кто за неё пойдёт на плаху,
а не позёр, что бьёт баклуши
и рвёт у ворота рубаху.

Бродский в одном из интервью сказал: «Я всегда полагал, что человеческое существо должно определять себя в первую очередь не этнически, не расой, не религией, не мировоззрением, не гражданством и не географической ситуацией, но, прежде всего, спрашивая себя: «Щедр ли я? Лгун ли я?»

Ещё Н.Карамзин писал: «Всё народное ничто перед человеческим. Главное дело – быть людьми, а не славянами».

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

Возглавляет А.В.Россошанский государственную телерадиокомпанию, но возглавляет с такой непринуждённостью, как свою личную... В общем, как известно, «государство – это я». Так вот и происходит конвертизация государственных ресурсов в частные интересы.

«Саратовская панорама» 8.08.07.

В моей «Тетради отзывов», которую я завела в областной библиотеке с 1995 года, встречаются такие записи:

«Очень устал от бездуховного телевидения, дурацкой рекламы, какого-то оскотинивания вокруг. Но безмерно счастлив, что есть возможность посещать лекции Кравченко. Большое спасибо. Это очень нужное важное дело.

Семёнов А.М».

«Считаем, что поэту нужно шире предоставлять телерадиоаудиторию для расширения круга слушателей.

Симонова, Скотникова».

«Можно ли надеяться, что этот или подобный цикл будет издан или дополнительно показан по ТВ?

(Подпись)».

Я отвечала людям, что все эти вопросы, апелляции – не ко мне, что их следует отправлять по соответствующим адресам, откуда их уже – продолжала мысленно – направят по хорошо всем известному адресу.

Моё противостояние с этими структурами длится уже давно. Когда это всё началось? Пожалуй, с 1993 года, когда Кашкин посоветовал по селектору Елшиной, чтобы та «осветила» мою победу на областном конкурсе поэзии, дала репортаж о презентации моего первого сборника в библиотеке. Почему-то это распоряжение её взбесило. Они умудрились в той передаче не назвать ни моей фамилии (люди потом зво-

нили, спрашивали: а чьи это стихи читали артисты?), ни библиотеки на Зарубина, где это происходило (там страшно обиделись – ведь готовились, сценарий писали), не задать ни одного вопроса по существу, всё сведя к женской теме 8 марта.

В 1995-м году мою передачу о Софии Парнок – уже записанную – вообще хотели запретить («наш народ ещё до этого не созрел», – заявила Ёлшина), даже возродили худсовет ради такого дела, и хотя мне удалось её тогда отстоять, но время выхода поставили на полпервого ночи, чего в истории саратовского телевидения ещё не случалось, и её мало кто увидел. А когда люди звонили на другой день и просили повторить передачу в более удобное время, Ёлшина злорадно сообщала, что её «уже стёрли». Вот так они стремились все эти годы стереть каждый мой след в культурной жизни Саратова, уничтожить малейшую память о нём. У Феликса Кривина есть такая сказка: мелок всё пытался что-то объяснить тряпке, написать, а тряпка всё его стирала, стирала...

Когда в Доме учёных в 1996-м проходила презентация моего «Сокровенного» с участием студентов театрального факультета, певцов, бардов, и концертный зал с трудом вместил всех пришедших на этот вечер, Ёлшина с Зориной отказались прислать съёмочную группу в ответ на приглашение администрации: «Мы выезжаем только по экстраординарным поводам». Хотя таких презентаций ещё не было в Саратове, о ней писали во многих газетах.

Особенно «обострилась» ненависть власть предержащих ГТРК после моего «открытого письма» С.Утцу, опубликованного в книге «По горячим следам» (2003) под названием «Как я не стала телеведущей». Вместо того, чтобы на планёрке обсудить его, попытаться понять, почему же «проект осуществить не представляется возможным», как это изящно сформулировал мне Нагибин, или, вернее, по чьей вине он был сорван, они предпочли в отместку выдать мне волчий билет на всю оставшуюся жизнь. Остракизму подвергалось всё: мои новые циклы лекций, победы на Международном конкурсе, даже творческие успехи других людей, если они каким-то образом были связаны со мной.

После вечеров в библиотеке ко мне подходили люди, потрясённые услышанным: «Боже мой, и это у нас, в провинции! Да Вам надо в Москву!» Приходили на костылях, со слуховыми аппаратами, с маленькими детьми, приезжали из Энгельса, Балаково, Ершова, Калининска, Волгограда. Снимали на пленку, на видео, конспектировали. Одна женщина была из другого города, у неё был билет на вечерний поезд,

и она в оставшиеся два часа зашла «на огонёк», а потом восторженно говорила библиотекарям: «Какие же вы счастливые, что можете это слышать постоянно! Я расскажу всем в Перми о ваших прекрасных вечерах!»

Знали бы эти люди, что в Саратове эти вечера упорно – до неприличия – замалчиваются, игнорируются, преследуются, очерняются... Вот уже 20 лет. Юбилей отмечать можно.

У меня более ста тем лекций, которые я разрабатывала более 20 лет. Золотой век, серебряный, средневековье, современность, зарубежье, забытые имена, новые имена, саратовские поэты... Уникальные компьютерные слайды, эксклюзивные факты, редкие музыкальные записи, фонограммы мастеров искусств, выступления «вживую» артистов, бардов. Надо ли объяснять, какой это титанический труд.

Если я рассказала о каком-то поэте и кто-то на этот вечер не смог попасть, то повторить я его смогу лишь через 5-6 лет (за это время лекция уже обрастает новым материалом), раньше просто очередь не дойдёт. То есть одну лекцию я могу прочитать лишь раз в 5-6 лет, в то время как другие лекторы каждую лекцию читают по 5-6 раз в разных библиотеках, музеях, культурных центрах, с объявлениями в прессе, по радио, ТВ и с соответствующей оплатой в каждом месте. Мне этот путь заказан. В объявлениях даже на этот единственный вечер – как бы уникален он ни был – мне отказано. Многие люди до сих пор не знают об этих вечерах, их лишают этой информационной возможности. Лишают методично, старательно, целеустремлённо. Это при том, что вход на мои вечера все эти 20 лет – свободный, и объявления на них, как на все мероприятия культуры, должны даваться бесплатно. Когда я об этом рассказываю – люди недоумевают, не верят. Ну как же так?! Не может быть! А вот так. Может. У нас всё может.

Дело не в обиде, не в желании славы, заслуженной известности. Но скольких людей они лишили возможности услышать прекрасное, узнать новое, у скольких отняли этот ни с чем не сравнимый праздник души!

Одна моя горячая поклонница, купив книги в магазине, разыскала мой телефон и долго взволнованно кричала в трубку о родстве душ, о счастье понимания, о радости открытий. Она не могла и не хотела примириться с негативным отношением ко мне и к моей деятельности властей. И первое, что сделала – отправилась в народную приёмную ГТРК, где с наивностью андерсеновского мальчика допыты-

валась, почему они чинят препятствия таким замечательным лекциям, не хотят оповещать людей об их проведении, не говоря уже о том, чтобы их пропагандировать и освещать?

Косович, подумав, выдал: «Характер у неё плохой. Маленькая, но настырная». Я удивилась, узнав такую «причину», так как этого Косовича никогда в глаза не видела, а разговаривала только по телефону, если можно назвать разговором диктовку объявлений. Да, приходилось проявлять настойчивость, звонить несколько раз, когда они не выполняли своих обещаний, а как иначе? Я привыкла доводить дело до конца.

Косович признался ей, что они «забыть не могут, как им Кашкин руки выкручивал», то есть заставлял когда-то передавать объявления о моих вечерах. Надо знать Кашкина – это шепетильнейший в таких вопросах человек. Он попросил у меня тогда официальную бумагу – письмо от директора библиотеки, и только после этого вызвал подчинённых, велел им «помочь в этом благородном деле». И вот этого они, оказывается, не могут мне «простить» с 1995 года (года смерти Кашкина). Не могут простить моего – такого долгого – существования в культурной жизни города, несмотря на все их старания.

«Если бы ко мне попало это объявление, – заявила Липатова, – я бы, конечно, его не дала». «Но почему?!» – надрывалась моя сподвижница. А по кочану. «Не даёт ответа», – как писал Гоголь. Охота на ведьм. Запрет на профессию. Как это может быть в наше время – не Лапиных, не Романовых? Ещё как может.

С этой Липатовой у меня позже всё-таки состоялся разговор. Было это так.

За два дня до лекции я позвонила Грачёву и попросила записать объявление. (Бравший у меня накануне интервью Голубь обещал, что они будут беспрепятственно их давать). Грачёву же лень было записывать, он всячески давал понять, что занят, что у него срочное дело, просил перезвонить, но в назначенный час исчезал, прятался, и выручавшая его Сальникова объявляла мне, что он «вышел». Так продолжалось раз десять на дню. Это уже походило на издевательство. Наконец терпение моё лопнуло, и я с металлом в голосе настояла, чтобы он в конце концов записал объявление. Грачёв нехотя подчинился, хотя даже по телефону чувствовалось, как его от этого корёжит.

На другой день слушаю радио: идёт блок новостей, где-то в середине – моё. Потом этот блок должен повторяться три раза. Но во время повтора я вдруг обнаруживаю, что моё

объявление исчезло. Другие мероприятия в нашей библиотеке перечисляются – гораздо менее значимые – собрание садоводов, например, а информация о вечере изъята. Ну ладно бы, если б добавились какие-то более срочные новости, так нет, минуты три после этого звучала музыка. За это время объявление могло бы прозвучать по меньшей мере трижды.

Я звоню Грачёву, чтобы потребовать объяснений – ведь и ему ясно, что это сделано намеренно! – но он, как всегда, прячется за спину Сальниковой. Та начинает мне вешать лапшу, что «объявления платные».

– Это неправда, – говорю я. Устала уже опровергать за 20 лет. – Объявления на культуру всегда бесплатны. И Вы это знаете.

– Да, но у нас приоритет коммерческих объявлений, мы должны давать в первую очередь их.

– У вас не было в этом выпуске никаких новых объявлений, всё повторялось один в один. И только моё объявление почему-то надо было вымарать. У вас потом музыка 3 минуты звучала! Ведь сколько людей могли услышать и прийти, а вы...

– Звоните Липатовой, – отрезала Сальникова. – Она Вам всё объяснит.

Звоню. Хотя ничего хорошего уже не ожидаю. Говорю, что хочу пригласить её на свой вечер, хотя понимаю, что бесполезно.

– Правильно понимаете. У нас много работы. Нам не до поэзии.

– Это я поняла давно. Но... (Пытаюсь объяснить важность этого вечера и объявления на него). Липатова взрывается:

– Сколько я здесь работаю – я только и слышу о Ваших вечерах, только и слышу Вашу фамилию!

Пытаюсь объяснить, что это не мои вечера, то есть вечера не моей поэзии, а тех поэтов-классиков, о которых я рассказываю. Но ей без разницы.

– Эти Ваши ан-о-он-сы-ы! – с какой-то гадливостью в голосе тянет она. Хотя это были всего лишь краткие объявления, а не анонсы, о трехминутных анонсах была моя робкая просьба, пожелание, с которым я обратилась к Голубю, и даже не просьба, а скорее мечта, тотчас встретившая у Липатовой глумливый отклик.

– Вы можете мне объяснить, почему не передать объявление на вечер, если есть лишнее время, если вместо этого долго играет музыка?

– Я Вам отвечу. – И – членораздельно, нагло:

– Не Ва-ше де-ло!

– Значит, вы отказываетесь их передавать? Значит, я должна читать лекции, по-вашему, для пустого зала?

– Присылайте по электронной почте. (Присылали сто раз, они её игнорируют).

– И тогда вы дадите?

– А это уж как получится. Хотим – дадим, хотим – нет.

Но «хотеть» они не хотели. Потом я узнала, что Грачёв накануне пожаловался Липатовой, что я якобы не давала ему работать. Это после того, как он десять раз заставлял его перезванивать! Она просто вынудила меня сказать ей всё, что стояло у горла. И я об этом не жалею. Как гора с плеч.

– Вы ведёте себя безобразно! – гремело в трубке. – Чё-ё-рная неблагодарность! Чё-ё-ёрная!

Я ещё их должна благодарить! На какую «благодарность» они намекают?

Однако после наложенного высочайшей лапой табу на мои вечера я с радостью увидела: залы по-прежнему полны! Вот уже полтора года – при абсолютной информационной блокаде, при полной изоляции – мои лекции собирают до 200 -250 человек. На вечере Бродского в марте некуда было ставить стулья. На вечере Окуджавы не хватило номерков в гардеробе. Очередь выстраивалась от Горького до Московской. Зал ведь не обманешь. Он голосует «ногами». Это не эфир, в который можно безнаказанно говорить что угодно, не зная ответной реакции слушателей, а чуть что – отключая микрофон.

В «Общей газете РУ» (февраль 2007) Липатова хвалится своей передачей «Круговорот», которую они ведут с С.Утцем: «Именно передачи в прямом эфире пользуются особенной популярностью. Например, еженедельная программа «Круговорот»... В ней часто возникают серьёзные дискуссии между авторами-ведущими и нашими слушателями».

Слушала я одну из этих передач, в среду 31 января, где Утц и Липатова рассуждали о самоубийстве. Звонили в основном пенсионеры: ругали власть, высокие цены, жаловались на невозможную жизнь. Техника дискуссий была такова. Звонок. Не успел человек заикнуться, Утц его прерывает: «Как Вас зовут? Сколько Вам лет?» Хотя женщин спрашивать о возрасте, мягко говоря, неэтично. Но тут хитрость: на эфир каждому даётся одна минута, и если звонок неблагоприятный, где ругают власть, Липатова, то эти вопро-

сы тянут время, и после двух-трёх слов человек благополучно отключается от эфира, не успев назвать всех косвенных виновников самоубийств.

Схема: «Я хочу сказать... – Как Вас зовут?», – вкрадчиво, сбивая напор собеседника. Ответив, тот пытается продолжать, но его осаждают вопросом: «Сколько Вам лет?» Да что это, медицинская передача, что ли! (Впрочем, Утц – бывший врач, вспомнила я, – то ли уролог, то ли венеролог). Одна женщина решила перехитрить и с ходу выпалила скороговоркой: «Меня зовут Татьяна Ивановна, мне 56 лет. Я считаю, что власть делает жизнь невыносимой! Выступавший недавно Ипатов говорил неправду... Вы, наверное, сейчас отключите мой телефон, я слишком долго ждала...». Как в воду глядела – телефон отключён.

И вдруг звонит какая-то дама, которая возмущена предыдущими критиковавшими власть звонками: «Те, кто живут трудно – никогда не покончат с собой. Надо быть оптимистом. А эти, которые ненавидят... Почему вы всех ненавидите – весь мир, губернатора, правительство? Всё им нехорошо! Надо начинать с себя. Вы должны учить детей и внуков смирению...» Липатова и Утц чуть ей не рукоплещут.

– Золотые слова! Вот ими бы и закончить передачу...

И телефон ей не отключали минут пять, если не больше. Потрафила. По принципу У-2 («угадать – угодить»). Один пенсионер раздражённо говорит Утцу: «Вы даёте людям сказать два слова и отключаете, а сами говорите уже 27 минут!» Утц: «Извините! Мы за это получаем зарплату. Из расчёта количества слов нам платят деньги. – (Да? – подумала я. А качество слов не учитывается?) – И вообще, это наша передача, куда хотим, туда и повернём.

Они всё хотели «повернуть» к детям, к молодёжи, которые кончают с собой по глупости, от несчастной любви («почитайте их дневники!» – советовал Утц), однако, как назло, звонили одни пенсионеры, винившие отцов города во всём, в том числе и в самоубийствах. Но ведь ведущим не за это «зарплату платят», чтобы губернатора критиковать.

Тут Липатова решила блеснуть эрудицией и вспомнила Цветаеву (видимо, чтобы уйти от щекотливой злобы дня). Её фраза (дословно): «Как она **рвалась в Россию!** Как она любила жизнь! Народ! А вот не дали ей **место нянечки в детском саду** – и покончила с собой». О самоубийстве Цветаевой написаны тома. А Липатовой всё ясно. Оказывается, всё дело было в трудоустройстве. Надо же, как просто ларчик открывался.

Утц: «Я вот не считаю себя человеком с особо крепкими нервами. Но я не представляю себе, что могло бы случиться, чтобы решиться на такое». Не представляет? Что ж, можно позавидовать. Или, скорее, пожалеть...

Какая сложная, тонкая, больная тема. Как надо было бережно готовить такую передачу, подбирать каждый факт, продумывать каждое слово – ведь такая деликатная материя! А не ляпать, что попало, в эфир. Какие там дискуссии! Это напоминало неравный поединок: слушатели хотели сказать, что хотели, а ведущие, пользуясь своими полномочиями, строго следили, чтобы говорили только то, что нужно им. Поединок с уже заученным и оплаченным финалом.

Второй раз моё знакомство с творчеством радиокomпании состоялось в Прощёное воскресенье 18 февраля. С 10 до 11 утра звучала радиопостановка по поэме Е. Грачёва «чего-то там в джунглях или телефонный роман».

Надо сказать, опусы Грачёва частенько звучат в местном эфире (своя рука владыка). Но я как услышу это наигранно-оживлённое: «Сегодня у нас в гостях...». В каких гостях? Логичнее было бы сказать: в хозяевах. Он из этих «гостей» не вылезает. Читает, кажется, даже что-то поёт. Не помню. Но то, что было в это самое Прощёное воскресенье – забыть невозможно. Только в джунглях можно принять такое за поэзию. «Романа» как такового нет – лишь зарифмованные, напичканные молодежным сленгом тары-бары то скучающих подруг, то флиртующих с ними тинейджеров, имитирующие телефонные разговоры. Этим автор значительно облегчил себе задачу – что взять с телефонного трёпа! Какую философскую глубину, каких откровений можно от него ожидать? Поразительная бедность, даже скудость мысли, плоскость, просто какое-то плоскостопие мышления. Примитив в самом своём классическом воплощении. Хотела записать что-нибудь для примера, но вскоре бросила ручку – не записывать же всю «поэму».

«Стихи должны быть многослойными», – говорила Инна Лиснянская. Стихотворение – это пространство, из которого обязательно должен быть экзистенциальный выход, выход к новому, большому смыслу. Отталкиваясь от каких-то конкретных вещей и впечатлений, мы в конце концов переходим на другой, более высокий уровень. У Грачёва этого не происходит. Всё на одном пяточке. Да, сленг он изучил неплохо. Но этого мало, чтобы претендовать на некое художественное слово.

Причём вся эта галиматья была густо оснащена музыкальными и шумовыми эффектами: всамделишными теле-

фонными звонками, какофонией звуков, имитирующей современную музыку века, каждые 6-8 строк жалкого опуса читали актёры, оперативно сменяя друг друга. «Это же сколько денег в эту «постановку» вбухано!» – ужаснулась было я, да спохватилась: что я, это ж все свои читают, они все из одной редакции, то бишь компании, какие счёты между своими.

Каждые 5-10 минут голос корреспондентки Нечаевой (оттуда же) торжественно, чуть ли не ликующе вещал: «Вы слушаете радиопостановку по поэме...» – не давая забыть об этом прискорбном факте ни на минуту. Так когда-то сообщалось о полёте в космос – с такой же дотошной регулярностью.

Сначала я слушала внимательно, но запаса терпения хватило лишь минут на двадцать. Вряд ли кто-то выдержал дольше. Думаю, даже в Прощеное воскресенье такое разбазаривание эфирного времени простить нельзя.

В воскресенье 20 марта с 10-ти до 10.20 утра в местном эфире звучали тёплые поздравления имениннице оператору Нелли Безбородовой. Каждый член редакции спешил отметить: «Дорогая Неличка, поздравляем! Желаем тебе (и – длинный перечень обычных в таких случаях банальностей). За эти 15-20 минут я узнала, что Нелли Безбородова – милая, улыбчивая, добрая, приветливая, что у неё взрослая дочь на мехмате, умница и красавица и т.д. Недоумение постепенно сменялось возмущением. Да что же это такое! Дождитесь обеденного перерыва и говорите обо всём этом своей подруге и сослуживице лично. Почему об этом должен знать весь город?

Дальше вклинился Грачёв (по методу Куракина), замаскировав под поздравление рекламу своих виршей. После дежурных комплиментов последовало: «А как помогла мне Неля, когда озвучивала мою поэму (что-то там – опять не запомнила – в джунглях), дальше – о том, как она ее достойно музыкально оформила (запомнила фразу: «мы вместе с ней ткали это полотно» – ну прямо тебе «Война и мир»!) И не удержался, чтобы не процитировать тут же стишок собственного сочинения.

Всё это двадцатиминутное умилительное воркование в эфире имеет своё точное обозначение: бесстыдное разбазаривание эфирного времени в личных целях. И это при том, что на какой-то жизненно важный вопрос или высказывание людям даётся всего минута, после чего их безжалостно «отключают» на полуслове.

Ещё один постоянный обитатель местного эфира – Н.Куракин. В последнее время он повадился звонить во все программы Н.Макеевой – разумеется, анонимно («инкогнито»), как он любит говорить; помню, собираясь на вечер Кековой, оповещал: «я пойду инкогнито!»), то с целью прославить своих дружков («Муллин – первый поэт губернии!»), – объявлял он ничтоже сумняшеся), то – сквитаться с врагом, то бишь со мной. Злоба настолько застит ему глаза, что он не разбирает, уместно ли в данном случае ниспровержение моего творчества или у передачи всё-таки другая тема?

Передача была о саратовском барде Кириллове, с которым я даже не была знакома. Но, видимо, Куракин спутал его с другим православным бардом С.Ивановым, написавшим когда-то песню на мои стихи «Утоли моя печали» (на них написали музыку и В.Мишле, и П.Старчик), которая имела шумный успех на презентации 1996 года, её несколько раз просили исполнить на бис. Куракин этого не забыл и напустился на ни в чём не повинного Кириллова в прямом эфире: что, дескать, Вы, такой правоверный, можете иметь общего с таким исчадием, как Н.М., пишущая богохульские стихи (тут он процитировал четыре мои строчки «Что там, в этой мёртвой остуди...»), за что я ему весьма благодарна – хоть посредством Куракина радиослушатели смогли их услышать).

Казалось бы, неуместно, не по адресу, не по существу, Кириллов не поймёт, о ком речь, ни сном ни духом, другая бы ведущая осадила злостного мстителя или хотя бы попросила назвать себя. Когда люди слышали бы фамилию Куракина – всем сразу стало бы ясно, чем этот звонок вызван, какими истинными причинами, о его неменяемой ненависти к моей особе знает уже весь город. Но он, обычно громогласно и с удовольствием представлявшийся, читая свои творения, здесь предпочёл остаться «инкогнито», изображая некий «глас народа».

Макеева, разумеется, узнала голос Куракина (он уже десятки раз выступал в её программах), но тоже почему-то не спешила его «выдавать». Она жадно ухватилась за этот звонок и стала подталкивать Кириллова к «правильному» ответу, то есть к осуждению меня. Платят, что ли, Куракину за эти звонки? – подумалось невольно. Наверное, никто не звонит, вот и договорились. Или наоборот, он им платит, чтоб свои личные счёты сводить?

Вспомнилось, как И.Прозорова в ответ на мои отчаянные попытки пробить очередное объявление на вечер клас-

сика, по-дружески посоветовала: «Хотите, чтобы они звучали – найдите спонсора».

– Я?! Должна платить?!

– Ну не я же...

И привела в пример недавний случай: «Пришёл как-то к нам один поэт. Не буду называть его фамилию, но – крайне неприятный, он всем нам здесь очень не понравился. И заявил: «Я – поэт, я хочу читать тут свои стихи!».

– Куракин, что ли?

– Откуда Вы знаете? – растерялась Прозорова.

– Да кто же ещё так себя беззастенчиво рекламирует?

– Так вот редактор и говорит: пусть платит. За выход своих книжек он платит ведь, ну и здесь плати.

– Да, но я не Куракин, и речь не о моих стихах, а о культурной программе для всего города, о циклах просветительских литературно-музыкальных вечеров.

Но им было всё едино. С Куракиным им видимо удалось потом договориться, судя по регулярности его вылазок в эфир.

С этой оплатой ко мне как-то подъехала Г.Шевченко, правда не прямо, а обиняками: не знаю ли я таких поэтов, которые согласились бы на часовую передачу за деньги, поскольку у них всё теперь переходит на коммерческую основу.

– И сколько? – полюбопытствовала я.

– Пять тысяч (то был 2001-2002 год).

Тогда за эту сумму можно было издать солидную книгу. Я усомнилась, что они таких дураков где-нибудь найдут. Но, видимо, нашли.

Так что знайте, уважаемые радиослушатели, если вы слышите в эфире слова о гениальности какого-то саратовского поэта (пусть даже сами стихи этому резко противоречат), то это значит, что поэтом за то хорошо заплачено. А если просто – о хорошем поэте, то заплачено несколько меньше... Может быть, я утрирую, но суть от этого не меняется.

А если всё же все эти Куракины-Мартыновы-Амусины-Грачёвы звучат по саратовскому радио совершенно бесплатно, единственно из любви к их искусству или же сумев понравиться чем-нибудь иным, то в таком случае как понять эти намёки на деньги, с которыми ко мне подъезжали – что, с меня одной их хотели брать, что ли? В виде исключения? Это причём всего лишь за объявления о литературных вечерах. Я представляю, какая была бы заломлена цена, если б я

тоже пожелала почитать свои стихи в эфире, пусть даже победившие на Международном конкурсе «Пушкинская лира» в Нью-Йорке. «Мне-то Ваши стихи давно нравятся», – вздохнула тогда Прозорова, и в её недосказанной фразе ясно читалось всесильное «но», способное перечеркнуть любые слова и фразы.

Вот такая она, тёплая дружественная телерадиокомпания. Радужная и щедрая к своим и сурово-непримиримая к чужим и неплатёжеспособным. Люди обречены смотреть и слушать один и тот же круг «приблизённых». Водораздел между нашими и ненашими настолько глубок, что преодолеет его редкая птица – подстрелят на лету.

Мафия оккупировала всё, в том числе и культуру. Какой ужас у нас выдаётся за творчество бардов по радио – это же невозможно слушать! А прекрасные песни Светланы Лебедевой, которые уже расходятся в дисках по городу (абсолютный слух, божественные мелодии, чудный голос, какая-то внутренняя интеллигентность и благородство всего её облика, – зал взрывается аплодисментами, едва лишь она поднимается на сцену) Макеевой упорно – в течение многих лет! – игнорируются. Она демонстративно не записывала её песен на вечере в корниловской студии, хотя записывала всё остальное. Она отвергла кассету с песнями Лебедевой на мои стихи, которую ей передал по моей просьбе П.Шаров, выбрав из неё лишь крошечный кусочек из песни «Люди с хорошими лицами...». Причём прозвучала она в её передаче как бы о слушателях корниловской литстудии, что неправда, так как эти люди ничем не интересуются, кроме своих виршей, а я писала о людях, любящих большую Поэзию. Как можно было в упор не видеть самородка Лебедеву, предпочитая ей и навязывая слушателям жуткую какофонию Кирилловых и Ляляевых? А очень просто. По причине «связей порочащих», в которых та «замечена». Вот если бы она на стихи Куракина или Амусина писала – тогда другое дело.

Студент I курса саратовской консерватории В.Орлов победил во Всероссийском конкурсе молодых композиторов в Самаре в декабре 2006-го, заняв 2 место с вокальным циклом «Чужая душа» на мои стихи. В Самаре этот цикл звучал по радио, телевидению, у нас же – всё то же молчаливое неприятие всё по той же причине, в которой вслух они никогда не признаются. И будут «отзывать» куда-то камеры, «заболевать» в день съёмок, ссылаться на недостаточную (или, наоборот, излишнюю) «экстраординарность» момента. Это трусливое, но усердное пакостничество (надо называть вещи своими именами!) бывает, надо сказать, весьма изо-

бретательно.

Приведу только два случая. Первый связан с вечером мистики в корниловской литстудии, что был 22 апреля 2003 года. Я туда давно уже не ходила, но Корнилов настойчиво зазывал меня на это занятие, чтобы я прочла там свою поэму «По ту сторону света». Я спросила, что ещё там будет, какая программа. Оказывается, Корнилов хотел посвятить её рассказам и разным мистическим случаям, которые с людьми приключались в жизни. Я представила себе, на какой низкий бытовой уровень всё это будет спущено, и предложила «взять нотой выше»: рассказать о теме мистики в литературе. Корнилов с радостью согласился.

Макеева пришла в студию на занятие, привлечённая темой, не ожидая увидеть там меня. – А почему столько народу? – недоумённо спрашивала она, озираясь вокруг. Народу действительно было раз в пять больше, чем обычно у Корнилова (накануне было объявление по радио). Макеева и мысли не допускала, по-видимому, что все эти люди пришли послушать меня. Если бы она хоть раз за 20 лет явилась на любой мой литературный вечер, то увидела бы не 40-50, как тогда, а 250-300 человек. Но этого не случилось и, думаю, уже не произойдёт. Зато она регулярно посещала тусовки Куракина, видимо, с удовольствием слушая его самоупоённые дифирамбы самому себе и выступления жалкой кучки графоманов. Но это – кол-лек-тив, и это более достойно внимания радиокompании.

Так уж получилось, что практически весь вечер я везла на себе: рассказывала о теме потустороннего мира в произведениях В.Соловьёва, Б.Поплавского, А.Белого, Р.Рильке, М.Цветаевой, И.Тургенева, Ю.Нагибина, В.Ходасевича, И.Бродского, Б.Рыжего. Макеева сидела рядом с выключенным микрофоном, – записывать меня?! Это не входило в планы её начальства. Люди слушали, затаив дыхание, она – со скучающим видом, проявляя нетерпение, когда же умолкнет ненавистная Кравченко и заговорит коллективная масса.

Когда я слушала потом эту передачу по радио, я оценила по достоинству мастерство монтажа наших старых кадров. Да, это надо было суметь. Аплодисменты, которые долго не стихали, восторженные высказывания по поводу моих рассказов и стихов – всё это было сведено на нет. Из поэмы прозвучало лишь две строфы (причём мой голос отчаянно «буратинил»). «Ну, вы уже, наверное, составили себе представление, – подытожила этот отрывок ведущая. – Но! (с

нажимом) были и замечания!». И даёт полностью идиотский вопрос-претензию Зрячкина: «Зачем в поэме целых три эпиграфа?» Эти эпиграфы в своё время резко не понравились Байбузе, и это было его единственное замечание по поводу всей книги, – хочет, мол, свою образованность показать. Но эпиграфы пишутся не для этого, а чтобы прояснить главную мысль, суть произведения, их может быть сколько угодно.

И вот Зрячкин, повторяя слова своего гуру и учителя, задал мне тот же нелепый вопрос, который показался Макеевой достойней внимания слушателей, чем строки поэмы. Я как-то не слишком удачно на него ответила («самому умному философу трудно отвечать на глупые вопросы»), но этот ответ Макеева с готовностью дала с какими-то последующими возражениями Зрячкина («Вы же самодостаточны, зачем Вам эпиграфы?» и тому подобная чушь). Было создано впечатление, что я не поэму читала, не лекцию, а оправдывалась в ответ на взыскательную критику собратьев по перу. «Она Вас похерила», – сказал мне тогда П.Шаров, прослушав передачу. Что ж, в этом их творчество, их маленькие творческие радости. Успеха им в их нелёгком неблагодарном труде.

Ещё случай. 3 декабря 2006 года – юбилей Дома книги (70 лет). Меня приглашают выступить перед покупателями и – поскольку мои книги на I месте по рейтингу продаж на «Саратовском» стенде – дают не 15 минут, как всем, а 30-40. Мы пришли с Лебедевой, чуть опоздали.

– Там уж Вас Ваши поклонницы дожидаются, – говорили продавцы, ставя стулья самым стареньким. После нашего выступления раскупают мои книги, подходят за автографами.

– А в каком сборнике стихотворение о маме? Я своей дочке подарю.

– А в каком про чебуречную? Мне понравилось...

И вот показывает ТВ. Книг моих на стенде, которые занимают почти всю верхнюю полку – нет. И вообще этого стенда вблизи не показывают, потому что трудно, наверное, чисто технически при этом «замазать» мои книги. Поёт Лебедева «Люди с хорошими лицами...» (дали буквально полкуплета). Я, которая рядом сижу, старательно вырезана, хотя выступали мы вместе, я читала, она пела. А перед этим Мартынову и Муллина показывают вдвоём за столом на сцене, как сиамских близнецов (читали, что ли в унисон, как сестры Цветаевы?).

Нашу композицию снимали, подходили с блокнотами, уточняли фамилии, но Там Наверху им объяснили, что к че-

му, и ничего Этого в эфир не просочилось, за исключением крошечного кусочка песни (без объявления имён авторов и исполнителей). Да и то лишь потому, что уж очень соблазнительно было закончить словами: «люди с хорошими лицами», якобы это те, кто приходит в книжный магазин. Они не учли, что песню эту знает уже пол-Саратова, что мы уже несколько лет заканчиваем ею каждый творческий вечер, что она расходуется в кассетах по городу (люди переписывают друг у друга), что её уже разучили и распевают в колонии строгого режима и поют на концертах самодеятельности, что она опубликована в нескольких моих сборниках, разошлась по полкам библиотек и книжных магазинов. И очень многие в Саратове знают, чьи это стихи и кому они в действительности посвящены. Вот этого руководители телерадиокомпаний не учли, иначе они не дали бы и этого фрагментика песни, связанного для них с моим одиозным именем. Мне звонили тогда многие мои слушатели и спрашивали:

– Слышали, Ваша песня звучала?

И недоумевали, почему не показали при этом меня, сидевшую рядом. Но разве объяснишь это нормальным людям? Как они не устанут – столько лет! – отслеживать, вымарывать, вытравлять... Или это уже вошло в привычку, в условный рефлекс, в состав крови?

Но – кончается время радиокompании. Люди несут заявления с отказами от радиоточек – нечего там слушать, кроме погоды. По мнению Л.Барановой (уволенной под надуманным предлогом с поста заместителя председателя ГТРК), «компания неуклонно движется к разрушению» («Саратовская панорама» № 31, 2007).

Один мой постоянный слушатель лекций Валериан Морозов как-то оказался на радио, где у него брали интервью по какому-то поводу. «Ой, не говорите, не говорите мне о Кравченко!» – зажала уши и закатила к небу глаза радио-дама, когда он попытался поделиться своими восторгами от моих лекций. А почему, спрашивается, «не говорите»? Это же не ваша частная лавочка, господа. К вам не в гости пришли чай пить. Вы же государственная компания, – так, по крайней, мере, зовётесь. Вы обязаны знать и сообщать о всех заметных явлениях в культурной жизни региона. Но за двадцать с лишним лет (первую свою публичную лекцию о Высоцком я прочла в 1986 году) ни у одного штатного газетчика или телерадиоработника не совпали интересы с поэзией ни разу – а ведь я проводила по 10-11 вечеров ежегодно! Ну ладно бы пришли – послушали – не понравилось. А

то ведь понятия не имеют, что это такое! Но тем не менее...
«Пастернака не читал, но скажу».

Вспомнились кстати его строки:

Что же сделал я за пакость,
я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
над красой земли моей.

Ни в коей мере не отождествляю себя с опальным гением, но вот в гонителях сходство просматривается вполне. Природа их во все времена одинакова.

Саратовская телерадиокомпания уже давно действует по принципу вахтёров: «этого – не пущать!» Держиморды. Не пущать – в эфир, в культуру, в поэзию, в умы и сердца людей. Да я уже давно там! Это вам туда путь заказан.

Кто-то мне рассказал, что прежде, чем вышел первый номер новоиспечённой «Волги», у Амусина был уже наготове «чёрный список»: кого ни при каких обстоятельствах там не печатать. Причём «не пускают» они в литературу, к читателям, к слушателям, естественно, не по степени таланта, а по самым низким личным причинам: кто-то наступил на хвост, кто-то покритиковал, кто-то пишет лучше. По этой причине в Саратове уже давно нет честной объективной критики: или обслуживают свой клан или сводят счёты с неугодными. Поэтому мы имеем литературу и культуру, какую имеем.

Впрочем, иногда объявления прорывались. Но какой ценой! Сейчас уже об этом случае можно рассказать: люди эти там уже не работают и карьере их я не поврежу. Была такая – может, кто ещё помнит, – радиостанция «Мир». И была у неё так называемая «третья кнопка», то есть канал, действующий на третьей кнопке трёхканального радиоприёмника. Там шли длинные передачи о культуре, которые вела журналистка Вера Ионова. Однажды включаю этот канал и слышу свою лекцию о Гумилёве, которую она читает (зачитывает слово в слово) из моей книги «Звезда или хлеб?» (1999). Иногда, впрочем, кое-где вставляя «я думаю» и «как мне кажется». Да и фамилии поэтов звучали без имён, так как она не знала, по-видимому, как расшифровываются их инициалы. Моё авторство не упоминалось. О книге, моих лекциях – ни слова. Но в начале трансляции обязательное: «У микрофона Вера Ионова» и в конце опять же назвать себя не забыла.

Давид звонит туда от имени радиослушателя: «Скажите, кто автор передачи о Гумилёве?» – «Вера Ионова», – без

зазрения совести отвечает она. Тут уже за трубку трясущимися руками берусь я: «Так кто автор?» Она узнала мой голос и тут же переориентировалась: «Наталия Кравченко!» Выкручивалась, как могла. И якобы она её «обработала» (но после того, как я сказала, что передача записана на магнитофон, замолкла). И то, что поскольку купила книгу в магазине, то имеет право распоряжаться ею на своё усмотрение... А главная подлость была в том, что где-то за полгода до этого Давид встретил в библиотеке её начальницу, Маргариту Шашкину, постоянную посетительницу моих лекций, и предложил ей подготовить передачу по этой моей книге. Она ответила что-то неопределённое, вроде как «подумаем». И вот «додумались». На вопрос, почему не пригласили читать меня, автора, Ионова сказала:

– А у нас нет денег на оплату.

– Но оплата бывает разной. Если бы вы объявили в конце, где продаётся эта книга, где можно послушать эти лекции в полном объёме, – меня бы это вполне устроило.

Потом я узнала, что это была уже восьмая лекция из моей книги, которую они читали от своего имени. Сколько людей могли бы узнать – но не узнали – о моих лекциях, вечерах, книгах! Сколько читателей и слушателей у меня могло бы прибавиться!

Можно было пожаловаться начальству, дать делу ход. Ионова очень этого боялась. Я подумала: ну что с того, если её уволят? Неизвестно ещё, кто придёт на смену. И я поставила ей условие: я не поднимаю шума, но она теперь за это будет регулярно давать объявления на мои вечера на своём канале. И она давала – слово в слово, исправно, почти год, пока эту радиостанцию не закрыли.

Вспоминается ещё один эпизод. В пятницу 20 февраля (это был 2004 год) Татьяна Шварц должна была (обещала) объявить в новостях культуры по ТВ о моей победе в Международном поэтическом конкурсе. (За день до этого были опубликованы итоги в «Книжном обозрении», где моё имя стояло первым в списке от России). В глубине души я знала, что этого ей не дадут сделать. Но под каким предлогом? Когда-то Зорина заявляла, что они «выезжают только по экстраординарным поводам». На этот раз, наверное, наоборот – слишком «эпохальное» событие для местных новостей.

Включаю ящик. В «Новостях культуры» идёт сюжет (в пятый или шестой раз) – «старости культуры» – это название им больше подходит – о книге немецкого писателя в немецком зале в нашей библиотеке. Потом какой-то француз-

ский сюжет. Обо мне ни слова. Потом долго – выставка художника Батусова, друга Сокульского. С важным видом даёт интервью И.Алексеев. Звучат торжественные фразы: «Мы собираемся совершить акцию... вывести Саратов на новое поэтическое пространство... Но мы не хотим никуда ехать. Мы хотим вывести Саратов на мировой уровень...». (Это уже подключился Сокульский).

Шварц слушает всю эту галиматью с робким подобострастным видом, как школьница. Нет, чтобы задать вопрос: «Объясните по-русски, что это за акция? В чём она заключается конкретно? Каким образом вы собираетесь выйти на мировой уровень?» – и вся их бодяга рассыпалась бы, как карточный домик.

В переводе на общечеловеческий язык это значит, что Алексеев с Сокульским приглашают на свою тусовку в ресторане «Камелот» узкий круг своих друзей, редакторов каких-то третьестепенных московских журналов, с которыми они познакомились в Интернете. Кто эти великие мировые имена, что приедут к ним в гости? Евтушенко? Кушнер? Ахмадулина? Ни одного имени не прозвучало.

Это их личная тусовка, их личные знакомства. Ну, напечатают они их в своих журналах после тёплого приёма в Саратове. При чём здесь какие-то акции? Какое это всё имеет отношение к саратовским поэтам, не принадлежащим к камелотской компании? Почему ТВ должно освещать их обещания и посулы, то есть то, чего ещё не произошло? Это что ли «экстраординарный» повод к съёмкам?

А вот то, что действительно выводит Саратов на международный уровень, моя победа на конкурсе – почему-то ими замалчивается. Для неё секунды в эфире не нашлось. Как это понимать, господа? Вы не согласны с Международным жюри? Или кому-то это – «серпом по яйцам»? (Бродский).

Через неделю у меня должен быть вечер в библиотеке.

Шварц дважды звонила, первый – выясняла подробности победы на конкурсе, второй – за день до вечера – сообщила, что камеры заказаны и завтра они приедут снимать, брать интервью. Но в последний момент – буквально за три часа до начала – вдруг новое сообщение: съёмки не будет. Вроде как эти камеры куда-то срочно понадобились начальству. Тон у неё был недоуменный, обескураженный.

– Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Какие-то непо-

нятные приказы руководства...

– А я с этим сталкиваюсь постоянно, уже лет двадцать. Мне не привыкать.

– Ну, я думаю, Ваш вечер и без нас прекрасно пройдёт.

– Не сомневаюсь.

К 175-летию Областной библиотеки снимался документальный фильм. Снимала его всё та же телерадиокомпания за библиотечные деньги. Мне звонит директор: «Мы хотим снять Ваш вечер! Вы не против?»

– Нет, конечно. Только все эти Косовичи, Грачёвы снимать не будут.

– Ну как же так, мы же им деньги платим.

Я поверила. Сказала девчонкам-артисткам из студенческого театра «Данко», которые готовили композицию по моим стихам. Они обрадовались, дома родным сказали, что их будут снимать. В день вечера Грачёв, как я и ожидала, «заболел». Хорошо, был один постоянный слушатель с видеокамерой, снял вечер, мы хоть артистов не «обманули». Но кому сказать – не поверят: снят фильм о библиотеке, где нет и намёка на мои вечера поэзии, которые я провожу здесь с 1995 года и на которых перебивало уже полгорода. О которых Александр Кушнер писал: «Как же повезло Вашим слушателям в Саратове, что у них есть такой замечательный знаток поэзии, умный и вдумчивый её пропагандист».

Так пусть же мои слушатели и читатели знают теперь, какой ценой достаётся то, что они с таким нетерпением ждут и слушают в библиотечных залах. И пусть знают: пока они со мной – ничего эти телерадиокомпании с нами сделать не смогут.

РЕЦЕНЗИЯ НА РЕЦЕНЗИЮ

В прошлом (или даже в позапрошлом) году мне случайно попала в руки книга стихов Е.Грачёва «Предсказание» («Саратовский писатель», 2005). Открыв наугад, прочла:

Меня как-то агроном
встретил у омёта.
Он меня за сиськи – хватать,
и я его за что-то.

Что это ещё за колхозная эротика? – удивилась я. Листаю дальше:

Эх, ребята вы ребята,
не пойдёт со мной она.
Говорит она: «Ребята,
хобот меньше у слона».

Вспомнила, как кричали Окуджаве из зала на его первом публичном выступлении в 50-х в Доме кино: «Осторожно – пошлость!» Интересно, что бы они кричали сейчас, услышав подобное? Но, может быть, это случайные неудачные строчки, которые можно найти у каждого? Терпеливо читаю дальше:

Словарь графомана

- «Г» Голубые, голубые,
попы к старости худые.
- «Л» Лесбиянка смотрит свысока,
будто у неё два языка.
- «Н» Нудист. Мужик – здоровый боров,
вырвавшись из рук путан и сутенёров.

Нравится? Неужели такой найдётся? Особенно возмутил меня следующий «перл»:

- «С» Суицид. Они идут к плите
с недержаньем газа в животе.

Это уже – за гранью, тот случай, когда пошлость переходит в подлость. Смеяться над людьми, которые решились свести счёты с жизнью, над несчастьем, страданием? Какое же толстокожее непробиваемое самодовольное жизнелюбие у этого человека, подумала я.

Ещё один жанр, претендующий на юмор:

Четвертушки

У женщины четыре колдовства,
вернее, три, а если точно – два,
владеет же она всего одним,
и то, когда без мужа едет в Крым.

Ты не трави меня, Европа, пепси-колой,
орешками и прочею фигнёй.
Хоть я живу на улице Весёлой,
но становлюсь психически больной.

Прямо Дружковым повеяло. Графомания в чистом виде, в классическом её варианте. На этот счёт есть такое четверостишие:

У критиков девизом быть
могла б в наш век такая фраза:
поэтов можешь ты не бить,
но графоманов бить обязан.

Обычно я неукоснительно слеую этому правилу. Но тут что-то заколебалась. Стихи были так откровенно беспомощны и плохи, что писать об этом было – всё равно что бить лежачего. Не то чтобы я пожалела автора, просто подумала, что это слишком очевидно и без моей критики.

Заглянула в аннотацию. Там было чему подивиться: оказывается, автор – лауреат Всероссийских литературных конкурсов (каких? когда?), удостоенный Государственной литературной стипендии Правления СП России (за что?), а книгу его – как торжественно объявили по местному радио – издательство «Саратовский писатель» издало аж бесплатно! Предполагалось, что наивный слушатель будет думать: знать, такие стихи хорошие, раз издательство решило пойти на убытки, вынув деньги на грачёвский сборник из собственного кармана. Надо ли говорить, что бесплатный сыр у нас со времён перестройки только в мышеловке, а оплата бывает разной, например, в виде рекламы на радио, где работает Грачёв, или, как это сейчас называют, информационной поддержки...

«Бить или не бить?» – задавала я себе гамлетовский вопрос. Но тут прочла жалкие оправдательные слова авторского предисловия: «Не судите меня строго за юморные стихи типа «словарь графомана», частушки...». Это звучало как извинение за свою творческую несостоятельность. Ладно, пусть живёт, – отмахнулась я. Сам ведь всё понимает...

Но, как потом оказалось, я ошиблась. Графоман себя таковым вовсе не считал и понимал о себе очень даже много. Через два года он издаёт новый сборник столь же слабых стихов, но уже подкреплённых мощной подпоркой – предисловием «члена Союза писателей России Михаила Муллина». И вот об этом предисловии-рецензии мне и хотелось бы сейчас высказаться.

Когда-то Муллин вот так же щедро, от души предрёк А.Амусину великое поэтическое будущее, написав в предисловии к его книге: «Прочитав этот сборник, веришь: не только благодаря поэзии А.Пушкина, И.Бунина, Н.Рубцова, но и таких, как А.Амусин, звезда русской поэзии никогда не закатится!» (Да, без Амусина она бы закатилась, это уж точно). Теперь он так же не скупится на лестные сравнения Грачёва с великими: «Так, в стихотворении «География, история, черчение...» столько игры! Но игра эта не пустая, а та, о которой Пастернак бы сказал: «Когда строку диктует чувство, // Оно на сцену шлёт раба.// И тут кончается искусство, // И дышит почва и судьба». (Одним словом, «эта штука посильнее «Фауста» Гёте»).

Вспоминается предмет геометрия.
Мы патлаты и в клешах – то поветрие,
то есть мода закосить под битлов
и портвейна хлебнуть – будь здоров.
А ещё мы любили Высоцкого.
Нам попозже расскажут про Бродского.
«Воскресенье», «Машина» – потом,
под гитару у клуба... Поём?

Вот такая «игра». Пастернак бы в гробу перевернулся. Когда-то подобными «преувеличенными» рецензиями было навеяно такое моё четверостишие:

Кобыла непомерной сивости
нам демонстрирует свой бред,
а критик видит в нём красоты,
многозначительности след.

Но Муллину сравнение Грачёва с Пастернаком кажется недостаточным. Он берёт октавой выше: «А цикл «Джинсовый ангел» и поэмы вообще заставляют назвать Грачёва саратовским Петраркой». И сам же в доказательство приводит пример:

Грусть не при чём, грех не при чём,
просто такое дело:
пухлые губы пахнут вином,
красным вином и белым.

То, что Грачёва привлекает винный перегар из «пухлых губ» современной Лауры – дело его личного вкуса (кстати, а в чём разница между перегаром от красного вина и перегаром от белого?) Но вот только Петрарка-то тут «при чём»? Я думаю, что Грачёва всё-таки ни там, ни там рядом «не стояло».

Вообще сентенции Муллина, его панегирики настолько наиграны и не соответствуют процитированным – им же! – стихам, что вызывают недоумение. «Стихи Е.Грачёва подкупают свежестью чувств и свежестью их выражения».

Где-то птицам устало лететь на зарю,
где-то плакать по воле за чёрною дверью. (!?)
Скажет кто-то кому-то: «Любила! Люблю!»
Слава Богу, и я в это, кажется, верю.

Ну и где же здесь обещанная свежесть? По-моему, это скорее походит на «осетрину второй свежести».

О, прекрасные линии!
Белая-белая грудь,
как два яблока спелых,
на ветке стыдливо манящих...

«У неё было два преимущества: большая белая грудь и служба» – вспомнился Ильф и Петров. Но, может быть, кто-то подумает, что я «тенденциозно» подбираю строки? Хорошо, вот вам целое стихотворение. Выбираю наугад:

Золотая пилюля

Я ищу пилюлю золотую.
Ты меня ревнуешь, я тебя ревную,
будем вместе ту пилюлю принимать
и не будем мы друг друга ревновать.

Я ходил к врачу уже три раза,
говорят, что ревность – страшная зараза,
не проходит и неделя без войны,
ею многие уже поражены.

И сказал мне Айболит-профессор,
что, мол, я зануда и агрессор,
что, мол, я ханжа и фантазёр,
и такое всё научное попёр:

«Женщина свободная, как пламя,
нет, любви не удержать руками,
ты её не зли, не карауль,
в мире нет, увы, золотых пилюль».

Я любим! В душе моей звучало,
Я люблю! Я всё начну сначала,
за любовь я подниму бокал,
хорошо, что мне профессор подсказал.

Жаль, что профессор не подсказал, то бишь не прописал автору пилюль от писания стихов. Это ему гораздо необходимее. «Грех великий мучить слово, быть лишённым божества», – писал Я.Козловский.

«Очень удачно название сборника «Легенды Изнаира», – восхищается Муллин. – Здесь точное обозначение «точки на карте» – малой родины поэта, и красивое «имя» родной реки, и некий двойной смысл...». Да, имя действительно красивое. И название заинтриговывает. Что ж это за легенды такие? Читаю:

Дядя Федя

Изнаирские легенды –
может, правда, может, нет?
Мне рассказывал сосед
про отдельные моменты.

– Ты, согласишься ли, Евгений, –
дядя Федя говорил, –
раз в году среди могил
возникают чьи-то тени.

Барин спрятал миллионы,
золотой, конечно, клад.
И за ним теперь следят
только лисы и вороны.

И это – всё? Такое чувство, что развернул золочёный фантик, а там – пусто.

Чем больше читаю Муллина, тем больше поражаюсь – где он выкапывает поводы для восторгов? Вот в том же «Дяде Феде», который здесь лишь исполняет функцию информатора, такого наувидел! «Любит он людей. Без всякой фанаберии относится к так называемым «простым людям», рисуя их прекрасные психологические (?) портреты. В этом смысле показательно стихотворение «Дядя Федя», в котором ярко (!) проявилось авторское понимание этого самого «простого», а на самом деле замечательного (!) русского мужика». В чём же его «замечательность»? В том, что «русский»? Так и этого здесь не указано. Может быть, ещё где-то есть про этого дядю Федю, про баснословные богатства его русской души? Ага, вот:

Всяк на этом свете волен
сказки страшные молоть,
объегорить, подколоть...
Как сосед наш был доволен!

На погосте есть могила,
дяди Фёдора она.
Сказок много, старина,
в них несказочная сила!

Нет, и здесь, извините, не нахожу следов «замечательности» «русского мужика». Думаю, и Диоген с фонарём их

бы не обнаружил. В чём она? В том, что мог «объегорить, подколоть»? Как-то это не по-русски.

Муллин хочет нас уверить, что в стихах Грачёва «ярко проявилось» не только «авторское понимание этого самого «простого», а на самом деле замечательного русского мужика», но и понимание простой (а на самом деле не такой уж простой) русской бабы. Точнее, бабки. Цитирую: «В полной мере это относится к стихотворению «Бабушка Тома»:

Сушит бабка Тома
яблоки и груши,
запасает в зиму
внукам на компот.
Голова капусты
тянет к небу уши...

Неспешная домашняя работа предстаёт перед читателем эпически возвышенной. И ясно понимаешь, что и дядя Федя, и бабка Тома – наверняка конкретные люди, глубоко уважаемые автором личности, ставшие объектом литературного «исследования» и приобретшие черты собирательного образа. Уж больно живы!»

Но после «ушей капусты» в стихотворении нет больше ни слова о «бабке Томе». В чём же её «живость»? До чего же богатое воображение у Муллина: видит то, чего нет и в помине. Я уж не говорю о том, что «глубоко уважаемую личность», ставшую «объектом литературного исследования» (только где оно?) – «бабкой» не называют.

«Ведь автор и сам творит легенды, – продолжает Муллин. – Если «история – мы», то почему же современникам (знакомым, друзьям) не войти в неё? Герои Грачёва достойны этого. И в самом деле, «кто сказал, что прошли те года, о которых слагают легенды»? Вот поэт Евгений Грачёв и написал «Легенды Изнаира».

Должна разочаровать читателя, чтобы не обольщался: никаких таких «легенд» в книге нет. «Достойны» ли герои Грачёва этих несуществующих легенд, сказать невозможно, потому что никаких «героев» здесь тоже нет. Во всяком случае, упомянутые вскользь дядя Федя и бабка Тома на героев легенд явно не тянут.

Может быть, герои, «о которых слагают легенды», – это молодёжь из грачёвской поэмы с претенциозным названием «Реалтоны наших джунглей»? Но духовный и культурный уровень этих «героев» настолько убог, что заставляет отбросить эту мысль, несмотря на муллинские уверения в обратном: «герои выдерживают испытания нелёгким перестроечным временем, внутренне растут, раскрывают свои

возможности, мудреют, закаляют души». Одна из героинь выговаривает любимому:

Предо мной лежит Литература –
золотые буквы «на челе».
Ах, какая всё-таки я дура,
что про чувства наплела тебе.
Говори с другими о погоде,
а со мной не надо, извини.

Подруга Маша делится с ней своими любовными ощущениями:

У него спортивная фигура.
Я от рук его захапистых трещу!

А потом – разочарованием:

Ждать счастья, Ленка, не имеет смысла.
Пошла в кабак вчера, опять зависла.
Один пижон – пылал, потом потух,
три сотни баксов улетучились как пух.

Это действительно какие-то «джунгли» непроходимые душ и умов. Четвёртый герой изъясняется только «на фене»:

Он теперь топырится на зоне,
помогли сучары-мусора.

Муллина этот «сленг» умиляет: «Лексика их современна. Причём в лучшем смысле этого слова. А сленг не шокирует, а сразу же ориентирует на понимание происходящего в конкретном, нашем, времени. Молодёжи (той её части, что не оболванена ещё попсой и не ушла в снобы), стихи из книги Грачёва несомненно понравятся. Не молодёжи – тоже». Ну не допускает Муллин даже мысли о существовании тех, кому стихи Грачёва могут не понравиться! Если, конечно, они «не оболванены попсой». Помилуйте, а это-то чем не попса?

День-деньской сегодня чушь несу,
весь семестр не слушала: ни Баха,
ни Шопена, ни Глюкозу, ни Алсу, –

жалуется «героиня» нашего времени. Попсовее просто не бывает.

«Интересен цикл «Четвертушки», – продолжает усердно «пиарить» автора Муллин. Эти четверостишия способны вызвать множество самых серьёзных ассоциаций... В четверостишиях Грачёва есть что-то (по-хорошему) от мудрости Хайяма...» Боюсь, что нет даже «по плохому».

Влюблённые, не слушайте советов
астрологов, провидцев и поэтов,
ни в двадцать два, ни в сорок пять.
Давать совет легко, сложнее выполнять.

Я испытал и ненависть и страх,
я испытал предательство и братство.
Моя земля стоит на трёх китах,
на ней Любовь, вот всё моё богатство.

Какие же «серьёзные ассоциации» могут вызвать у нас эти вирши? Разве что с песней В.Кикабидзе. Подобных «ассоциаций» тут, кстати, немало. С Галичем, например:

Это Лидочка сидит, а мы у стеночки.
Ты учебничек кладёшь на коленочки.

С Маяковским:

Как же Вы могли, Сергей Есенин,
не гнушаясь пьяным кабаком,
придуряться...

(тут кончается Маяковский и... «дышит почва и судьба», как сказал бы Муллин, но я так не скажу).

...в эту стынь и темень
душу рвать лирическим стихом?

Да. Очень свежие мысли, очень глубокие чувства. А главное – есть что сказать автору! Есть весомый внутренний повод выйти на диалог с любимым поэтом!

Называли Вы себя скитальцем.
Вас по звонким песням узнают!

Как Вы там среди других поэтов,
светских женщин? Вы теперь другой?

Каких «светских женщин» Есенин имел в виду Грачёв в послереволюционной России? Изряднову? Райх? Бениславскую? Надежду Вольпин? Или может быть «босоножку» Дункан, считавшую себя коммунисткой? Есенин окружали не светские, а советские женщины. Светское общество осталось в Золотом веке. А в раю – да будет известно Грачёву – «светских женщин» не бывает. Там все равны.

Что же касается не самых умных вопросов, с которыми автор стихов пристаёт к праху гения, я представляю, что бы он ему на них ответил, будь жив.

Ну ладно, с Грачёвым всё ясно, стихи говорят сами за себя, и, как бы Муллин ни называл серое белым, сделать его таковым он не в состоянии. Но вот как назвать подобные хвалебные рецензии? Что это? Куриная слепота? Словоблудие? Ложь во спасение? Радение родному человечку? Нежелание ссориться с «радиокомпанией»? Беспринципность? Цинизм? (Нужное подчеркнуть).

НАБРОСКИ, ЗАМЕТКИ, ШТРИХИ

Преданность и предательство

«Преданность» и «предательство» – а корень один. От одного до другого – один шаг (как от любви до ненависти). Может быть, это закономерность?

Например, в природе: как предана трава солнцу, листва – ветру, какое доверие друг другу, какая гармония в их слаженной музыке. Но приходит осень и – трава предана, оставлена солнцем, деревья преданы ветром, который ломает, обрывает то, что ещё недавно ласкал. Быть целиком преданным кому-то – не значит ли это в чём-то предавать себя, свою душу, своё высшее предназначение, то есть то, что не принадлежит никому – «только Богу одному»? «Как мы вероломны, то есть как сами себе верны», – писала Марина Цветаева. Иными словами, чтобы быть верным себе, себе нынешнему, в чём-то новому, надо неизбежно предать того, кто в прошлом, если ты из этой общности уже выросла, её переросла. «Остался в прошлом я одной ногою» (Есенин). Но второй от неё не оторваться, – «скольжу и падаю другою». Ибо, предавая другого во имя себя будущего – разве не предаёшь при этом и себя нынешнего, разменивая то, что должно оставаться неизменным и вечным?

Перефразируя Бродского: «Из предавших меня можно составить город».

Есть очевидцы!

Читаю со сцены своё стихотворение:

Нет очевидцев той меня,
и, значит, не было на свете
в ночи сгоревшего огня,
что плачет, уходя навеки.

И, значит, не было в миру
той девочки босой, румяной,
гонявшей обруч по двору,
рыдавшей над письмом Татьяны...

Ни старой печки, ни плетня,
ни сказочной дремучей чащи,
раз нет свидетелей меня
тогдашней, прежней, настоящей...

И вдруг подбегает ко мне в конце вечера женщина – я её не сразу узнала – с которой в детстве жили в одном дворе и с которой не виделись лет тридцать:

– А мне всё хотелось тебе сказать: «Есть очевидцы, есть!»

Это выражение принято в юриспруденции: нет очевидцев, свидетелей преступления – значит, не доказано, значит, его как бы и не было. И точно так же если нет свидетелей твоего детства, если никто не помнит тебя маленькой – вроде бы и не было всего этого. Ведь никто, кроме тебя, этого не помнит, подтвердить не может. И вдруг находишься такой очевидец и свидетельствует: было! Документально подтверждено жизнью. Ведь мы живы, пока отражаемся в чужих глазах, в чужой памяти.

Образ тоски

Есть одно место, которое я для себя называю «образом тоски». Оно выглядит так: если пройти по проспекту 50-лет Октября от нашего дома в сторону Воскресенского кладбища (минут 5-10) и упереться в автостоянку – непременно вечером, при свете фонарей, то это выглядит как некий метафизический тупик: пустынная автостоянка, рядом зияет чёрными провалами окон недостроенный дом, чуть поодаль – остов другого, только что начатого (и такое впечатление, что брошенного) строиться дома, между ними – несколько убогих домишек, как из стихов Блока о России («мне избы серые твои...») или что-то из Есенина – «нездоровое, хилое, низкое...». Два-три сухих одиноких, каких-то отрешённых тополя, а вдали – далёкий, мерцающий тусклыми огнями город (за низкими домишками его далеко видно). Слабый рассеянный свет фонаря. Тёмные пятна грязного снега (или луж). Вот так выглядит материализовавшаяся тоска, – почему-то думаю я всегда на этом месте. Здесь так всегда тоскливо-тоскливо, до жути. Это даже Линда чувствует – не любит сюда доходить, останавливается, не доходя, и переминается нетерпеливо, поглядывая на меня, – когда, мол, идти обратно.

Привидения в музеях

В «Новостях культуры» по саратовскому ТВ ввели новую рубрику: «Ночные прогулки по музеям», где ежедневно директора музеев (Федина, Радищева и других) с самым серьёзным научным видом рассказывают о привидениях, которые бродят тут по ночам, оставшиеся от прошлых веков. (Одна девушка там некогда повесилась, и теперь её тень витает по коридорам, в другом подвале некогда содержался Емельян Пугачёв... Страшно – аж жуть!)

Ткачёва, многозначительно понижая голос, без тени иронии: «Охрана нам рассказывала, что здесь слышны по ночам шаги... вдруг что-то ни с того ни с сего падает...». Причём эти «сюжеты» – образцы мракобесия – повторяют по четыре-пять раз. Ну ладно бы в день смеха 1 апреля, ну ладно бы под рубрикой «Чего не бывает» или «Святочный рассказ» – а то под эгидой новостей культуры!

Оборотни

В преддверии сериала «Оборотень» по ТВ выступает биоэнерготерапевт (новое модное словцо) и – на полном серьёзе: «Есть люди, склонные к оборотничеству». Говорит, как отличать натуральных зверей от человекоподобных. Оказывается, те звери, в которых обернулись бывшие люди, гораздо крупнее обычных. И ещё какие-то дурацкие приметы. Я – Давиду:

– Как тебе этот бред с утра пораньше?

Давид (мечтательно):

– В кого бы оборотиться?

Кстати, об оборотнях. Недавно в «Земском обозрении» читаю статью Е.Мартыновой, где она лягает Малохаткина, сравнивая его поэзию с червивым яблоком, а через короткое время в «Волге» – статью той же особы о том же Малохаткине, о тех же его стихах, но уже с точностью до наоборот. Чтобы не быть голословной, привожу два отрывка:

«Лирик Малохаткин не чуждался своего времени, обращаясь к нему если и без пламенной публицистики, то пропуская якобы через душу, наделённую «светлым чувством родины» («Земское обозрение» 3 августа 2005 год).

В журнале «Волга – 21 век» № 3-4 за 2006 год тот же отрывок звучит уже по-другому, без оскорбительного «яко-

бы» и двусмысленных кавычек: **«Малохаткин никогда не чуждался своего времени, обращаясь к нему, пропуская его через душу, наделённую светлым чувством Родины».** Чувствуете разницу? Что-то это мне напоминает, эти незначительные «поправочки», кардинально меняющие смысл сказанного. Ах, да, небезызвестного Гаврилу-рифмоплёта, который то «жёнам изменял», то «жёнам верен был», в зависимости от конъюнктуры момента. Продолжим сравнение. Отрывок № 1 из «Земского обозрения»:

«И, как бы невзначай, припомнишь цвет,
уж не тебе теперь принадлежащий,
себя увидишь яблоком висящим
на дереве ещё растущих лет.
И час паденья – он неотвратим! –
Я упаду, чтоб вдребезги разбиться.
Смогу ль тогда хоть семечком одним
я за родную землю зацепиться?..»

К этим стихам Малохаткина даётся такой саркастиче-ский авторский комментарий: **«Если убрать пародийность из произведений Малохаткина и представить, что он не червивое яблоко, болтающееся среди веточек на литературном Олимпе, разбиваться вдребезги ему ещё рановато...»** Как сказать... Поэту-то уже 70 тогда стукнуло. Впрочем, здесь Мартынова проявила женскую галантность, «не заметив» преклонного возраста мэтра. Но вот в своей спешно написанной вслед за этим газетным опусом статье в «Волге» она эти же строки поэта комментирует уже совершенно иным образом: **«Как же это? и откуда? Как создаётся ощущение величия шири жизненного простора и печальной гармонии? По сути никто ответа на этот вопрос дать не может, ибо дар, талант от Бога так чудом и останется...»** И дальше – дифирамбы, славословия аж на десяти страницах текста.

Что же повлияло на самосознание Мартыновой за эти полгода, что она так кардинально поменяла точку зрения на одни и те же строки И.Малохаткина? Личная встреча с патриархом? Желание вступить в СП? Проснувшиеся опасения занять влиятельного врага в саратовском литературном мире?

Ну как назвать такого критика? Хамелеон? Оборотень? Настоящий оборотень! (Без погон). К сожалению, это явление не единичное. Таких газетных оборотней в наших СМИ порой встретишь – Гаврила отдыхает.

Исключение из правил

Амусина исключили из Союза писателей. Исключили за правду. За тот редкий исключительный случай, когда он её сказал. Вернее, написал, в газете «Земское обозрение», в статье о М.Муллине (непьющем), где мимоходом прошёлся по СП, куда принимают «за стакан водки». Союз оскорбился (правда, как известно, глаза колет) и, посоветовавшись, исключил Амусина «за неэтичное поведение» или что-то в этом роде.

Амусин написал об этом в газете. Он стал героем дня. Ему посвящал телепередачу Колобродов. «Исключили за фразу о стакане водки!» – гремело в средствах массовой информации. «За стакан водки и восстановится», – равнодушно заметил кто-то из журналистов.

Но Амусин не стал восстанавливаться. Он «взял нотой выше»: создал другой Союз, новый, свой собственный. Путём каких-то сложных манипуляций в Москве с нужными людьми организовал пресловутый АСП, переманив туда многих пишущих обещанием напечатать. Союз писателей №1 старательно делал вид, что не обращает внимания на карьерные успехи своего изгнанного члена. «Чем бы дитя ни тешилось», – отмахивался Масян. Когда же осознал опасность «конкурирующей фирмы» – было поздно: новоиспечённый глава СП №2 переманил к себе пол-Союза, прибрал к рукам «Волгу-21 век» и напечатал всех своих друзей, подруг и знакомых (естественно, за бюджетные деньги). Недаром в народе говорят: «Нахальство – второе счастье».

Пятки души

Опять болит нога. Иду, прихрамывая, волоча свои «многолетние ноги», как изящно выразился по ТВ Э.Радзинский, утешая себя мысленно строчками Мандельштама: «К пустой земле невольно припадая неравномерной сладкою походкой...» В конце концов и Байрон был хром, а В.Нарбут так вообще без ноги. Вспоминала русалочку, мучительно ходившую по земле, Высоцкого с его «поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души...» (так как душа – в пятках?) Так понемногу утешилась с помощью художественной литературы.

Мария Петровых рассказывала, как Ахматова сидела на диете. Просит отварить ей капусту. Съедает отварную

капусту, а следом – и всё то, что едят Петровых с дочкой: и мясо, и картофельные зразы...

Из телепередачи о Л.Толстом в Ясной Поляне: «В доме он любил всего несколько комнат». Особенно умиляет это «всего».

Мой балкон – мой ковчег. Он плывёт по волнам живого зелёного моря. Куда? Туда, где синее небо. И, кажется, только так – в нём – можно спастись. Мой дом, плывущий в небеса.

Печатаю на машинке, а сама уже сплю. Сплю, но руки печатают на автопилоте. Очнулась, читаю: «Путин сказал...». Откуда Путин?! Печатаю лекцию о Есенине. Значит, что-то снилось про Путина. Обычно я не помню, что мне снилось. А руки выдали.

Возле «Торгового центра» висит огромный плакат: «ЛДПР – это всерьёз и надолго». Пессимистичней не придумаешь. Если уж Жириновского принимать всерьёз, этого политического клоуна, которому завидует Хазанов – ниже падать некуда.

Объявления из разряда «Нарочно не придумаешь». В «Газели» на стене висит обращение к пассажирам: «Громко и внятно объявляйте водителю об остановках». И рядом – табличка с именем водителя: «Глухота Павел Борисович».

И ещё: возле нашего дома на дереве кто-то прикрепил листок бумаги с таким текстом: «Кто потерял ключи в траве у дерева – оставьте свой адрес».

Поэтесса Элана, продавая свой сборник стихов в «Доме книги», вывесила в рекламных целях свою фотографию. Зрячкин, в отчаянье, что не купили ни одной его книжки, вывесил рядом и свою. Стенд стал напоминать милицкий: «Их разыскивает милиция». Читатели, до сего времени проходившие мимо, стали останавливаться чаще.

Хотела купить дешёвое мороженое (было с собой мало денег). Долго искала на прилавке и выбрала самое скромное и захудаленькое за 6 рублей. Потом прочла название на бумажной обертке: «Русский размах». Удивилась несоответствию такого громкого названия жалкому содержимому. Что это, юмор такой русофобский или инерция великодержавного мышления? Расчёт на то, что патриоты купят и такое из-за одного названия? Поистине «умом Россию не понять».

РАЗГОВОРЧИКИ

В Доме книги. Давид спрашивает посетителя, взявшего с полки книгу стихов Рубцова:

– Любите поэзию?

Тот, с пафосом:

– Я Родину люблю!

Девушка, объясняя, почему ей и её подругам неинтересна серьёзная поэзия:

– Ну мы же молодые!

Звонок. Чей-то мужской молодой голос:

– Можно, я Вам сделаю комплимент?

Я, опешив:

– Ну, делайте...

– Я такого красивого голоса во всей Франции не слышал.

Где-то я что-то подобное уже слышала. Что-то из расхожего джентльменского набора. Но на какую же дуру эта жалкая дешёвая наживка рассчитана?

– Вы что, по телефонной книге звоните, наугад? Где Вы взяли этот номер?

Чуть растерянно:

– Я по объявлению... Вот тут какие-то женские сапоги...

– Вам что, нужны женские сапоги?

– Нет. Мне нужна женщина... без сапог.

По крайней мере, откровенно.

– К сожалению, я не та женщина, что Вам нужна. Я как раз в сапогах.

– Извините.

Ничего не вижу

П.: – Рассказать анекдот? Нет, Вам нельзя это слушать. Вы же девственный человек. Вы же потеряете свою девственность.

– Не потеряю. Рассказывай.

...Инна Лиснянская вспоминала: «Юз Алешковский приехал в Переделкино. Я говорю ему:

– При мне не матерись!

– Ты же не ханжа.

– Понимаешь, я каждое слово вижу.

Юз аж за голову схватился: «Несчастливая!» Через некоторое время, не слыша от него привычных оборотов речи, люди стали ему говорить: «Юз, ты на себя не похож. Что случилось?» А он: «Это Инна. С ней такая беда: она каждое слово видит».

Так вот я – не вижу. Это тот случай, когда моё воображение не срабатывает. И когда я слышу какой-нибудь диковинный оборот, то воспринимаю только вот эту корневую морфему, ощущаю гибкость русского языка, филологический смысл, но не представляю себе того, что стоит за всем этим. Иногда приходится произносить что-нибудь подобное на лекции, если это, скажем, строчка из стиха классика – из песни ведь слова не выкинешь. После чего в мой адрес раздаются нарекания: как я (!) могу это произносить вслух. А я просто эти слова, в отличие от Лиснянской, «не вижу».

Вспоминается в связи с этим Ахматова, снисходительно разрешившая Галичу петь в её присутствии песни с матерными словами: «Ну мы же филологи!» Станислав Рассадин, говоривший о Науме Коржавине (Эмке Манделе): «Не ругайся Мандель матом – был бы Мандель дипломатом».

Какого рода чучело?

Постоянный слушатель моих лекций, преподаватель колонии строгого режима В.В.Разенко сообщает, что по моим стихам там проводили классный час. Обсуждали стихотворение «Чучело».

– И что же говорили?

– «Вот какие бесчувственные бывают женщины!»

– Но я же писала про мужчину!

– Ну, а они взяли и переделали его под женщину. Так им больше нравится.

Бытовуха

Разенко читал своим уголовникам мой «Монолог Людмилы Дербиной, невенчанной жены Николая Рубцова». Первая реакция зэков: «Бытовуха». Разенко поясняет: «Это не определение поэмы, это определение статьи, – специфическое восприятие». Спрашиваю: «Ну и какое у них мнение о поэме?» – «Мнения разделились. Пятьдесят на пятьдесят».

Я подумала, что половине понравилось, половине – нет. Оказывается, другое: половина зэков была за Рубцова, половина – за Дербину.

Эй, Вы!

Сижу в очереди в поликлинике, что-то по обыкновению читаю, чтобы не терять зря время. Вдруг кто-то меня окликает: «Эй, Вы, блондинка! Кто за Вами?»

Вечно больная проблема: как обращаться к незнакомым людям? Сколько уж копий ломалось по этому поводу! «Мужчина – женщина», «сударь – сударыня», «господа – товарищи» – ничего не прижилось. Но «блондинка» – это уже что-то за пределами. А как мне в таком случае к нему обращаться: «Брюнет»? Или – что более соответствовало истине – «лысый»?

Давида спрашивает юная артистка из народного театра, с которой он готовит композицию по моим стихам: «Давид Иосифович, а сколько Вам лет?»

– Много.

– Ну сколько?

– Угадай.

Думает. Осторожно:

– Ну... пятьдесят четыре?

– Больше.

Брови ползут вверх. Неуверенно:

– Пятьдесят восемь?

– Больше.

– Больше?!

И, почти с ужасом:

– Шестьдесят?!

– Больше.

Она всплещивает руками:

– Да куда уж больше!

Инцидент исперчен

Продолжаю пополнять свою коллекцию телерадиоперлов. В телевизионных новостях профессор, ректор ПАГСa Сергей Наумов призывает к тому, чтобы все представители других конфессий в Саратове держали экзамен на знание русского языка и русской культуры. Тем более что нынешний год объявлен годом русского языка. При этом чётко выговаривает: «Инцидент». Это почти то же, что мне написал в письме уголовник Михаил Прожелуцкий: «Мне все Ваши стихи ндравятся».

Молодая ученица Тарковского

По местному радио дают моё объявление о вечере в библиотеке, и, вместо «**московская** поэтесса Лариса Миллер, ученица А. Тарковского», ведущая говорит: «**молодая** поэтесса Л.Миллер, ученица Тарковского». Мы с Давидом поперхнулись. Казалось бы, простая логика – когда жил Тарковский? Как может его ныне живущая ученица быть молодой, если он умер в 70-е.

Давид говорит: «Это она подправила, подредактировала. А то что все одни старики...». Я хотела позвонить, указать на ляп, но Давид меня остановил: «Миллер будет только приятно».

Верующий ангел

И ещё один ляп: моё объявление о вечере Франсуа Вийона «Ангел ворующий» ведущая И.Сальникова прочла как «Ангел верующий» (а что, бывают ангелы неверующие?) Как они выдают своё невежество! «Наглый школьник и ангел ворующий, несравненный Виллон Франсуа» – хрестоматийные строчки Мандельштама. Но, видимо, редакторское ухо покорило это криминальное «ворующий» – как это, поэт – и ворует! И – исправили на благообразное «верующий».

Давид позвонил, указал на ошибку. Сальникова рассыпалась в благодарностях, обещала в следующем выпуске передать правильно. Но так и не передала. Мне пришлось на лекции извиняться перед людьми за наших радиоведущих.

Памятник себе

А.Караулов в «Моменте истины» спрашивает низвергнутого Аяцкова, как он себя чувствует в новом безвластном качестве. Тот отвечает в духе Черномырдина (почти дословно):

– Я – по Пушкину: я себе не один памятник оставил. Я не просто след ботинка оставил.

Да, наследил – это точно.

Киш-миш

Бесхозная кошка родила под крыльцом двух котят. Они уже подросли, освоились во дворе и облюбовали себе уголок под густым кустом акации, который мы с Давидом вырастили из побега срубленной. Дети играют с котятами, бегают за ними, кличут: «Котё-ё-нок!» А тут Давид купил виноград «Киш-миш». Я говорю: «Слушай, гениальное имя для котят!» Так их и зовут теперь: одного Киш, а другого – Миш.

Собачья тема

Спим не до первых петухов, а до первого собачьего лая. Линдино требовательное: «Ав!» – сигнал к побудке.

Мальчишки во дворе о Линде: «Прикольная собака!»

Соседские дети лет пяти, взобравшись на дерево, вне досягаемости кусачего пса, дразнят его сверху: «Микки – сволочь, Микки – сволочь!»

Прохожий на улице даёт Линде кусочки колбасы. Та угодливо вертит хвостом – вертихвостка.

– Линда! – одёргиваю я её. – Перестань попрошайничать!

– Ну зачем? – недовольно говорит мужик. – Я угощаю!

– Да у неё дома всё есть!

– Дома... – бурчит он. – Мало ли что дома! У меня дома и жена есть, – заявляет вдруг, многозначительно меня оглядев.

Л. Гурченко, в день своего 70-летнего юбилея, по ТВ: «Раньше, когда я пела: «Проходит молодость», я не ощущала этого, так, на всякий случай говорила, чтобы не подумали, что я моложусь или ещё что... А теперь я уже чувствую: да, действительно, молодость проходит...».

Старушка по ТВ, справившая столетний юбилей, высказывает своё заветное желание: «Мне бы хотелось пообщаться с людьми своего возраста. Но я понимаю, что это несбыточно». Я представила, каково это – не иметь ни одного (!) человека в городе, кто был бы тебе ровесником. Быть старше всех-всех-всех. Жутко.

Благодарность

Давиду – слушательница лекций – по телефону, когда он обзванивал их, приглашая на мой творческий вечер: «Спасибо Вам, что у Вас такая жена!»

Из записи в тетради отзывов. Пожилая женщина, восхищаясь моими стихами о любви, пишет: «Спасибо, что уважительно пишете о мужчинах».

В ресторане уже были

В честь 175-летия библиотеки нас пригласили в ресторан. Размышляем, идти ли. Давид, раздумчиво: – Ну, в ресторане мы были... – Когда это? – А в китайском. Марина из Израиля приезжала, приглашала.

– Два года назад? Ну, ты как в том анекдоте: «Книга у меня уже есть».

Давид:

– Иди, занимайся! Чем ты занимаешься?

Я – в эйфории от письма Кушнера:

– Я почиваю на лаврах!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

НАСТОЛЬНЫЕ ПИСЬМА

Этот вопрос, наверное, не миновал никого из авторов, все рано или поздно задавали его себе: «Для кого мы пишем?» Поэтическая речь безадресна, в крайнем случае она относится к Господу Богу или к самому себе, к лучшему, что в тебе есть, но тень читателя, как «тень друга», являвшаяся Батюшкову на палубе корабля, должна всё же присутствовать где-то в углу комнаты.

Каждый в глубине души мечтает об идеальном понимающем читателе, своём альтер эго. Но в реальности по большому счёту это неосуществимо. Об этом ещё Тютчев сказал: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть ложь». А София Парнок подтвердила: «И в том нет высшего, нет лучшего, кто раз, хотя бы раз, скорбя, не вздрогнул бы от строчки Тютчева: «Другому как понять тебя?».

И потому Цветаева пишет мёртвому Рильке, а Рильке в своих дуинских элегиях обращается к ангелам, а я назвала одну из своих книг цветаевской строкой: «Письмо в пустоту». Стихи там большей частью грустные – о тщете понимания, человеческого отклика, о безответности твоего крика души, уподобленного гласу вопиющего в пустыне. От этого не застрахован никто, даже наши великие. И Пушкин в своём «Эхе» горько констатирует: «Тебе ж нет отклика. Таков и ты, поэт». И Цветаева «не обманывалась» на сей счёт: «Не обманусь и языком //родным, его призывом млечным. //Мне безразлично, на каком //непонимаемой быть встречным». Об этом стенал Блок: «И на этот путь оснеженный, //если встанешь – не сойдёшь. //И душою безнадёжной// безотзывное поймёшь». Борис Чичибабин восклицал в отчаянье: «И в звезрином оскале и вое //мы уже не Христова родня. //И кричу, и не слышу того я//, кто хотел бы услышать меня». Это мучительное чувство безотзывности настигало меня не раз:

Я говорю, как дерево листвою,
доверя горло ветру и листу.
О неба нищета над головою!
Вся жизнь тщета, как выкрик в пустоту!

Всё безответно: волна и листва,
словно на отклик наложено вето.
Снова на ветер бросаю слова.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Душе не перелиться в душу
свободно, словно рекам в реку.
И, как ни бейся, не нарушить
мне герметичность человека.

В одном из стихов я сказала об этом грубее:

Порой иду и вижу в страхе:
непробиваемо глухи,
мелькают рожи, морды, ряхи –
им не нужны мои стихи.

Своеобразной формулой творчества для меня навсегда стали слова Б.Поплавского: «Искусство – это частное письмо, посылаемое наугад друзьям, как протест против разлуки любящих в пространстве и времени». Стихи – своего рода письмо в бутылке, жанр самоубийц и смертников, отчаянный протест против непонимания и «одио́чества в квадрате» с тайной надеждой обрести в этом чужом и холодном мире родственную душу. Все мои книги – это некие подобия личных писем, адресованных незнакомому другу. И ответные письма – когда те всё же приходят – счастливо убеждают, что они попали по адресу.

С выхода первой книжки до нынешнего дня этих писем у меня набралось довольно много: несколько туго набитых папок. Открытки, стихотворные признания на клочках бумаги, многостраничные исповеди в толстых тетрадках, рефераты «по моему творчеству», набранные на компьютере (на слове «творчество» споткнулась – неловко применять его к себе, оно слишком пафосное, в то время как Бродский говорил о своих стихах «стишки», но в данном случае копировать Бродского было бы ещё более нескромно). Ну и, конечно, письма. Восторженные, откровенные, благодарные, возмущённые, смешные, горькие – разные. Есть среди них и такие, которые можно назвать «настольными». Я их часто перечитываю, перебираю, как скупой рыцарь свои богатства. Эти самые дорогие мне читательские признания, свидетельства моего творческого «не зря», собраны в отдельную синюю папку.

Эта папка – мой «синий троллейбус»: «когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье», теряет вера в себя, в своё предназначение, я ныряю в эту папку и

оживляю себя тёплыми, умными, сердечными строчками моих альтер эго, родственных душ. Это чувство востребованности, понятости, услышанности – оно дорогого стоит. И я не верю тем авторам, кто пренебрежительно кривит губы: фи, подумаешь, отзывы, письма, признания, – а мне всего этого не нужно, я самодостаточен, «подите прочь, какое дело поэту вольному до вас..» и т.д. Не верю в их искренность. Это похоже на крыловскую басню о зелёном винограде.

Есть разные виды успеха. Бывает успех дешёвый, бульварный, когда известность достигается благодаря скандальной сенсационности, скабрёзности, эпатажу. Или успех коммерческий, когда покупается эфир, заказываются статьи, оплачиваются предисловия к книгам. Этот успех способен «раскрутить» имя, привлечь внимание к своей особе – на какое-то время. Но никакими деньгами и связями невозможно заставить читать твои книги, откликаться на них в письмах, переписывать стихи, заучивать наизусть. И это – успех подлинный, который измеряется твоей востребованностью у читателя – не только у твоих родных и друзей – когда других, незнакомых тебе людей трогает, волнует то, что ты пишешь. К такому успеху стремятся все пишущие – явно или подсознательно. Не все могут его достичь в силу тех или иных причин, существует масса прекрасных неизвестных миру поэтов. Но когда это есть – это счастье.

На фоне ангажированных журналистских «пасквилей», пренебрежительных, поверхностных «отписок», эти искренние, подробные, «всамделишные» отзывы людей дают объективную картину моей деятельности, и я бы хотела, чтобы о ней судили прежде всего по ним, а не по лживым мстительным статейкам когда-то раскритикованных мной «оппонентов».

«Мне не просто понятен голос Ваших стихов – мне очень близок мир Ваших чувств. Я как будто примеряю на себя Ваши строчки. Иногда это больно делать. Потому что некоторые из них заставляют трепетать – столько в них нежности и боли. Глубина многих – умопомрачительна... Вы отчётливо чувствуете то время, в котором живёте, и, не заигрывая с читателем, называете вещи своими именами. Сейчас это – редкость в нашем мире лжи». – Это строки из письма Романа Ахмеджанова, библиотекаря из Калининска. Он тяжело болен, почти прикован к постели. И.М.Корнилов тогда предложил в литобъединении отправить ему к Новому году коллективную посылку – сборники стихов местных поэтов. Я тоже вложила туда две свои книжки. Он ответил только

мне. Потом были ещё письма: делился мыслями, присылал свои стихи.

«Открыла «Письмо в пустоту» и всё на свете забыла: читала, читала, читала. Не устаю удивляться тому, что Вы всё знаете про мою жизнь и душу. Сборник этот весь испещрён карандашными пометками. Я всегда Вас люблю и восхищаюсь Вашими стихами, никогда они мне не надоедают, читаю часто и открываю всё новые мысли и чувства в них и ассоциации с моей жизнью» (Н. С. Могуева).

«Стихи Ваши настолько глубинны, так мощно выходят откуда-то, где грань реальности и мистики, даже не по себе становится. Многие мотивы созвучны, особенно когда я в одиночестве нахожусь на природе между землёй и небом. Особенно потрясают стихи, положенные на музыку. Это чарует и завораживает. Спасибо!» (Валериан Морозов).

Поэту не нужна критика («ты сам свой высший суд»), не нужно славословие («хвалу и клевету приемли равнодушно»), ему нужно одно: по-ни-ма-ни-е. «Счастье – это когда тебя понимают».

«Мне дали на несколько дней ту же Вашу книгу. Читаю теперь выборочно. Списываю стихи и постоянно разговариваю с Вами».

«Я мысленно разговариваю с Вами. Иду утром на работу и веду бесконечные диалоги, делюсь впечатлениями, сочиняю стихи, чувствую себя не одинокой духовно. Единомышленники нужны всегда, а сейчас, в наши трудные времена, особенно».

Это писали мне женщины, с которыми мы тогда ещё не были знакомы, а потом стали близкими друзьями. И я благословляю тот миг, когда они решились взять перо в руки и написать мне. Подумать только, чего бы мы себя в противном случае лишили! Хотя я понимаю, как это трудно – впервые написать, в сущности, неизвестному человеку.

«Дорогая Наталия Максимовна! Вы не можете себе представить, как Вы меня порадовали своим письмом. Я уже отчаялась получить хоть какой-нибудь отклик и позвонить боялась, вдруг, думаю, получу холодную отповедь, как Цветаева у Ахматовой (почему-то мне упорно это приходило на ум). Но внутри меня всё сопротивлялось таким печальным предчувствиям, я верила, что человек с таким лицом не может быть высокомерно-снисходительным, и как же я счастлива, что Вы «одной крови» со мной».

«Как я ждала Вашего письма! Я всё могла себе представить, но того, что получила, представить было невозмож-

но. Такое большое, такое подробное, такое доброе письмо! Поверьте мне – я счастлива».

«Не ожидал такого подарка – сразу несколько Ваших сборников! Ур-р-а! Но сначала всё-таки – С-п-а-с-и б-о! Счастье человеческое, наверное, и состоит из таких неожиданных осколков радости».

А вот строки из письма Раисы Михайловны Красовской, которая купила мою книгу в Доме книги и написала по указанному в ней адресу, не особенно надеясь на ответ. А получив его, очень обрадовалась и написала снова:

«Дорогая Наталия Максимовна! Меня согрело слово «дорогая», когда Вы ко мне обратились в письме. И я Вас тоже им согреваю. Взяла письмо из ящика и глазам не поверила: сама Кравченко Н.М.! Сердце забилося. Иду, улыбаясь, а прохожие смотрят и думают: какая счастливая женщина идёт!»

Все вы – мои дорогие, – читатели, слушатели, единомышленники и друзья, и меня так же радуют ваши письма, как вас – мои, и я, как правило, всегда на них отвечаю, стараясь не уподобиться в данном случае Ахматовой, которая не ответила Цветаевой ни на одно из её двенадцати писем. В этом я скорее сродни Цветаевой, для которой письма были органичной формой разговора с людьми.

«О своих чувствах Вы говорите напрямую, подставляя свою душу на суд читателя, зная, конечно, что читатель разный... Такие распахнутые стихи о любви!!! Душа открыта, лучезарна, счастлива, и ей всё равно, что скажут люди. Это здорово! И... опасно. Могут плюнуть в распахнутую душу. Любители такого чёрного дела всегда найдутся», – предостерегала меня читательница. И она оказалась права. Нашлись. Грязные сплетни, похабные куплеты, пакостные анонимки, заказные «рецензии» в бульварных и черносотенных газетёнках – всё было. Но... как писал поэт Сергей Гончаренко:

Поэзия, а не стихосложение, –
не стоит даже жалкого гроша,
когда не совершает обнаженья
в ней в общем-то стыдливая душа.
Душа того, кого зовут поэтом,
и у кого иного нет пути,
чем исповедь перед глумливым светом
в надежде отклик в ком-нибудь найти.

И такие отклики с лихвой искупали и перевешивали всю грязь, скопившуюся в низких душах, лившуюся с газетных страниц. «Не зря я попросила Вас подписать мне книгу

«совпадающей по фазам», так как почувствовала сразу родственную душу, чему сама не раз удивлялась, читая книгу («Будьте Вы благословенны» – Н.К.): ход мыслей, сравнения, ассоциации, поведение во многих случаях совпадали с моими. «Истории моей любви» – как будто обо мне, а точнее – об одной моей ипостаси – открытой, искренней, спонтанной, эмоциональной».

Ради таких писем стоило рисковать душой. А.Кушнер говорит: «О чём бы ни писал поэт, его стихи должны быть написаны и про нас тоже». И мне радостно, когда кто-то, читая мои стихи, подумает: «Это про меня!»

«Наталья Максимовна! Прочитала Ваши «Будьте Вы благословенны» и «Публичную профессию». Читаются Ваши книги очень и очень заинтересованно – и смеюсь в голос, и плачу, и возмущаюсь вместе с Вами, и радуюсь. Я теперь знаю Вас с детства. И ещё я поняла из Ваших книг, что я тоже настроена на эту же «волну», что и Вы, как Вам очень многие пишут об этом, с нашей общей «волны».

«А Ваши стихи и про меня тоже: «В душе моей утешенной покой и тишина. Там угол занавешенный, где я всегда одна». И это: «Встречай по душе меня, не по уму, а то мы тут все одичали», «Утро – самый нежный час, обморок зари» и многие другие, которые я очень часто применяю в каждодневной моей жизни».

«Вы знаете, я Ваши стихи читаю и перечитываю и поражаюсь часто, как это Вы сумели так необыкновенно точно и ярко выразить мои чувства?! На стр.57 («По горячим следам» – Н.К.) Вы словно описали страдания моего старшего сына и мои страдания о нём: «Я слышу, как больно тебе и паршиво», «Но чучело тела её хладнокровно», «Её не оттаить и не отдышать». Я была потрясена!»

«Ошалев от любви и обиды» – это моё, животрепещущее».

«Я грешна, я дурна, я знаю, я порою себе страшна...» – это прямо про меня».

Всё это пишут разные люди. Правда, все они, как правило, женщины. Мужчины откровенничают куда реже. Женская солидарность: «Объектом нашей окрылённой любви часто становится чучело. И что тут поделаешь. Будем и будем обжигаться. «Во всех нас есть частичка глупого, фазаньего»!

«Когда я открываю Ваши книги – как будто в дом родной я захожу». Будьте в моих стихах как дома! Располагайтесь, обживайтесь, живите.

«Прежде всего приковала внимание фраза: «Все, кто болен, беден, одинок – заходи в стихи мои погреться!» (Стихотворение «Копилка» – Н.К.). Я не отношу себя ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим, но спектр лиц, к которым обращается автор, мне близок. Присмотрелась, прислушалась, причиталась. И вот уже третий месяц живу в обнимку с её стихами», – писала в своём отзыве Н.С.Войцеховская. У каждого свои любимые (и нелюбимые) строки, созвучные чему-то своему, личному. Но вот одно моё стихотворение – «Рецепт» – оказалось созвучным сразу многим.

«А Ваш «Рецепт» теперь в моей тетради» (Р.М. Красовская). «Живу Вашими «рецептами» и делюсь ими с другими» (Н.А.Дружина). И даже такое: «Человек, в восьми строчках уместивший рецепт не только как выжить, но и как сохранить юношеское, чистое видение мира, не может не быть хорошим!!!» (А.И.Козлов). Это, конечно, как пишет Лев Озеров в предисловии к моему сборнику «В логове души» – «лирический рецепт, но всё же, всё же, всё же...».

Особенно дороги письма тех, кого книги не просто тронули, заинтересовали, но задели за живое, достали, довели до слёз: «Я часто перечитываю Ваши стихи, но одно из них – самое любимое, не только моё, но и всей семьи. Лёша, младший, даже прослезился, когда читал его – стихотворение о женщине, которую наша жизнь лишила прежней гордости и научила принимать милостыню» («В булочной» – Н.К.).

«Я до сих пор хожу под впечатлением прочитанных стонів Вашей души, Вашего сердца. Если бы я могла предположить, что я прочту, я никогда не открыла бы Вашу книжку перед сном («Собачья жизнь» – Н.К.). Но я рассчитывала прочесть один-два рассказика перед сном, а получилось всё иначе – эту ночь мне не пришлось сомкнуть глаз. Я не могла заснуть, не могла оторваться от книжки, пока не прочла последнего напечатанного слова. И, закрыв книжку, я не смогла отключиться от ощущения непереносимой боли, которую испытывает человек, охваченный огнём заживо».

«Я на Ваши книги так реагирую, что болела даже от них, спазмы были – дней десять не проходили, так плакала. А муж говорит: «Это кора с души сходит». И всё ещё сходит и сходит кора, сколько же её тамросло, что до сих пор плачу?»

«Ни один поэт так не мог взбудоражить меня до Ваших стихов. Я удивилась даже своему состоянию. Отзыв в душе полнейший. Какая-то сверхсила в Вас заключена».

«Дочери стихи Ваши очень понравились. Хотя она стихами никогда не увлекалась, особого интереса они у неё не вызывали. А вот я подарила ей два Ваших сборника: «Чужая жизнь» и «Фрагменты счастья» – и, говорит, читала с большим интересом. Хотелось читать. А книжечку «Собачья жизнь» она детям начала читать и несколько раз прерывалась, чтобы поплакать. В конце концов так она и не смогла дойти до конца, дети сами дочитали её по отдельности – Ромик сам и Ксюша – сама».

«Пока я читала Ваш сборник, чувство восхищения как-то, наверное, копилось, и на стр.155 прорвалось мурашками и комком в горле. «Я о тебе давно не плачу» – это стихотворение пронзительное, и голос природы, и неосуществившаяся Любовь – такая чистота, такой аромат в этом стихотворении! Такое же пронзительное – о фазанихе». («Чучело» – Н.К.).

«Наташа, я преклоняюсь перед Вами, перед силой и яркостью Ваших эмоций! Особенно большое впечатление на меня произвёл второй раздел, а в нём содержание 50-61-64-85 страниц. («В логове души» – Н.К.). Я бы написала особенно затрагивающие меня строки конкретно, но книжки нет дома – я передала её своей приятельнице, чтобы она прочла, сняла ксерокопии и раздала нашим общим знакомым: грех держать такие строки, не знакомя с ними других! Дай Вам Бог здоровья и многих лет жизни, чтобы не иссякли Ваши силы, Ваши эмоции, острота восприятия нашей мрачной действительности. Я долго смотрела на Вашу фотографию – при Вашей нежной красоте более естественной была бы лирика в розовых тонах, и тем поразительнее контраст реализма, более естественного для мужчины. Спасибо вам, одуванчику по внешности и боевой гранате по силе изложения!»

А вот строки из писем Елены Гурьяновой, моей читательницы и слушательницы ещё с начала 90-х годов: «Наталья Максимовна, мой папа, Роберт Дмитриевич, прочитал Вашу книгу «Непрошедшее время» одним махом: вечер и ночь. И сказал: «Очень актуальная книга. Эта поэтесса умеет любить». Поэму «По ту сторону света» я, извините, ещё не читала. А папа прочитал – с болью, с нервами – и сказал: «С большой любовью написано. Как будто выразила мои мысли». И ещё сказал: «Ты маме не давай читать реквиемы – сильно написано, глаза на мокром месте». А моя мама, Татьяна Георгиевна, плачет над Вашими стихами. Её слова: «Она чувствует Родину как своё я. Она – советский человек».

«Лежу на койке больничной под капельницей и читаю «Зелье». И от сердца отлегло слегка и потеплело. А врач

неслышно подходит и книгу эту берёт в руки. А она, кажется, так горяча, как её обложка, золотая на красном. («По горячим следам» – Н.К.) И читает вслух, а в палате так тихо-тихо стало. И я вдруг почувствовала, что мир очень тонок, и что «между людской и звёздной круговертью лежит дорога узкая моя».

Мне очень дороги эти письма. Когда поэма Евтушенко «Голубь в Сантьяго» была переведена на многие языки, он получил 350 писем с благодарностью тех, кого она спасла от самоубийства. Я получила только одно такое письмо, но для меня это очень много. Та женщина прислала мне стихи, которые я бережно храню с 1998 года:

Вы для меня – тот человек,
что уберёт от смерти.
Все Ваши книги и стихи –
мои друзья, поверьте.
Вы – та соломинка в реке,
что подарила жизнь.
Вы для меня – мой лучший друг.
Теперь я буду жить.
Спасибо Вам за жар души,
стихов, рассказов, писем.
Вы – как глоток живой воды,
колодец высших истин.
Благодарю судьбу за то,
что слышу Вас и знаю.
Дай Бог Вам счастья и любви,
иного не желаю.

Ирина.

«Ваши стихи – одно из немногого, что привязывает меня к жизни», – писала мне другая смертельно больная женщина. И меня тоже привязывают к жизни все эти письма: искренние, бесхитростные откровения незнакомых людей, умеющих остро слышать чужую боль и всем сердцем отзываться на неё. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».

«Встреча с Вами, Ваши умные лекции и проникновенные стихи, Ваши письма в пустоту и по горячим следам – это просто подарок судьбы, который после страшной смерти жены в прошлом году для меня особенно дорог. Впрочем, и Ваши реквиемы по брату и по отцу мне близки и понятны, поскольку и я потерял двух своих старших братьев...».

«Уважаемая Наталия Максимовна! Мудрую книгу Вашу «Ангелы ада» читаю по кусочкам, ибо с каждым днём читать всё труднее и труднее, но проникаюсь к Вам каким-то особым чувством, которое называется, видимо, родством

душ, а, точнее, родством памяти духовной, которая связывает нас невидимыми, но очень чувствительными узами».

«Наталия Максимовна, милая и воистину великолепная, Ваше «Непрошедшее время» меня вконец и восхитило, и покорило. Долго думал, чем же я смогу отблагодарить Вас, и решил, что самым ценным признанием окажется моё доверие к Вам, именно поэтому я попытаюсь доверить Вам тот мой мир, в котором я прожил лучшие годы своей жизни».

Это строки из писем Н.Г.Рабиновича, который прислал мне фотографии своих выдающихся предков, погибших в годы войны и сталинщины, своих близких, стихи о самом заветном и дорогом.

Из письма Н.С.Могуевой: «Я решила, что буду галочкой отмечать особенно понравившиеся стихи, но оказались – сплошные галочки... А вот обо мне: «Нам обладанье оставляет пепел. //Съесть или выпить – то же, что убить. //А вот любить звезду в высоком небе// мне даже Бог не может запретить». Я всю свою сознательную жизнь любила «звезду в высоком небе» и утешала себя примерно такими же мыслями. Недавно получила от своей Звезды большое письмо. Нашей переписке 57 лет! – это, наверное, уже для книги Гиннеса...».

Из письма – давнего, но очень дорогого для меня – Надежды Шаховской: «Давно, ещё в апреле, после Вашей презентации я прочла книгу «Будьте Вы благословенны». Хотела сразу откликнуться, но не знала, как передать Вам письмо. Автобиографическая исповедальная проза действует особым образом: открытость, распахнутость настраивают читателя на такой же лад... Вы знаете, своеобразная магия исповедальности так приближает ранее незнакомого человека, делает его таким близким, понятным, родным, что у меня появились вот такие спонтанные стихи, в которых обращение на ты – не фамильярность, а признание духовного родства:

Ты сестра мне по духу,
родная сестра.
Нам с тобой повстречаться
настала пора.
Ты – потерянный в детстве
любимый близнец.
Как стучит в унисон
двуединство сердец!
Но душой дотянуться
пока не могу.
Одиноко стою
на другом берегу».

Довольно много откликов в стихах. И это, как правило, такие сердечные, продиктованные «души прекрасными порывами» строки, что невозможно судить их по законам поэтики.

«Кто хоть глоток испил стиха живой водицы
из родника поэтов проводницы –
тот ожил и воскрес на долгие года.
Такая Вы целебная вода!
Вы за стихи меня простите,
огрехи строго не судите.
Из сердца моего Вам этот свет!
А Вы другим светите.
Борясь с бедой, нам путь Вы освещайте,
но только сами не сгорайте!» –

пишет Валерия Колмацуй. Постоянная слушательница моих лекций, она объявила домашним, что только смерть сможет помешать ей прийти на какую-нибудь из них. Очень тронули меня стихи Валерии Соколовой, написанные на подаренной ею книге:

Как странно, милая Наташа,
на радость или на беду
я по следам прозрений Ваших
тропой поэзии иду.
Впервые – тоже. Только позже,
гораздо позже след мой лёг.
А в сердце той же искры Божьей
неугасимый уголёк.

Бывают очень талантливые отзывы, когда от души радуешься за эрудицию и литературный дар авторов, за их преданность и любовь к Слову, к русской поэзии. Вот, например, строки из письма Тамары Васильевны Усановой: «Сегодня собираюсь на лекцию, и меня не покидает ожидание, что сейчас произойдёт что-то очень важное, интересное и радостное. А после лекции у меня наступает моя личная эпоха Возрождения, Ренессанс – то Лорки, то Волошина, то Рубцова. Я роюсь в книгах, перечитывая всё то, что любила когда-то, вновь переживаю то время, когда всё это было открыто впервые. А сколько новых имён, достойных внимания и любви, новых фактов! Догадываюсь, сколько труда, терпения, усилий стоит за всем этим. Вы напоминаете мне старого солдата из «Золотой розы» Паустовского, который работал в лавке золотых дел мастера. Каждый день после работы он собирал несколько пылинок золотого песка и за долгих десять лет набрал золота, чтобы отлить из него

Золотую розу. Вот и Вы, подобно этому человеку, каждый раз дарите нам Золотую розу. Спасибо Вам за это».

Из письма Галины Григорьевны Лазаренко: «Дорогой, милый человек Наталия Максимовна! С большим интересом прочла Вашу последнюю книжечку стихов «Острые углы». Прочла залпом, сразу, за вечер. Потом перечитывала медленно, наслаждаясь каждой строчкой. Да, Ваши стихи – такая гамма мыслей, чувств, такая полнота бытия... Это и радость жизни, и нежная любовь, огорчения, разочарование в людях недостойных, и несглаживание острых углов, и всё ещё боевой задор в разоблачении пошлости и глупости. И что ещё мило в Ваших стихах – то проглянет чеховский вишнёвый сад, то подмигнёт Тиль, а вот – Мандельштам двумя словечками скажет, мелькнут тени любимых поэтесс Ахматовой и Цветаевой...».

«Среди вездесущей торговли, многочисленных базаров, гонки между домом и работой с сумками снеди по субботам с определённой периодичностью выплывает иной пласт жизни, – пишет мне Инна Булыгина. – Он есть, есть жизнь духа, поэзии, музыки, она не обязательно сопровождается финансовыми затратами, она истинна, ценна, необходима. Хочется жить по-другому, не всегда получается, но хочется... Это важно, чтобы большому числу людей хотелось...»

Некоторые отзывы напоминают маленькие эссе: «Наталия Максимовна! Ваши лекции, Ваши беседы, Ваше творчество – это как бы островок света и доброты в нашем неспокойном мире. Помните, как в фильме Тарковского «Солярис»: посреди этого огромного, непонятного океана – родной дом, сад, дождь, пруд, надкушенное яблоко на столе – островок тепла и любви. Ван Гог сказал: «Главное в искусстве – любить людей». Это относится ко всему, что Вы делаете. Спасибо Вам за то, что Вы так чувствуете и делитесь этой радостью с другими. С уважением Владимир Мишле».

А чего стоят стихотворные отклики на мои вечера Светланы Юдиной! О Баратынском, Некрасове, Чичибабине, Бродском... Они настолько самодостаточны, что просто просятся в отдельную книгу. Это какой-то особый жанр – добродушных пародий, шуточных панегириков, где цитаты из стихов и лекций переплетаются с фактами реальной жизни, где всё искрится юмором и умом! Не удержусь, чтобы ни привести хоть один:

На вечере Некрасова

Не ведая наследственных страстей,
зелёного стола Вы не касались.
Не слыша зова четырёх мастей,
в коммерческую сроду не сражались.
Невинных зайцев иль иных зверей
верхом или пешком не догоняли.
И странно нам представить, ей же ей,
чтоб в этих тварей метко Вы стреляли.
К примеру он бежит, а Вы – пиф-паф!
И Линда уж суёт добычу в руки.
Не лучше ль, поместившись в пироскаф,
по воле волн пуститься вдаль от скуки?
Ягдташ в крови, пух, перья – нет, нет, нет!
Ведь Вы, мой друг, похожи так с Мазаем.
Страдающий ли заяц иль поэт
был Вами обязательно спасаем...
Но шутки прочь. Ведь есть он, есть завет
меж тою музой страстною и Вами.
И чем же объясним его, мой свет?
Не сердце ли пронзившими углами?

Некоторые фрагменты из писем моих корреспондентов забавны и трогательны: «Вы – словно луч света в нашем тёмном царстве. Не читаю больше прозу – исключительно стихи!» «Наталья Максимовна! Оказывается, Вы общались с Дольским! Да с кем только Вы не общались...» «Будь на то моя воля – я бы дал Вам Нобелевскую премию по литературе».

«Я рифмой недостойной грубой
скажу о прелести строки.
Мне «Сокровенное» так любо!
И от души скажу: «Голуба,
влюблён и «за», и «вопреки»!
(прошу прощения за слово «голуба»)».

А вот тогдашний министр культуры (впоследствии зек) Ю.Грищенко так отозвался на мои строки на авантитуле сборника «Сокровенное» «прими, читатель, этих строчек ересь. Не отшатнись, всецело мне доверясь, и полюби и за, и вопреки»:

«Я принял Ваших строчек ересь.
Не отшатнулся, им доверясь.
Не смог любить ни за, ни вопреки,
но не уйду, Вам не пожав руки».

Особое место занимают детские отзывы. Школьники из школы № 41 рассмешили меня такой строчкой: «Спасибо Вам за Вашу чувственность и доброту!» А ученики 6-х классов гимназии № 4 в прошлом году писали сочинения по моей книге «Собачья жизнь». Приведу несколько отрывков:

«Эту книгу нельзя прочитать без горя, и когда её читаешь, у человека просыпается совесть». (Максим Никвисевич)

«Эта книга натолкнула меня на мысль, что собаки такие же существа, как и мы. Они ведь тоже хотят жить и наслаждаться». (Анастасия Аверина)

«Наталия Кравченко так убедительно передала чувства одиночества, грусти, что кажется, как будто она была одной из этих собак. И поняла, как сложно быть ею». (Алина Ченцова)

«Книга «Собачья жизнь» написана замечательной писательницей Н.М.Кравченко. Это добрый и благородный человек, который повидал всё на белом свете. Ни одну часть книги нельзя читать без слёз! Книга начинается с описания жизни животных, а заканчивается очень грустно и несправедливо». (Дарья Коробкина)

«Микки обладал человеческими качествами. Если бы в книге не было написано, что это собака, люди подумали бы, что это человек».

«Мне понравился рассказ «Микки». Сам герой Микки – оптимистичный пёс, надеющийся сам на себя. Наш друг пристроился на базаре – там его все знают, любят, кормят».

«Наталия Кравченко написала эту книгу особенно искренним языком». (Арина Загуменнова)

«Наталия Кравченко любит животных и доказывает это душой. Когда я читала эти рассказы, я рыдала, мне было очень жалко всех собак, поэтому у меня не нашлось эпизода, который мне понравился». (Анастасия Иванова)

«Мне не понравился ни один рассказ, потому что они жестокие». (Дарья Борисова)

«Наталия Максимовна участвует в жизни собак и играет большую роль. Я хочу, чтобы эту книжку прочитали те люди, которым не жалко собак. Возможно, эта книжечка поможет смягчить их каменное сердце, и, увидев очень слабую собачку или щенка, они поступят так же, как Н.М.Кравченко!!!» (Наталья Павлова)

«Главный герой – Наталия Кравченко. Её характер до-

брый и ласковый, но к хулиганам очень строгий. Рекомендую прочитать эту книгу всем тем людям, у которых нет совести по отношению к беззащитным животным». (Глеб Живоглазов)

«Мне бы очень хотелось, чтобы Наталия Кравченко написала ещё одну книгу, но только чтобы там пусть все собаки останутся в живых и будут счастливы». (Эвелина Алексеева)

Может быть, напишу... Только это уже была бы сказка. В реальности до хэппи энда нашим собакам далеко.

Самые дорогие письма – от Александра Кушнера. «От тебя и хула – похвала», – писала М. Цветаева. Похвала нашего лучшего поэта современности, лауреата всех возможных литературных премий, друга И. Бродского, ученика Л. Гинзбург, но главное – моего любимого поэта – для меня очень много значила. Окрыляла, вдохновляла, вливала новые силы. Казалось, я теперь всё сумею, всё смогу. Но проходило какое-то время, и наркоз тех прежних лестных для меня слов уже переставал действовать. Начинал точить червь сомнения, что, может быть, это всего лишь «жалкий, засохший листочек, показавшийся бабочкою под рукой», как писал он в одном из своих стихотворений. И я снова посылала ему свои стихи, и не могла ни есть, ни спать спокойно, пока не получала от моего Вожатого письменное подтверждение своего поэтического существования. И какова же была моя радость, когда я однажды получила от него такое:

«Меня радует в Ваших стихах точно найденный повод (никогда не искусственный, очень естественный и в то же время оригинальный, неожиданный) для лирического высказывания. Вы не придумываете стихи, а умеете найти поэтическую мысль – это очень важно. Наташа, Вы – настоящий поэт, это для меня ясно, и мне приятно Вам это сказать».

После таких слов мне уже было ничего не страшно. «Или, напротив – страшно всё теперь», – как я писала в одном из стихов. Страшно опустить планку, разочаровать, не оправдать, перестать соответствовать взятой однажды высоте.

«Вам благодарны тени всех поэтов, вечера которых Вы устраиваете. Я восхищаюсь Вами, – писал мне в одном из последних писем А.Кушнер. – Будьте здоровы и счастливы. И пишите стихи, свои собственные стихи, тоже».

Пишу.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

«Порой мы пишем паче чаянья...»	6
«Неутомимо, неотвязно...»	6
«Лес в ноябре. Осыпавшийся, чёрный...»	6
«В природе неодошевлённой...»	7
«Ночь – многоточие... Тайн средоточие...»	7
«Этот день еще мной ненадѣван...»	7
«У Бога в записке есть тихие улочки детства...»	8
Арифметика	8
«Пространство жизни, где рожден...»	8
«Под воду океана времени...»	8
«Ветер, мой побратим...»	9
«Я читаю Акутагаву...»	9
«Ружье судьбы висит над головой...»	9
«Сменит неба тревожную алость...»	10
«На вокзале толчея...»	10
«Я в тебя впадаю, словно речка...»	11
«Если мне чего-то не хватало...»	11
«Как трудно оставаться тою...»	11
«Грезим мы об алых парусах...»	11
На Новом кладбище	12
«Отец – каштан, а мама – акация...»	12
«Дерево заглядывает в окна...»	13
«Как ты меня просила...»	13
«Дом твой на Сакко-Ванцетти...»	13
«Вот колокольчик. Ты в него звонила...»	14
«Тянешься ко мне стебельками трав...»	14
«Непрошедшее время не знает деленья...»	14
«Горит заря до радостного крика...»	15
На лекции	15
«Цель жизни – самовыраженье...»	15
«Шарманщики, акыны, трубадуры...»	15
«На задворках российской империи...»	16
«О боже правый, из каких помоек...»	16
«Грамматика вовсе не так уж суха...»	16
«Никто уже не смотрит вслед...»	17
«Толстой страдал, что он не любит крыс...»	17
Баратынский	17
Бродский	18
На могиле вдовы Некрасова	19
Авдотья Панаева	19
Старушка	20
«Я возвращаюсь в знакомый контекст...»	21
«О скверный мой скверик облезлый...»	21
«Ироничная старая дура...»	22
«Не нужен повод для стиха...»	22

«Акацию срубило ТСЖ...»	22
Дерево	23
«Веточка от срубленной акации...»	23
«Стихотропные средства...»	24
«Мне снились фотографии отца...»	24
«Безмолвные воды Стикса...».....	24
«Их души за нами следят...».....	25
Молитва.....	25
«Снова буду вилами писать по воде...».....	25
«У тоски моей взяв выходной, я шатаюсь по скверу...»	25
Четверостишия	26
Двустиишия	30

РЕКВИЕМЫ

Мама.....	31
Бабушка.....	40
Женщина, не знающая старости	45
Очарованная душа.....	53

ЭССЕ

Смерть, где жало твое?	97
Часовые любви	143
Улицы детства	149
В колонии строгого режима.....	156
Непрощенное воскресенье	169
Верю я в Бога или не верю я в бога	173
Чем современен Некрасов	200
И первый подвернувшийся овал... ..	205
О красоте и красивости.....	210
Поэты отчаянья	213
О поэтической ревности	221
Как на духу	236

ПАМФЛЕТЫ

О правде и фальши.....	246
Русофрения	267
Телерадиокомпания	297
Рецензия на рецензию.....	316

НАБРОСКИ, ЗАМЕТКИ, ШТРИХИ

Преданность и предательство	324
Есть очевидцы!	324
Образ тоски.....	325
Привидения в музеях	326
Оборотни.....	326
Исключение из правил.....	328
Пятки души.....	328

РАЗГОВОРЧИКИ

Ничего не вижу.....	331
Какого рода чучело?	331
Бытовуха	332
Эй, Вы	332
Инцидент исперчен	333
Молодая ученица Тарковского	333
Верующий ангел.....	333
Памятник себе	333
Киш-Миш.....	334
Собачья тема.....	334
Благодарность.....	335
В ресторане уже были.....	335

Вместо послесловия

Настольные письма.....	336
------------------------	-----

КНИГИ НАТАЛИИ КРАВЧЕНКО

1. **Любовь моя, сокровище...** Стихи. – Саратов: Кварк, 1993.
2. **В логове души.** Стихи. – Саратов: Валёр, 1994.
3. **Сокровенное.** Стихи. – Саратов: Кварк, 1996.
4. **Будьте Вы благословенны.** Быль, эпистолярная повесть, стихи. – Саратов: Надежда, 1997.
5. **Публичная профессия.** Непридуманнные рассказы. – Саратов: Издательство СГУ, 1998.
6. **Собачья жизнь.** Рассказы. – Саратов: Надежда, 1999.
7. **Звезда или хлеб?** Лекции, заметки, эссе. – Саратов: Надежда, 1999.
8. **Письмо в пустоту.** – Стихи, реквиемы, заметки. Саратов: Приволжское книжное издательство, 2001.
9. **Чужая жизнь.** Стихи, поэма. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2002.
10. **Фрагменты счастья.** Стихи. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2002.
11. **По горячим следам.** Стихи, новеллы, эссе, памфлеты, заметки. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2003.
12. **Ангелы ада.** Статьи, эссе, заметки. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2004.
13. **Непрошедшее время.** Стихи, непридуманнные истории, литературные эссе. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2005.
14. **Острые углы.** Стихи. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2006.
15. **Очаг.** Стихи, поэмы. Избранное. – Саратов: ООО Приволжское издательство, 2007.

Литературно-художественное издание

Кравченко Наталия Максимовна

Признаки (призраки) жизни

Оригинал-макет подготовлен Т.Ю. Обуховой

Подписано в печать 2.09.2007. Формат – 60х84 1/16
Бумага офсетная № 1 Гарнитура Таймс. Усл.п.л. 17,7
Тираж 150 экз.

ООО Приволжское издательство
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 9